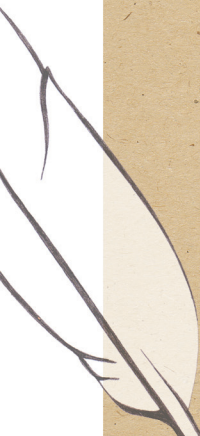


ЗАРУБЕЖНЫЕ
ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга четырнадцатая
(II - 2008)

Verlag "Partner"
2008



Главные редакторы:

**Даниил Чкония
Лариса Щиголь**

Редколлегия:

**Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий**

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Александр Кушнер. Вечерний свет. <i>Стихи</i>	2
Нина Горланова. <i>Три рассказа.</i>	6
Казачий суд	
Лавровая история	
Антон	
Владимир Салимон. Сирень легко в отрыв уходит... <i>Стихи</i>	21
Александр Иличевский. <i>Бутылка. Повесть о стекле</i>	28
Ника Батхен. <i>Льзя. Стихи</i>	56
Борис Хазанов. <i>Вчерашняя вечность. Роман (продолжение)</i>	62
Наталья Петрова. <i>Монсеньор Драная Мошна. Рассказ</i>	135
Михаил Рушанов. <i>Катерина. Рассказ</i>	144
Валдемар Люфт. <i>Палата № ?.. Рассказ</i>	153

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Из немецких поэтов.	159
Гуго фон Гофмансталь, Готфрид Бенн, Пауль Целан. <i>Перевод Алексея Пурина</i>	

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Самуил Лурье. <i>Четыре эссе</i>	163
Осенний романс	
В пустыне, на берегу Тьмы	
Чёрный цветок	
Самоучитель трагической игры	
Александр Мелихов. <i>Четвёртый источник</i>	177
Владимир Сечински. <i>Кому принадлежит Россия</i>	180
Самсон Мадиевский. <i>Ханна и её редактор</i>	185

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Борис Вайль.	190
Попутчики союзников	
Справочники по шпионам	
Егор Радов. <i>Жажда света</i>	193

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Владимир Берязев. <i>Размышления после падения с бревна</i>	194
Коротко об авторах	199

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ

Оно шумит перед скалой Левкада...

Е. Баратынский

Что ни поэт – то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний,
Что поднимается на волнолом
Вал, как бы прятанный за соседний,
С выгнутым гребнем и пенным хвостом.
Стой! Не бросайся с Левкадской скалы.
Взгляд удержи на какой-нибудь вещи:
Стулья есть гнутые, книги, столы,
Буря дохнет – и листочек трепещет,
Нашей ища на ветру похвалы.
Больше в присыпанной снегом стране
Нечего делать певцу с инструментом
Струнным. Сбылось, что приснилось во сне
Сумрачном: будем с партнером, с агентом
Курс обсуждать, говорить о зерне.
Я не гожусь для железных забот.
Он не годится. Мы все не подходим.
То-то ни с места наш парусный флот
В век, обнаруживший смысл в пароходе:
Крым за полдня, закипев, обогнет.
На конференциях по мировой
Лирике, к Темзе припавшим и Тибру,
Я, вспоминая огни над Невой
Парные, сопротивлялся верлибру.
О, со скалы не бросайся, постой!
Кроме живой, что змеилась, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь – прочная связь:
«Я», – говорю на вопрос: кто последний?
Друг, не печалься, за мной становясь.

* * *

Смерть и есть привилегия, если хотите знать.
Ею пользуется только дышащий и живущий.
Лучше камнем быть, камнем... быть камнем нельзя,
лишь стать
Можно камнем: он твердый, себя не осознающий,
Как в саду этот Мечников в каменном сюртуке,

Простоквашей спасавшийся, – не помогла, как видно.
Нам оказана честь: мы умрем. О времен реке
Твердо сказано в старых стихах и чуть-чуть обидно.

Вот и вся метафизика. Словно речной песок,
Полустертые царства, поэты, цари, народы,
Лиры, скипетры... Камешек, меченый мой стишок!
У тебя нету шансов... Кусочек сухой породы,
Твердой (то-то чуждался последних вопросов я,
обходил стороной) растворится в веках, пожрется.
Не питая надежд, не унизившись до вранья...
Привилегия, да, и как всякая льгота, жжется.

* * *

Запиши на всякий случай
Телефонный номер Блока:
Шесть – двенадцать – два нуля.
Тьма ль подступит грозной тучей,
Сердцу ль станет одиноко,
Злой покажется земля.
Хорошо – и слава богу,
И хватает утешений
Дружеских и стиховых,
И стареем понемногу
Мы, ценители мгновений
Чудных, странных, никаких.
Пусть мелькают страны, лица,
Нас и Фет вполне устроить
Может, лиственная тень,
Но... кто знает, что случится?
Зря не будем беспокоить.
Так сказать, на черный день.

* * *

Художник женщину в мужской напишет шляпе,
В полузастегнутом прямом мужском пальто
На дебаркадере стоящую, на трапе,
На сходнях с сумочкой в руке. А вам-то что?

Она бы, думаю, понравилась Рембрандту,
Он тоже странности и вольности любил,
Чалму турецкую, равнодушен к банту,
К халату, помнится, к стальному шлему был.

Продрогла, может быть, и шляпу одолжила,
Пальто у спутника, неузнанной взойти
На борт задумала, хватаясь за перила,
Прощайте, близкие, и родина – прости!

Ее, наверное, пленяет перспектива
Иных возможностей, сновидческим под стать.
И что-то в этом есть еще от детектива:
Иначе кто бы стал теперь роман читать?

Неважно всё это, не ясно – и не надо!
Она на мальчика чуть-чуть похожа так.
И что-то в этом есть еще от маскарада.
Томи, загадочность, притягивай, пустяк!

* * *

В кепи букмекер и девушка в фетровой шляпе.
Умный игрок не допьет, а жокей не доест.
Знает ли конь, что участвует он в гандикапе?
Может быть, слово попроще он знает: заезд?

Солнце, слепя, разлеглось на подстриженной травке,
Флаг на флагштоке картавой трещоткой трещит.
Знает ли Прима, что крупные сделаны ставки,
И понимает ли Гектор, что он фаворит?

Господи, как холодит ветерка дуновенье,
Как горячат передвижки в забеге толпу!
Обожествление случая, благоговенье
Перед приметой и тайная вера в судьбу.

* * *

Это Гете о смене сказал поколений: место
Не пустует, – в кафтанах, чепцах, сюртуках, капотах
Приезжают одни, для других это день отъезда, –
И сравнил с пребыванием на минеральных водах.

Да, но только на водах обслуга: официанты,
Билетеры, врачи, рестораторы и швейцары,
В основном, не меняются. Как говорят педанты,
Все сравненья хромают. А кроме того, кошмары

В виде войн, эпидемий, бессмысленных революций,
Выбирая одно поколение, щадят другое.
Предсказания лгут, и, увы, никаких инструкций.
Этим гиблое выпало время, а тем – благое.

* * *

Ошибался Шекспир, полагая,
Будто извергов мучают сны.
Ричард Третий – наивность какая,
Впечатлительность, чувство вины!

Мы-то знаем, как спят они крепко,
На расстрел одного за другим
Отправляя: ты прутик, ты щепка,
И сгоришь, и развеется дым.

Жизнью так же, как смертью, владея,
Набухает и ширится власть.
Для того и нужна ей идея,
Чтобы пестовать лютую страсть.

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

* * *

Там, где тщеты и горя нет,
Свет невечерний нам обещан.
Но я люблю вечерний свет
И в нем пылающие вещи,
И в нем горящие стволы,
И так ложится он на лица,
Что и прохожие милы,
И эта жизнь как будто снится.

И горький вздох, и жалкий жест,
И тьма, нависшая над нами...
А вечный полдень надоест
С его короткими тенями.
И жаль тщеты, и жаль забот,
И той крапивы у порога,
Что в Царство Божье не войдет.
И в том числе – себя, немного.

* * *

На дорожке лиловые тени
И пахучая, клейкая ртуть.
Вот и ты ученицей сирени,
А не комнатных сумерек будь.

Эта мнительность жалкая наша,
Самолюбия мертвенный мел.
В чем обида? Какая пропажа?
Кто не так на тебя посмотрел?

Отменяет сирень неудачу
И досаду, завесой вися.
Только эту живую задачу
И решает поэзия вся!

Как за каменной с нею стеною:
Ни тоски, ни постылых забот,
Обнимается с вечной весной
И уроки бессмертья дает.

ТРИ РАССКАЗА

КАЗАЧИЙ СУД

Похороны инженера назначили на вторник, и весь понедельник прошел в суматохе ожидания: приедет его жена или нет? Воздух села, казалось, сгустился от споров. Большинство говорило: нет! Зачем было сбегать отсюда год назад, если не навсегда? Иные все-таки уповали на совесть: мол, если жена инженера всю жизнь прожила за его счет, то уж похоронить обязана за свой.

Только инженер спокойно лежал в свежем занозистом гробу, не обращая внимания на эту суету и проблемы совести, потому что впервые за много лет был уверен в себе. При жизни он боялся директора совхоза, боялся своей жены, которая кричала, что пропадает в деревне с университетским образованием, а когда родилась дочь, то и ее начал побаиваться. Но сейчас все права оказались на его стороне: в интересах людей похоронить покойника. Он знал, что свое получит. Даже враг его – рак легкого – перестал мучить, хотя за это пришлось заплатить жизнью.

Во вторник, в три часа, все село явилось на панихиду, но и тут не утихали споры. Цветов принесли много – со дня на день ждали заморозков, они-то вытравят все георгины и астры. Когда говорили речи и несли гроб к Донцу, на новое кладбище, всё поглядывали на дорогу, ведущую к райцентру. Казалось, вот-вот появится жена инженера и закричит: «Что вы делаете, некультурные животноводы! Нашли, кем открыть кладбище – моим мужем! Не позволю!»

И только Гриша-Шиша (шишка на лбу – факт из его внутриутробной биографии) не оглядывался, не спорил. Он говорил, как всегда, стихами:

– Они приедут,
Но не сейчас.
В субботу к обеду –
В самый раз.

Часто стихи Гриши-Шиши оказывались пророческими. Даже стало обычаем спрашивать у него о пропавших коровах и мужьях, но на это раз ему мало кто поверил. После похорон приезжать незачем: мебель они увезли, а больше в квартире ничего нет.

Пока гроб спускали и зарывали могилу, мальчишки выловили в речке рака – был он огромен и тих. Гриша-Шиша свистнул – отчего-то всем показалось, будто это рак свистнул. С трудом очнулись от наваждения и поспешили обратно – на поминки, в клуб.

Клубное радио было сломано необычно – никак не выключалось, и все почувствовали себя неловко, когда оттуда сладострастно полилось:

– Как прекра-а-асен этот мир – посмотри-и-ии...

Развлекательная программа в конце концов закончилась. Народ настроился на торжественный лад, как вдруг синоптики объявили, что по Ростовской области

этой ночью ожидаются сильные заморозки. Все разбежались, чтобы убрать из садов и дворов то, что не должно замерзнуть. За столом остался один Витя Бондаренко – раздумывать о будущем счастье.

Год назад он приехал в это село, и директор при свидетелях ему обещал: доходишь больного – квартира твоя. Легко сказать: «Доходишь»! Витя, словно назло кому-то, с такой яростью стал ухаживать за инженером, что рак легкого отступил. Правда, совсем ненадолго. Теперь квартира принадлежала семье Бондаренко, можно было ехать за семьей и детьми, но Витя почему-то не радовался. Хотя – три комнаты, кухня, кладовая, сени, в общем, половина большого совхозного дома. Да еще участок с фруктовыми деревьями да двумя грецкими. Орехи инженер посадил давно, но поскольку расти им было не год и не два, в этом году плоды появились впервые.

Ночью в самом деле ударил мороз, а в среду выпал обильный снег, который все шел и шел, к четвергу он превратился в дождь, лил целый день, в пятницу вся донская земля оттаяла, на субботу расцвели многолетние цветы.

Солнце с утра грело как заводное: в тени плюс тридцать. День начинался странно: дети все как один с необыкновенной охотой убежали в школу, агрономша родила двойню. Кроме того, воздух на улице отдавал какой-то химической одурью, дикторы радио и телевидения запинаясь на самых простых словах, а Гриша-Шиша приобрел где-то сапоги. Он зашел в магазин, осмотрел ассортимент и приветствовал продавщиц следующими словами:

– Консервы в томате
Да три ббб-бабы в халате.

На букве «б» он словно всегда колебался в выборе слова. Продавщицы привычно повозмущались, а потом растерялись: на ногах у Гриши новенькие сапоги – он вообще-то круглый год ходил в комнатных тапочках. На вопрос – зачем? – Гриша отвечал, что могут ноги оттоптать, а больше ничего не пояснял.

В час дня из дома вышел на привычную прогулку восьмидесятилетний дед Черников, старый казак. Он всегда брал с собой шашку, на которую опирался, как на трость. Встречая кого-нибудь, он начинал небрежно помахивать ею, будто в опоре совсем не нуждался. Принято было обращаться к нему с бравым вопросом: «Куда бежишь?» – И дед неизменно отвечал: «На кладбище». – «Но ты ведь еще живой?» – «А что толку-то!» – восклицал казачина и шел дальше, уже не размахивая шашкой, а опираясь на нее.

Сегодня он в самом деле направился в сторону нового кладбища, прошел половину пути, как вдруг с автомагистрали на большой скорости вывернули «Жигули» и чуть не сбили его. Дед очумело повернул назад, а машина, въехав в село, остановилась возле инженерова дома. В это время из школы напротив вырвалась орава мальчишек и окружила приехавших плотным кольцом, иные смельчаки стучали по крыше автомобиля портфелями и пинали ногами колеса. Жена инженера, ее зять и дочь вышли из машины. Стали разгружать вещи. Зять еще доставал разобранную детскую кроватку, а инженерша с дочерью и маленькой внучкой уже направились в дом. У них был вид такой: а что, ничего особенного...

Как только открыли дверь, в нос им ударил свежий запах химии, да столь мощный, что войти внутрь решилась одна дочь. Глазам ее открылась такая картина: закутанный в цветастый платок мужчина с баллончиком «Примы» в одной руке и «Дихлофосом» в другой темпераментно выводил на стене направленной струйкой яда: «Смерть кровососам!» Судя по всему, этим заклинанием он оканчивал операцию, потому что все обои были мокрыми, с потолка капало, а на полу валялось более десятка пузырьков из-под отравляющих веществ. Сухой была лишь миниатю-

ра с бравым казаком Мамаем. Выморенных насекомых видно не было, зато человек в платке уже покачивался.

– А где мой папочка? – спросила дочь деланно трогательным голоском.

Человек в платке обернулся, грозно наставил на нее свои флаконы, потом рассмеялся:

– Инженер? А они переехали. – После чего он выжал остатки «Примы» на пол, свалился на стул и сделал жест: уходите, не мешайте.

Тут жена инженера, слышавшая все, решительно распахнула дверь.

– Ты у меня пошутишь! – закричала она и зажала нос. – Я, между прочим, его жена!

– Бывшая.

– Мы не разводились.

– Бог вас развел.

Тут девочка у нее на руках заплакала, инженерша побежала в другие комнаты, но и там нашла только мокрые обои и подсыхающие надписи: «Но пасаран!» и «Химия, химия – вся за... (далее высохло) синяя».

Вошел зять с двумя чемоданами и пуховиком под мышкой. Поморщился, быстро сориентировался в обстановке и предложил отправиться на совещание в машину. Чемоданы он оставил, а пуховик так и унес обратно. Выходя, все трое вразной кричали насчет того, что квартира принадлежит им – они не выписаны.

Во дворе, кроме мальчишек, забравшихся на ореховые деревья, было уже несколько соседей, в том числе известный красавец и холостяк Вовка Бендега. Со словами «суббота, два часа дня, а я еще как дурак трезвый хожу» он пошел на инженершу и стал намекать насчет денег: мол, нес гроб полдороги, а погода очень ветреная. Жена спросила:

– Сколько тебе надо, колдырь?

Он загнул десятку, на что получил ответ: это не деньги, деньги начинаются с двадцати пяти. Тут семейство нырнуло в машину, и Вовка остался ни с чем.

– А пошла ты на год! – крикнул он, смакуя новое, привезенное из райцентра выражение. Он не заметил, как задел возмущенным локтем деда Черникова с шашкой. Дед возмутился:

– Что за день, понимаешь...

– Понимаешь, когда вынимаешь. Давай сюда! – Вовка забрал шашку и опробовал ее ногтем на предмет годности – увы, она была безнадежно тупа. Он приказал старику наточить ее, а сам пошел искать Гришу-Шишу, чтобы удостовериться насчет сапог. Действительно – в сапогах! Все глядели на Гришу с удивлением, а он как ни в чем не бывало завел светский разговор:

– Жарко было утерком,

А тут приехали с ветерком.

Чего вам здесь стоять –

Лучше «Аню Каренину» прочитать.

Кто-то возразил ему насчет чтения: жена инженера, де, вон много читала, а когда узнала про рак, собралась и укатила. Зато после похорон тут как тут. Потому что квартира им нужна – от города недалеко. Удобно, конечно...

– Отпобекать их! – предложил кто-то.

– Для чего Бондаренко инженеру целый год утку подставлял!

– Жена называется: всю жизнь белья в руках не держала, он приходил с работы, она ему стиральную машину в зубы – и все! Раскабанела от безделья.

– А привез ее когда – такая была некунная женщина.

– Разоделась здесь. За что он ее терпел: такая въедливая! Мать...

– Хватит матиться.
Пора за Витю Бондаренко заступиться! –

предложил Гриша-Шиша.

А народу уже собралось порядочно. Дед Черников сидел у забора и точил свою шашку, время от времени пробуя пальцем степень ее готовности, потом вдруг подошел к пуховику и начал рубить его, но только ткань порвал – пух пружинил, не давался. Дед отвел руку и сделал шашкой неторопливое вращательное движение, потом быстрее, наконец – вжик-вжик-вжик – клинок засверкал и слился в одно сплошное стальное зеркало.

– Эх, как мой прадед рубил, казачура! – сказал дед, задыхаясь.

Тогда молодой тракторист Игоренок перехватил у него шашку и одним ударом рассек пуховик надвое. Место разреза было таким ровным, словно разрубили тушу свиньи. Но уже через мгновение пух начал выпучиваться, а тут еще дети помогли ему, и скоро весь двор оказался в белоснежном покрывае.

– Высший класс джигитовки!

– Никакая не джигитовка. Коня-то нет.

Жена инженера увидела свой разрубленный пуховик, вылетела из машины и прямо в квартиру – вызвать по телефону милицию. Было слышно про некультурных животноводов, которые оскорбляют. За нею побежала вся остальная семейка и засела в ожидании гостей в гостиной. Витя Бондаренко заглядывал то в одно, то в другое окошко и всем своим видом сообщал односельчанам: выселяют, обижают, утомляют. Подошли члены сельсовета и попытались увести нескольких забиячливых мужиков: Вовку Бендегу, Игоренка, Гришу-Шишу. Ничего из этого не вышло, и они удалились, по-свойски упрашивая «не делать хулиганства».

После их ухода общее волнение стало утихать, послышались предложения, среди них: написать от имени депутатов письмо в суд – с просьбой разобраться. Иные возражали: разберешься с нею, свинотой, они же возвышенность здесь, все остальные скотники, доярки, а у нее образование, она законы знает.

День на глазах стал иссякать, некоторым мечталось испить виноградного винца, поэтому народное настроение пошло к тому, чтобы расходиться. Почувяв это, Гриша-Шиша вдруг начал кричать на мужиков, причем без всякой рифмы.

– Ты чего? Ты чего? – опешили все.

– Я и должен ругаться,
Чтобы вы казаками могли оставаться! –

ответил он, придя в себя.

Появилась мать с утра разродившейся двойней агрономши и принесла манной кашки – для внучки инженера. Вообще старушка довольно ворчливая, сегодня она была счастлива, ласково всех отводила рукой, пробираясь к крылечку и приговаривая: «Ну зачем вы интересуетесь? Чужая семья – потемок». Она забралась на верхнюю ступеньку, оставляя после себя тишину. И вдруг – вжик-вжик-вжик – полетел заблестел ковшик с кашкой. Отчетливо прозвучал вздох Бендеги:

– А я колебнулся.

– А я не колебнулся, – ответил Игоренок, и его ответ потонул в общем веселом гуле.

Дверь выхватили из петель. Народ ввалился в комнату под давлением задних плавно, как под музыку. Так же плавно подняли на руки испуганную инженершу с зятем, который трепыхался, как пойманный карп. Дочь успела убежать в дальнюю комнату, где спала девочка и куда мать агрономши никого не впускала. Кто-то увидел, как дочь прыгнула из окна, крикнул «лови», ее схватили в охапку и посадили

в детскую кроватку, как в клетку. Кто успел собрать кроватку, так и осталось неясным, как и многие другие детали этого вечера.

Игоренок по одному скидывал с крыльца чемоданы, и они ложились под колеса машине. Один стукнулся о землю и лопнул, как орех. Из него вылетели три шляпки, пара босоножек и много-много косметических штучек. Дети посыпались с деревьев и стали расхватывать все и пускать в дело: наводить себе усы и бороды. Они носились по двору, похожие как один на казака Мамаю, только без горилки.

Инженерша очнулась, высунулась из машины и закричала:

– Квартира вам достанется, когда рак свистнет!

Тут же пролетел в воздухе рак – кто-то из ребят словно специально держал его для такого случая в руках. Свист получился такой пронзительный, что небо закрутилось в трубочку, как береста, и снова распрямилось. Опустилась тишина, и в ней на крыльцо из дома вышла мать инженерши с девочкой на руках. Девочка так и не проснулась. Вслед за ними появился Витя Бондаренко и, довольный, выдохнул:

– Еще бы клопы ушли...

Гриша-Шиша повел руками, и через порог, шурша, поползли на улицу полчища клопов. Они скатывались по крылечку, народ расступался. Гриша-Шиша грозно произнес:

– Вы отъелись на больном человеке,
А теперь уходите навеки!

«Жигули» в это время отъезжали, инженерша высунулась из окна и тыкала в воздух кулаком, крича:

– Мы еще встретимся!

– Я тебя встрену! – отвечал Вовка Бендега.

«Жигули» нажали газу и укатили. Клопы построились повзводно и направились вслед за машиной. Расстояние между ними быстро сокращалось.

А Гриша-Шиша нажал на неиссякающий запас доброты у матери агрономши:

- Почеши затылок
Да поищи бутылки!

Она побежала домой, принесла чайник вина, чтобы выпили за ее новорожденных внучат. Витя Бондаренко вынес стаканы и закуску, народ быстро повеселел. Свет из окна бывшей инженерской квартиры падал прямо на ореховые деревья, о них и зашел разговор. Гриша-Шиша поймал слетевший с ветки орех, своими огромными ладонями легко развернул его на две части, и показалась мякоть, похожая на человеческий мозг.

– Самое умное дерево, – загадочно сказал он.

Оказалось, что за это время кто-то еще сбежал домой, и народ благословил добытчика. За новорожденных выпили изрядно, а потом хватило еще принять за инженера. В свое время его не помянули как следует, а теперь – после того, как рассчитались с его женой, все почувствовали себя как бы очистившимися от какой-то давней вины. Ну и сами собой запелась привычная, старинная:

– Шел со службы ка-за-аак ма-аа–ла-дой...

– Помнишь, после армии-то он какой пришел – девки чуть не дрались Уж фигурка под ним была! Под дочерью-то его фигурка такая.

- А-а-бла-милась доска,

Подвела казака,
Искупался в воде ледяной...

– Когда трактор с Игоренком перегоняли, под лед ушли, и воспаление легких случилось у него.

– Отвечал ей казак молодой:
– Осетра я ловил под водой.
Больно речка быстра,
Не поймал осетра,
И-искупался в воде ледяной...

– Не долечился, конечно, даст разве она ему полежать.

– Па-ад-ла-а-милась доска,
Подвела казака,
И женился он той же весной.

– Интересно, рак – переходный по наследственности или нет?
– А может, и заразный!
– Где же он сейчас, этот рак, который инженера съел?
– Ты спроси, где сам инженер сейчас?
– Да не может так быть, чтобы весь инженер умер, а от него только грецкий орех остался, который он посадил. Не может быть, чтобы мысли умерли.
– А рак, он не спрашивает, есть мысли или нет. Понял?
– Не спрашивает, это ясно...

На самом деле все было неясно: осенняя, но почему-то жаркая ночь, веселая песня и печальные такие разговоры, бессвязные воспоминания – все спуталось...

Потом крутой осенний ветер завихрил оставшиеся листья, уронил несколько орехов и притих, задумался.

* * *

Жена инженера пыталась возместить себе стоимость пуховика через суд, но следователь обратился к эксперту, кандидату исторических наук. Тот объяснил, что в старину казаки действительно могли разругать пуховую подушку, но только после особой долгой выучки.

Да и свидетелей не оказалось.

ЛАВРОВАЯ ИСТОРИЯ

Смотрите, что получается: под проливным дождем села я в плацкартный вагон «Камы»... и уже через час летит на меня готовый рассказ!

Но все по порядку.

Тучи еще ходили за окнами вагона, перекашивая свои темные лица, а Фарух (так он представился) – юноша Слицомбогатыря – уже спросил, как меня зовут.

– Нина.

– Нина-джан, хотите, я принесу чаю для вас?

– Да.

Только Фарух вернулся и стал ворковать-колдовать над чаем, добавляя сухие лепестки роз, – зазвонил его мобильник. Ответив кому-то, Фарух тотчас рассказал мне «телефонную» историю:

– Звонит домашний телефон, я трубку беру – молчат. И один вечер, и другой – звонят и молчат! И вот прихожу к своей сестре в гости, а там... кот нажимает на «повтор» на телефонном аппарате! Да-да, кот лапой жмет на разные кнопки – играет. В том числе и на кнопку повтора попадает...

И тут с верхней полки полились рассказы про другого кота:

– Наш кот Пищик, когда видит на экране забивание гола... и меня, как я вскакиваю и кричу «ура» – тогда он тоже встает на задние лапы, передние в стороны!..

И только у одной женщины в купе лицо выглядело так, будто дождь сеял на него прямо сквозь стекло. Знаете, бывает такая рембрандтовская тяжесть жизни в глазах.

В Верещагине в наше купе вошел рыжеусый молодой человек и стал застилать свою верхнюю боковую. Вот тут наконец наша попутчица – рембрандтовская – посмотрела глазами ребенка на все вокруг.

Так и неизвестно, с чего начинаются исповеди. Кажется, только что говорили о котях. И вот уже наша Рембрандтовская по-сестрински мне признается:

– Как рыжеусый похож на моего сына... На сердце такая тяжесть, словно оно – с земной шар.

– Да это все ливень! Ливень! – я достала аптечку свою. – Эгилек примите.

– Смотрю – ходит и светится мой сын. А он был скромный такой! Мог сказать «сукин сын», но «сука» – никогда. Вместо «дурак» – «дурошлеп». И вот – понимаю – влюбился. Наконец говорит: «Какие есть прекрасные имена!» – «Например?» – «Лаура – лавровая, значит». Понимаете, Кеша мой после армии выучился на повара, и я сначала думала, что из-за профессии он оценил эту лавровость – любит он блюда готовить с лавровым листом и так далее... Но все же вскоре поняла, что кулинария тут ни при чем! Он влюбился, правда. И для меня «Лаура» зазвучало как... не лавр, а почему-то вдруг – синий воздух! Ну, не смейтесь – у меня от счастья всегда синий воздух... И вот привел он через день ее – свою лавровую. Я торт испекла. Пожарила чебуреки... А там – ноздри во какие! Так и представляешь эту Лауру с плеткой и в коже. А еще – такая мокрая помада, что долго на этот рот не посмотришь. Но потом мне сказал брат – мой старший брат, от него как раз еду – из гостей... В общем, по телефону он говорил так: «Подумаешь – ноздри, идеалов нет, но если у человека пятьдесят один процент хороших качеств, то это хороший человек. А ноздри или мокрая помада – это уже не страшно». Мой сын, конечно, ничего не замечал – никаких ноздрей.

Тут я (Нина Горланова) хотела было рассказать, что некоторым именно стервы нужны. У меня один друг праздновал – давно это было – тридцатилетие. И там кто-то сказал такой тост: мол, все хорошо, такая жена – сама Весна, но вот бы еще она поласковее обращалась с мужем... Тут мой друг вскочил, разбил свой бокал и вскрикнул:

– А мне не нужна жена НЕСТЕРВА! Я при ней на диване залежусь – ничего не добьюсь!

Правда, с тех пор прошло еще тридцать лет, ничего уж такого особенного он так и не добился, подумала я и не стала рассказывать сие. Впрочем, сказать, что на диване он – мой друг – залежался, тоже ведь нельзя.

Рембрандтовская попутчица между тем продолжала свой рассказ, в котором мелькали уже предвестники грозы в виде странных сравнений и мхатовских пауз:

– Кеша мой только улыбался, как юродивый. Как юродивый. Не могла же я сказать: так и так, сынок, у нее ноздри... Сына потерять, что ли... Он один у меня! Чувствовалось, что Лаура эта его околдовала за пять дней! За четыре с половиной! Женимся, говорят. А я: «Сначала давайте познакомимся с родителями Лаурочки». – «Ма, им некогда! Они только что приехали в столицу – сеть аптек открывают, им не до формальных встреч». – «Но это же их единственная дочь!» – «Ма, я тебе повторяю: они только что квартиру купили, ремонт, то да се...» – «Наверное, это

их приемная дочь, нелюбимая? Если ремонт дороже свадьбы». И после этих моих слов молодые сдались – назначили день для знакомства. Ну, Лаура приехала с родителями на «Пежо». Без цветка, без коробки конфет, даже без бутылки вина...

– Как – без бутылки?! – воскликнули тут пассажиры чуть ли не хором.

– Да, без бутылки. Не нужна им эта свадьба, подумала я. А раз так, то и мне их «Пежо» до жо... Но! Об этом сыну я ни слова не сказала, нет, ничего. Ведь жизнь изменилась и, может, у деловых нынче уж так вот всегда и будет: бизнес – главное...

– Вам они оба не понравились, мать и отец? – спросила я (Н. Г.).

– Отец-то еще более или менее. Читал тост в стихах так хорошо, что уже через час я перестала видеть его пузцо и второй подбородок. Ну, он еще предлагал все свадебные взять на себя. Но мы не согласились. Кеша зарабатывает неплохо. Пополам поделили. Затем решили свадьбу играть в новой квартире сватов... сделали они евроремонт.

– Сейчас всюду приставки «евро», – заметила я, – евроремонт, евростирка.

– Хорошо, чтобы был евро-ОМОН, – вздохнул Фарух.

– Евро-ЖЭК, – заметил Рыжеусый.

– Еврорусские, – сказала девушка с боковой полки соседнего купе и спустила ноги, чтобы к нам подсесть (в этот миг от ее лакированных ногтей на ногах солнечных зайчики пробежали по полу, и я поняла, что дождь за окном закончился).

– А мать невесты не понравилась, говорите?

– Про нее слова поэта: а с шеи каплет ожерелий жир, – тут Рембрандтовская показала миниатюрную книжку, – я учу стихи – от склероза...

Дальше – рассказ пошел пунктиром. Якобы в ЗАГСе невеста сжимала свой букет так, что стебли хрустели.

– И я уже даже пожалела ее: так хочет замуж, так нервничает. Ну, лепестками роз мы их осыпали, конечно. Но видели бы вы их – Лауру с матерью рядом! Это две железных Барби – одна победительно поводила бровями в зеркале, когда стали фотографироваться.

Рембрандтовская рассказчица достала несколько фотографий:

– Вот они все... Ну а дальше что: дальше жених – мой Кеша – шел два лестничных пролета и на каждой ступеньке должен был говорить ласковое что-то невесте. Лавровая, вечнозеленая, сладчайшая и так далее... И вот сама свадьба! Входим мы в их квартиру – с нами и родня, и друзья сына. А со стороны невесты – ни-кого!

– Совсем никого?

– Никого. Говорят: только что переехали, здесь еще не завели знакомств. И родственники не успели собраться – слишком быстро все случилось, – якобы одна тетя Лауры в больнице, другая – в отпуске в Югославии... И вот что: я случайно услышала разговор отца с невестой: «А я думаю, что тебе повезло! – тихо говорил он дочери. – Жених – какая у него хорошая родня»... Согласитесь, странный разговор: он убеждает ее в том, что повезло, когда она сама торопила свадьбу.

– Подождите: тетя Лауры в больнице, другая еще где-то, а подружки ее пришли, наверное?

– Нет. Не было ни одной подружки. Мол, они все остались в Воронеже – то есть где раньше жили. А дальше что – медовый месяц молодые провели в квартире моей кузины, потому что она летом живет на даче. Мой Кеша не позволял жене две сумки продуктов принести, что вы! Я слышала один раз случайно, как он говорил приятелю по телефону: «Это как же она со мной в постель ляжет, если две сумки тяжелых принесет! Захочется ли ей со мной лечь в постель!» В общем, закончился август. Заметьте: август! И вот в конце августа этого выясняется что? Отгадайте с трех раз!

– Что она беременна от другого?
– Что она бездетна-больна?
– Нет. Не то. Выясняется, что Лаура должна уехать в Воронеж, где она учится в техникуме. Еще год должна доучиться. Почему раньше не говорила, почему не перевелась в Москву? Ничего не понятно. Уехала, значит, моя невестка – обещала писать. Но не писала. Сын звонит: всегда ее мобильник отключен. И он, бедный, вышел из берегов... «А где прекрасный сангвиник?» – спрашивала я его. Тогда Кеша позвонил родителям ее, а они: Лаурочка провалила зачет, Лаурочка пере-сдает... или еще про то, что она простудилась, заболела... «Если она не приедет на Новый год, я к ней поеду», – закричал Кеша. «Приедет-приедет».

– Приехала?
– Ну, слушайте. Кеша ее ждал-готовился! Я заметила: в мобильник забил две молитвы: «Отче наш» и «Ангелу-хранителю». Чуть что – читает эти молитвы. Видимо, они помогали ему спокойствие сохранять. Подарок своей Лавровой он выбирал неделю – купил ей ноутбук, чтоб писала, значит, по электронной почте. И вот наступило тридцать первое декабря. Лаура приехала. Он купил ее любимые попугаистые тюльпаны, встретил, конечно. У нас стол накрыт. Ну, она взяла эти тюльпаны попугаистые и – как попка – запоторяла: болит голова, страшно голова болит – скорее домой и лечь. Мол, не спала всю зачетную неделю... Кеша мой тоже спать перестал тут. То есть всю ночь с тридцать первого на первое не спал. Ну, зато я поняла силу молитвы! Он мобильник достанет, прочтет, молчит. Снова достает мобильник... Не напился даже. Другой бы, может... А утром он поехал к ним. Входит – Лаура открыла ему дверь. В это время звонит телефон. Она снимает трубку и говорит: «Да, буду». Затем моему сыну – своему мужу: «Мне нужно сейчас идти к Мише».

– Что за юмор! К какому Мише? – восклицаю я (Н. Г.).
– Да я откуда знаю, к какому Мише... Пришел Кеша домой со щенячьим взглядом. «Ма, я еду в Воронеж – все узнаю». И едет в Воронеж. А там Лаурины друзья отводят глаза. Что-то знают, но не говорят. Много ведь в жизни непонятного: моему Филимонову, мужу, вырвали зуб, укол поставили перед этим, он пришел домой и стал петь частушки. Пел час, все смеялись, думали – от укула. Лекарство, мол, поддельное, наверное, вкололи – для обезболивания... Потом, через сутки, вызвали скорую. Год он пролежал в психобольнице – вылечили. Врач после спросил: что – так сильно вы частушки любите? А муж вообще их не знает! И мы не слышали от него никогда. Он замначальника, ему не до частушек, если честно! Еще через год муж попал под автобус и на месте скончался. Ну, тогда Кеше было всего пятнадцать. Ко мне сватался мой одноклассник – вдовец. Но я уж Кешу не хотела травмировать...

– Да, матери часто жертвуют всем... Простите! А можно спросить: какие это были частушки?

Ой, Семеновна
В пруду купалася,
Большая рыбина
Тогда попалася...

– Кажется, последняя строка иная...
И в нашем купе сразу как будто возник этот мужчина – уколотый – солидный, но поет-орет... Странная, таинственная история эта – с частушками, думала я (Н.Г.). Вот у нас есть друг – Семен: он с юности коллекционировал частушки про Семеновну, мечтая о дочери. Но родились три сына. Мне бы записать для него эту частушку, но я – боясь скомкать разговор – не посмела достать ручку.

И хорошо, что я не достала ручку! Рембрандтовская продолжила свой рассказ.

– Стали мы всей родней думать да гадать: в чем тут дело. Почему-то сначала многие говорили, что... от мафии скрывается наша Лаура, решила сменить фамилию. Но тогда – зачем она уехала обратно в Воронеж, в тот же самый техникум? Вторая версия была, что девушка – сумасшедшая? Но какой это диагноз? Шизофрения? Не похоже. На паранойю не тянет... Говорят, есть такие вампиры-вампириши – они тянут энергию из человека. Мой брат даже предположил, что Лаура поспорила с кем-то на ящик коньяку, что за неделю выйдет замуж. Вот на спор и вышла.

– А сам Кеша что думал – как все это объяснял? Он ведь лучше чувствовал, кто его жена – какая она!

– Он считал так: Лауру бросил жених, это еще до знакомства с Кешей было. И вот – она решила доказать, что счастлива будет с другим. Или даже – подзадорить прежнего жениха, чтобы он спохватился... и чтобы сказал: «Оказывается, я не могу без тебя жить». Но это жестоко! Жестоко по отношению к Кеше и ко мне.

– Месть всегда жестока, – начал резать Фарух. – Эта Лавриха ваша хотела всему миру отомстить за что-то. Может быть, да – жених разлюбил, а может, за другое что...

– И вот – значит – лежит мой Кеша целыми вечерами – одеяло до носу. Говорю: вон кот на трёх лапах прибежал – весна, любовь, драки, а ты... Ведь он был честняга с прямым взглядом, а стал – со щенячьим взглядом... «Ма, так я же кто? Я – Филимонов, то есть однолюбов». Подал он на развод, развелся, но не может забыть, страдает...

– Знаете, – сказала я, – эта лавровая история станет ясной через двадцать лет, может – через пятнадцать. Кеша встретит Лаурочку и все узнает. У меня дочка подруги так выходила замуж, а муж через месяц ушел, оставив записку: «Не ищи меня». И она два года плакала, но потом все-таки успокоилась, развелась, вышла замуж. Дети пошли. И через двадцать лет случайно на улице встретила своего бывшего. Он приехал на двадцать лет окончания – на встречу с однокурсниками. Она спросила:

– Что тогда случилось? Почему ты исчез?

– А я понял, что не стою тебя.

– Но разве нельзя было объясниться, четко написать? – Впрочем, она тотчас поняла, что он в самом деле не стоит ее, – опустившийся, полуспившийся – и перестала дальше укорять его.

Так я успокаивала милую женщину, а сама думала: как жаль, что нельзя написать оптимистическое окончание. Мой читатель не будет рад такому обещанию – через двадцать лет узнать, почему случилось все так странно...

Но, к счастью, я в том возрасте, когда счастье выглядывает из-за каждого угла и все становится в радость уже через минуту. Тотчас подали закат прямо нам в купе. В плацкартном вагоне его столько, этого чуда (человеческих лиц, полных сочувствия к нашей рембрандтовской попутчице)!

А рано утром, когда Подмоскovie утопало в молочном тумане, я думала: двадцать лет на такую красоту смотреть бы – по пути и подождем, узнаем ответ, почему лавровая история закончилась так таинственно, так печально.

О, тут звонок мобильного разбудил Рембрандтовскую.

– Слушайте: удивительная новость! Мой Кеша встретил другую девушку! Пока я ездила. Вот так. Они меня сейчас встретят на вокзале.

Ну, слава Богу! Хотя бы я смогу читателя обрадовать этим – счастьем Кеши. За него не нужно болеть двадцать лет.

Глаза рембрандтовской попутчицы раздвинулись, перрон поплыл за окном, и я заметила, что соседка давно перестала точить слезы. Да, слезы всегда высыхают – таков их химический состав.

И только один пассажир в нашем купе до Москвы так и не проснулся. Но никакой тайны тут не было. Мы сразу поняли, что это врач. Так потом и оказалось. Он так устает на работе, перерабатывает, чтоб как-то кормить семью. Святой отче Сергие Радонежский, ты небесный покровитель России – помоги нашим врачам выстоять! И учителям! И нам, писателям!

АНТОН

Второклассник Антон в мае купил контурные карты для третьего класса, потому что Раиса Константиновна сказала: «Спорим, что некоторые из вас будут слоняться из угла в угол, а контурных карт не купят!»

Мама увидела у Антона эти карты и вдруг воскликнула:

– Бог ты мой! Как я любила заполнять контурные! Хорошо – есть дети, а то бы и свое детство не вспомнила: часами я просиживала, заполняла...

Антон понял, что редкая минута маминой размягченности настала.

– У меня сегодня двойка – по математике! – весело сообщил он.

– Однажды у меня тоже была двойка. Ой, какое у тебя грязное трико! – перевела разговор мама.

– А это мы на физкультуре.

– Что – на физкультуре?

– Кувыркались.

– Ну, снимай скорее свое трико цвета физкультуры и стирай! – сказал папа и как ни в чем не бывало продолжал читать сестрам стихи.

Он каждый вечер читал то стихи, то рассказы, и вот сегодня тоже начал какую-то «Атомную сказку» про лягушку и про Иванушку, но на кухне Антону было плохо слышно. Он замочил трико в тазике и вышел послушать.

...вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познания играла
На счастливом лице дурака.

Сонечка сказала:

– Ведь если он одну лягушку увидел – умнее стал. Еще одну увидел – еще умнее стал. А зачем электрический ток пускать? Вот дурак...

– Для первого класса это неплохое рассуждение, – сказал отец.

Антон понял, что опять можно выступить с математикой:

– А еще от велосипеда умнее становишься. Да! Он развивает математические способности – я читал.

– Да, но у тебя-то... у тебя шестерки по математике, а Раиса Константиновна шестерки ставит только самым умным!

– Да-а, а сегодня я двойку получил, вот!

Мама тут сразу все поняла и закричала:

– Дипломат! Вы на него посмотрите! Он специально двойку получил – специально, чтобы велосипед выпросить! Дипломат нашелся. А я вон сумку себе купить не могу, я вон с какой сумкой хожу! – Тут она встряхнула своей сумкой, из которой посыпались разные направления на анализы и визитки «скорой помощи» (мама всегда писала по ним благодарности).

Соня стала собирать бумажки и защищать маму:

– Да! Мама с такой сумкой, что моя подруга попросила ее на Новый год: «Я делаю костюм старухи Шапокляк – мне бы еще сумку вашу, и всё!» А ты с велосипедом! Он слишком дорого стоит.

– «Подросток» не такой дорогой. Но их же нет, – добавила сестра Наташа.

– И у меня летом не будет друзей – они все на велосипедах. У меня и так друзей мало, – уныло затынул Антон.

– Друзья ведь не мухи, чтобы стаями летать вокруг, – отрезал отец.

– Возьмем на неделю опять в прокате, – сказала мама. – А то что: за музыкалку платите, родители! велосипед купите, родители! Всё вам. А нам что – разорваться? У меня вас четверо, я не могу всем вас обеспечить... Где у меня силы?

– Но, мама, нужно было, наверное, рассчитывать свои силы, прежде чем заводить четвертого ребенка!

– Ах так! А я и рассчитывала, что вы будете мне помогать! А ты вместо этого изводишь меня своими хитростями, дипломат нашелся! Иди помогай лук чистить.

– Зачем лук?

– В пирог – зачем еще! Я же пеку, пеку целыми днями, чтобы вас накормить, чтобы хватало. В плите вон яблочный печется, а потом рыбный поставлю. А ты будешь еще меня двойками изводить, хитростью и жадностью. Я вот напишу в вашу газету «Кактусенок»!

– «Кактусенок» у Сони, у Антона «Горчичник», – сказал отец, ходивший на все родительские собрания.

– «Горчичник» – это у нас, – сказала Наташа. – У них «Жало».

– Ну, напишу в «Жало», – уже спокойно сказала мама, видя, что Антон надел очки для бассейна и чистит луковицу за луковицей.

«Московское время двадцать часов», – объявил диктор радио.

Антон понял, что сейчас его отправят спать, как и сестер. Уже десять часов, а в Москве всего восемь. Спать ему не хотелось, и он медленнее стал чистить лук, приговаривая:

– Московское время стояло
В прекрасной своей красоте.
Под ложечкой вдруг засосало,
И мы побежали к плите.

Обычно его хвалили за стихи, а сегодня мама снова заругалась:

– К плите вам! Как спать, так сразу есть, пить, читать! Я вас отлично знаю – идите спать, и всё.

– Ну дайте мне одно яблоко, и всё, я пойду спать.

– Антон, иди! Никакого яблока, – отрезал отец.

– Ну вот... вы! Я вам в старости тоже яблок не буду давать! – закричал сын.

– Обнаглел совсем! – закричала мать. – Двойку принес – при его-то голове двойку! Дипломат нашелся – обмануть нас захотел! Да еще угрожает яблоки в старости не давать.

– Ну, дорогая, остановись, на детей это не действует – твои крики, – вступил отец.

– Мои крики – ладно, меня изводит – ладно: я где-то упустила, значит. А Раису Константиновну он за что изводит двойками?

– Антон, всё, иди спать, и мы запасем яблоки на старость.

Когда дети утихомирились, отец взял большой лист картона и написал четко черным фломастером: ЯБЛОКИ, ЗАПАСЕННЫЕ НА СТАРОСТЬ. А утром, когда дети собирались в школу, отец стоял возле этого картона и аккуратно резал яблоки, укладывал рядом на картон и советовался с матерью, как лучше сушить – в плите или на балконе.

Девочки закричали: мол, что за глупости, ведь если Антон не даст яблок, так они-то все равно дадут, а их три все-таки. Но отец отвечал: мало ли как сложится жизнь, а вдруг дочери будут жить в другом городе, и Антон не даст яблок...

– Да ведь я пошутил! – кричал Антон, отбирая нож у отца. – Я буду кормить вас яблоками, грушами, сливами!

– А может, ты сейчас шутишь? Чему тут верить?

– Ну папа!

– Что, Антоша?

– Папа!

– Что?

– Отдай нож!

– Нет, не отдам, – продолжал отец резать яблоки, но тут мама попросила его покачать коляску.

Антон в это время зачеркнул надпись «Яблоки, запасенные на старость» и написал: «Папа, брось эту привычку – запасать яблоки на старость!» Отец вернулся на кухню и зачеркнул слова Антона, написал прежние. Антон заплакал.

– Ну, простим его, – сказала мама. – Посмотри: он заплакал слезами крупными, как яблоки.

– Как яблоки, которые мы не получим в старости, – сказал отец и ушел на работу.

Тогда Антон стал хватать нарезанные яблоки и запихивать их в рот. Съесть столько яблок было непросто – в животе началось урчание. Но все-таки он съел, потом порвал картон с надписью и убежал в школу вслед за сестрами.

В классе ребята придумали стрелять жеваной бумагой. Из трубочек. Но Антона немного подташнивало от яблок, запасенных на старость, и он не стрелял. На уроке Тимошин выстрелил и попал прямо в Раису Константиновну. Она застыла в странной позе: словно в плен сдается. Руки вверх, а глаза выкачены. Когда она так делает глаза, все в классе становятся тихими.

– Антон, иди сюда! – сказала Раиса Константиновна. – Меня парализовало, я не могу сдвинуться с места. Напиши заявление от моего имени.

Антон взял ручку.

– Заявление директору школы, – диктовала Раиса Константиновна. – Прошу меня уволить на пенсию, так как ребята стреляют в меня неизвестными видами оружия. Написал? Отнеси это заявление директору!

Раиса Константиновна была уже год на пенсии и работала лишь по просьбе родителей. Ребята поняли, что дело плохо. Они начали рыдать, некоторые хватили Раису Константиновну за руки и умоляли остаться в классе. Тогда она стала медленно опускать руки, медленно садиться на свое место.

– Ну, кажется прошел паралич, – сказала она и тут же строго добавила: – Сдавайте тетради!

На перемене Тимошин подошел к Антону:

– А у меня новый велосипед «Кама»!

– Ну и радуйся до пенсии, – уныло ответил Антон.

– А хочешь, я тебе старый «Подросток» подарю?

– Хочу! А я... я тебе такой подарок ко дню рождения приготовлю, что пальчики облизешь, мороз по коже, волосы дыбом!

И весь день Антон как привязанный ходил за Тимошиным – прямо закадычные друзья, да и только. Тимошин был очень доволен. Рассказал Антону анекдот:

– Собрались король, немец и русский...

Дальше Антон не слушал, но все равно дружественно посмеялся (что и говорить, он был дипломат: заметил ведь нелепость сборища – «король, немец и русский», – но промолчал).

И вот вечером Тимошин привел Антону велосипед и передал наставления папы: «Если осторожно кататься, то вполне можно ездить».

Антон думал, что сестры будут, как обычно, играть в дочки-матери, а он покатается. Но сестры тоже хотели покататься. И Наташа ездила очень быстро, к тому же давала прокатиться своим подругам, а Соня вообще много падала. Таким образом, велосипед уже через час был сломан. Но мама пообещала позвать Колю Дёмина, который все умеет и даже велосипед отремонтирует. Всю ночь Антону снились гонки.

Утром он сказал соседу по парте Мише Гладкову:

– Мне Тимошин подарил велосипед!

– Да? Ну и радуйся до пенсии, – ответил Гладков, а сам тут же пошел к Тимошину выяснять этот вопрос. «Дурак я – похвастался», – подумал Антон. И был прав. Уже через десять минут Антон услышал:

– А Тимошин у тебя заберет и мне подарит!

– Ну и пусть! Ну и бери свой сломанный велосипед! Кому он нужен!

Весь день Гладков ходил за Тимошиным, как его лучший друг. И слушал его анекдоты. Смеялся. И списать по русскому дал.

Мама заметила, что Антон пришел грустный, и сказала:

– Пойду сейчас же позвоню Коле Демину.

– Не надо. Ведь Тимошин забирает велик обратно, он его пообещал Гладкову подарить.

– Почему?

– Я сам виноват. Сказал Гладкову, а он сразу попросил у Тимошина.

– Ну и дипломат этот Тимошин! Хочет теперь в классе положение свое упрочить с помощью велосипеда!

И тут звонок в дверь – Тимошин с Гладковым за велосипедом.

– Вы забираете с разрешения ваших родителей? – спросила мама.

По лицу Тимошина было видно, что он не любил думать о неприятном и не готовил заранее никаких ответов.

– Э-э, что вы говорите? – спросил он, чтобы потянуть время.

– Я говорю, что мы отдадим велосипед, но не тебе, а твоим родителям. Подарили вчера – сегодня забирают.

– Кто забирает? Мы просто покататься просим.

– Это так, Миша? – спросила мама Антона.

Миша по-хозяйски ухватил руль велосипеда:

– Мне Тимошин подарил его. Я ему за это списывать даю.

Ребята побежали вниз, только слышно было, как Тимошин кричал Мише:

– Ох, я бы треснул тебя по голове, чтобы ты кувыркался два часа! Зачем сказал все? Зачем?

А мама пошла к Тимошиным.

Мама Тимошина готовила салат: крутила морковь на овощерезке и давила чеснок на дивной чесноковыжималке. Кругом стояли еще разные фруктопревращалки. Мама Тимошина приветливо улыбнулась:

– Как написано у сына в школе: «Ешь побольше витаминов – будешь толще всех пингвинов».

– По-моему, он у вас и так толще, – сказала мама Антона. – Вы что, забираете велосипед обратно?

– Он мне сейчас сказал... Ничего мы не хотели, но если он решил Мишеньке передарить, то они ж дворяне.

– Кто?

– Дворяне. С одного двора. Вот и все. Вы уж не обижайтесь. Они ведь дети.

– До свиданья, – сказала мама Антона.

Лето прошло хорошо. Антону купили детскую логическую машинку, и он то узнавал по ней характеры сестер, то отгадывал задуманное число. Еще он помогал маме по хозяйству, потому что она рассчитывала на его помощь. И в августе брали на целую неделю в прокате велосипед.

Первого сентября Антон пошел в третий класс.

– Можно, я в гости схожу к Тимошину? – спросил он вечером.

– Что-о? – возмутилась мама. – Ты ему все простил?

– Но ты сама внушала, мама, что нам ничего другого не остается... что нужно расти добрыми... ну, что оружия на земле столько накоплено, что выбора нет. Злые-то вырастут и воевать начнут.

– Ну, если с такой точки зрения... Иди. Но я еще спросить хотела: он ничего тебе не обещал? Подарить, например.

– Он обещал дать поиграть кубик Рубика. А я уж подарю ему что-нибудь за это. Он так сказал.

– Диплома-ат! – воскликнула мама. – Политик из него вырастет!

Антон ответил, что для этого Тимошин слишком неграмотно пишет и очень плохо составляет предложения. И пошел в гости к Тимошину.

Мама Тимошина угощала детей арбузом, причем вырезала самую середину для сына. Антон сказал:

– Наш папа никогда не дает детям сразу середину. Он говорит, что если давать детям середину арбуза, то они и будут думать, что жизнь – это сплошная середина арбуза.

– Если ваш папа такой умный, то почему он велосипед не может отремонтировать? – ответила мама Тимошина.

Антон смолчал. Ведь Тимошин так и не вернул ему отремонтированный велосипед.

СИРЕНЬ ЛЕГКО В ОТРЫВ УХОДИТ...

* * *

С трудом приподнимаюсь на мыски,
карабкаюсь на холм обледеневший,
поскольку умираю от тоски
порядочно от жизни претерпевший.

Не в силах заглянуть за край земли,
откуда веет ветер раскаленный,
откуда прилетают журавли,
чуть снег сойдет, к нам на лужок зеленый,

я неожиданно ловлю себя на том,
что поутру с кровати свесив ноги,
в буквальном смысле чувствую нутром:
настало время подвести итоги.

* * *

Особенно если подняться на гору,
взобраться суметь на вершину,
чудесный откроется нашему взору
вид сверху тогда на равнину.

Бесплодные пашни и чахлые рощи.
С сумою и даже с тюрмою
весной примириться значительно проще,
чем летом и даже зимою.

Обрывок невидимой сети паучьей,
подхваченный ветром, кружится.
Вода тяжела, словно ртутью тягучей,
река поутру серебрится.

И я ощущаю в себе перемены,
заметные внешне едва ли,
как будто глухие обрушились стены,
открылись бескрайние дали.

* * *

Чуть свет просыпаться – ни свет ни заря!
Считай, что тебе повезло –

ты первым, бессоннице благодаря,
подняться сумел на крыло.

Еще за окошком клубится туман,
и леса не видно почти,
а ты уж за спичками лезешь в карман
и мнешь сигареты в горсти.

* * *

Тяжелее воинской повинности
жизнь моя садово-огородная –
так я полагаю по наивности,
так как за окошком ночь беззвездная.

Так как за окошком тьма кромешная,
тяжесть ощущаю я пудовую,
будто погребла лавина снежная,
заманивши в западню ледовую.

* * *

Вдруг все ко мне приблизилось настолько,
что поневоле я отвел глаза.
Все знать, все чувствовать порой так горько.
Тут мутны реки и темны леса.

Не избежит внимательного взора
тут каждый кустик, каждый бугорок.
Бессмысленность дырявого забора
сквозит промеж досок, как между строк.

И я осознаю предельно ясно
нелепость положенья своего.
Стараюсь залатать дыру напрасно,
из этого не выйдет ничего.

* * *

Будто обхватив себя за плечи,
женщина сидит на подоконнике.
Света нет. Во тьме мерцают свечи.
За окном щеглы снуют в терновнике.

Чтобы не спугнуть их ненароком,
на мгновенье задержу дыхание.
Я боюсь, как бы не вышло боком
в общем-то невинное желание.

Тихо так, что в самом деле слышно,
как во тьме кромешной свечи плавятся,
как фиалка, расцветая пышно,
очень хочет нам с тобой понравиться.

* * *

Сколько взмахов крыльев мотыльку
нужно, чтобы перебраться за реку?
Чтоб свою развеять грусть-тоску
я гуляю по земному шару.

Вечер изумительно красив.
Солнечно, на небе нет ни облачка.
На тебе широкий черный лиф
и навывпуск легонькая кофточка.

* * *

Уже не холодно – прохладно.
И, в сад спустившись поутру,
мне вдруг становится досадно,
что я когда-нибудь умру.

На лужах корка ледяная.
Всю правду, зеркальце, скажи:
*Кто эта женщина такая,
что я не чаю в ней души!*

* * *

Льется дождь из тучи снеговой
чистыми и ясными ручьями
прямо у меня над головой
темными и долгими ночами.

Так как спичка гаснет на ветру,
рассмотреть не каждому под силу
апельсиновую кожуру,
словно в камне золотую жилу.

* * *

Русского барина я представлял не иначе –
в длинном китайском халате и феске турецкой.
Поздняя осень, наверное.
Холод собачий.

Невероятно, но намертво в памяти детской
запечатлелась картинка, подобная этой.

Холод собачий.
Наверное, поздняя осень.
Листья с березки совсем уже полураздетой
падают наземь и бьются мучительно оземь.

* * *

Три года ждут обещанного тут.
И я, согласно метеопрогнозу,

упорно жду, когда дожди пойдут,
чтоб наконец спокойно сесть за прозу.

Один сюжет мне не дает уснуть.
Весна. Грачи. Все, как и подобает.
Христос воскрес, с годами крестный путь
травой подзаборной зарастает.

* * *

Мутный свет переполняет улицы.
Сделавшись глуха на оба уха,
наподобие безмозглой курицы,
мечется по площади старуха.

Нет бы ухватить старуху под руки
и умчать беднягу за собою,
но куда-то подевались отроки
те, что с барабаном и трубою.

Может, улетели они за море,
может быть, уплыли за три моря,
так как время лучшее не самое.
Много на земле родимой горя.

* * *

Я соскучился по лету пионерскому,
по густому киселю и жидкой каше,
по всему тому дурацкому и мерзкому,
что казалось мне всего милей и краше.

Солнце шевелит усами,
чешет лапками
поутру свою козлиную бородку,
и, посверкивая розовыми пятками,
ходит-бродит взад-вперед по околотку.

* * *

На заре, когда за занавесками
слышатся раскаты грозовые,
в сумерках алмазными подвесками
полыхают капли дождевые.

Зрелище почти что ирреальное,
как в Колонном зале панихида.
Тщательнейшим образом астральное
тело напомажено для вида.

На подобное мероприятие
сил и средств затрачено немало.
Тоталитаризма неприятие
притупилось, общим местом стало.

* * *

Может, рано или поздно в свой черед
отыщу родную душу, пусть не сразу,
лишь бы только окончательно народ
в однородную не превратился массу.

В переполненном вагоне полумрак.
На рассвете воздух жаркий и тяжелый.
Оттого ли, что под голову кулак
положил я, сон увидел невеселый?

* * *

Простеньким устройством Мироздания
мне не представляется, а жаль —
так бы за проявленные знания
золотую получил медаль.

Но смотрю на мир я с содроганием,
ничего не понимая в нем.
Жизнь промех грехом и покаянием,
будто путь в ближайший гастроном.

Там стеной бутылки разноцветные
вкруг меня, как темный лес, стоят,
в полумраке фантики конфетные
осыпают с головы до пят.

* * *

Местонахождение души
так и остается неизвестным.
Не смогли ученые мужи
разделить духовное с телесным.

Без нужды терзали плоть мою,
думали, что я в конечном счете
перед пытками не устою,
душу загублю заради плоти.

Но когда мой смертный час настал,
вовсе не от боли, а от злости
вдруг зубами я заскрежетал,
как мертвец ужасный на погосте.

* * *

Нет времени у нас на пустяки,
чтоб размениваться нам по мелочам.
Я давно не собираю медяки,
медяками не стучу я по ночам.

Но попробуй помешать мне пиво пить
и курить табак в общественных местах,

но попробуй запретить мне слезы лить,
до рассвета соловьем свистать в кустах!

* * *

Человека с ружьем не бояться
искушение столь велико,
но на месте ушастого братца
я бы слушать не стал никого.

Ни вождя трудового народа,
ни охотников, ни егерей,
так как стар становясь год от года,
дорожу все же шкурой своей.

* * *

Только эхо звона колокольного,
словно эхо залпа орудийного.
От напитка крепкоалкогольного
можно ожидать похмелья сильного.

Мне не будет от него спасения.
Завтра целый день — с утра и до ночи —
всех усердней в праздник Вознесения
буду возносить мольбы о помощи.

* * *

Сон мой побороть взялись с утра
по двору снующие рабочие,
страшно донимала детвора,
комары, до кровушки охочие.

Оттого, что спал я на боку,
снились мне кошмары всевозможные,
будто я рублю на всем скаку
бледные ромашки придорожные.

* * *

Из-за близорукости своей
часто дальше собственного носа
я не вижу, и в один из дней
угодить рискую под колеса.

Я могу легко попасть в беду,
может быть, излишне доверяя —
триста шестьдесят пять дней в году —
жизнь свою водителю трамвая.

* * *

Я терял друзей своих чудесных
в силу обстоятельств самых разных,

в силу обстоятельств неизвестных
спутниц я терял своих прекрасных.

Я давно бы мог остаться с носом,
на бобах я мог бы оказаться,
мог бы я во флаге трехполосом
раньше многих разочароваться.

Незнакомый номер телефонный
набирая как бы ненароком,
говорю, услышав голос сонный:
Я поговорить хотел бы с Богом!

* * *

Сирень легко в отрыв уходит, быстро –
всех раньше вырывается вперед,
так резко, что проскакивает искра,
и мимо проходящих током бьет.

Сколь шутки с электричеством опасны,
я знаю, памятуя опыт свой,
но так цветы весенние прекрасны,
что я рискну, пожалуй, головой.

* * *

В ежедневном уходе нуждается сад,
в добром слове старик-садовод,
потому, что он раньше был храбрый солдат,
а теперь прошлой славой живет.

В прежней жизни он был боевой офицер
и на многих глядел сверху вниз.
Про него мог Гудзенко Семен, например,
написать, или Слуцкий Борис.

Я охотно ему посвящаю стихи,
но когда бы на старости лет
мог стихи сочинять я, как те старики.
Как Державин, как Тютчев, как Фет.

БУТЫЛКА

Повесть о стекле

У нас иногда так бутылку закупорят, что помрёшь от жажды или зубы обломаешь. Через это со мной однажды вышел случай.

Давно это было, родину мою ещё не совсем успели раскурочить – самый разгар зачинался; народ только-только стал вымирать, а пока с непривычки нищенствовал или отсиживался по ресторанам-заграницам. Но стрелять уже начали. (Вообще, это только сейчас – в Северной Италии, в начале апреля, когда миндаль кругом, как невеста, облачился цветом зари, – вспомнить можно без содрогания. А тогда – не жизнь была, а как бы сплошное её, жизни, сотрясение.)

Так вот, в ту пору однажды купил я в буфете консерватории бутылку крымского вина. Решил выпить с горя. Грустно было – жена выгнала из дому.

– Иди, – говорит, – денег где-нибудь достань – хоть своруй, а то мне скучно.

А надо сказать, по начальной профессии человек я совсем не денежный. Математик. Покамест жена так выкаблучивалась, я за год полдожины работ сменил.

Так сказать, от теории к практике: за алгебраическую топологию совсем платить перестали, так я устроился оператором в Институте механики, на аэротрубе. Крылатых ракет макеты продувал. Работа совсем непыльная, между прочим. Сядешь верхом, пришпандоришь датчики, солнце из распашного цехового окна в трубу ярит, пропеллер стрекозиным нахрапом в зенках чешет, кругом турбулентность стрежни форсажем рвёт и мечет: и вроде как летишь – интересно даже.

А как отрубили электричество, встал пропеллер, определился я на Птичьем рынке торговать почтарями – покуда все они у меня от чумки сенной не отлетались.

После назанимал у гавриков с Птички денег на прокрут – стал челноком возить из Чада куртки кожаные: снабжал точку на толкучке в Сокольниках. Три дня там, два здесь. Шестнадцать раз сгонять успел – жене на радость: кожанки из шимпанзе хорошо шли, раскупались вмиг, хотя товар дорогущий. Особенно бандиты любили в шимпах щеголять: называли – «вторая кожа».

Мне до слёз было жалко всех этих птиц, обезьян. Жену проклинал, но, любя до смерти, грузил вонючие клетки, вёз вороха шкур в баулах – целые селения шимпов. Совсем извёлся на такой работе. Всю дорогу чудились мне преступные толпы, марширующие по проспектам в моих куртках. А за ними – духи голых обезьян, – то стенающие, то передразнивающие тех, кто щеголял в их шкурах...

Хорошо – на семнадцатый раз у меня на таможене всю партию отобрали. По всему – соседуски сокольнические стуканули начальничкам. А закупался я на всю прибыль, как фраер: не припас на чёрный день почти ничегошеньки.

Говорит мне таможня:

– Попал ты, парень: кожа приматов хуже наркоты.

Так и вышло, по сказанному: на деньги большие попал – откуп, долги. Ужас меня объял, скушал, жизнь совсем обрыдла.

Жена мне говорит тогда:

– Ты бы ушёл пожить ещё куда-нибудь, а то и меня с тобой прищучат.

А я тогда в последний заезд подхватил в Чаде дизентерию: хлебнул в аэропорту, в сортире, две горсти воды из-под крана – не стерпел, жарко там очень.

Не пожалела:

– Иди, – говорит, – подобру-поздорову.

Я и пошёл: в Зюзино ночевать к приятелю – в аспирантскую нашу общагу. Еле дошёл – то и дело прятался по кустам с нуждой неотложной.

В Зюзьке месяц промаячил орлом над толчком, как джин дизентерийный, чуть не помер: а подайся я в больницу – сразу бы засветился. Так бы и кончил: в дерьме и в крови, как в кино, по уши.

Однако, пока болел – отстрелил кредиторов моих кто-то.

Жёнка ж меня обратно пустить – ни в какую. Отвыкла, видать, пока прятался.

Ну, думаю, ладно: разбогатею – сама прибежишь.

Устал я тогда очень. Исхудал – одни мозги да душа остались.

К тому ж, до смерти устал от страха трястись: достали – жена, покойные кредиторы. Дай, думаю, тайм-аут возьму – расслаблюсь, пораскину, как дальше быть, может, что и надумаю с толком.

И полюбил я тогда читать книжки и по городу ходить. Стишки повадился на ходу придумывать. Математикой кое-какой снова в уме занялся. Но всё больше стишки, конечно. Днями целыми ходил, шлялся где ни попадя, нагуливал настроение на поэзию, – чтоб ввечеру стишок какой тиснуть на бульваре.

Ночевал в той же общаге – в кастиелянной, чтоб приятеля, с бабой новой его, не тревожить. Ключ подобрал и ночью вскарабкался на сложенные матрасы. Как принцесса – на горошину. Нехорошо там спалось, несмотря что мягко очень: спишь, как на облачности летаешь, – туда-сюда во сне болтало, будто падаешь и взрываешь, а земля, твердь – с горошину ту самую, что заснуть глубоко не дает, так как ворочается под поясницей – далеко и жутко. Всё оттого, что матрасы чересчур высоко были наложены – до потолка носом подать. Форточка на уровне глаз маячила. В неё звезда одна вплотную смотрела, мигала всю дорогу небесную: мол, держись, браток. Я и держался.

И ещё минус – рано вставать приходилось, пока не нагрянет комендантша.

Чуть свет – вскакивал, умывался и шёл бродить по городу, как собака, которую из дома вышвырнули, а та – не в силах привыкнуть к воле – повадилась ночевать на чужом пороге.

У гуляний моих было два направления – любопытство и праздность.

Вот по первому я и зашёл однажды к Петру Ильичу Рубинштейну – проверить репертуар консерваторский. А там пусто – никто уже не играет, оркестранты, видать, по кабакам подались лабать: только, смотрю, в буфете мурло с саксофоном торгует винищем. Подудит, подудит и кассой – щёлк.

Ну, думаю, раз нет репертуара, то и мы выпьем.

Дайте мне, говорю, вон ту бутылку, в чёрно-красной этикетке, с кудряшками; называется «Чёрный доктор».

Мурло снял, рукавом от пыли обмахнул. Поставил:

– Семнадцать рублей с вас. Только это никакие не кудряшки, а лоза виноградная.

И – ка-ак духанет в басовый аккорд: шквал перегарный оплеухой в морду. А мне всё равно – взял бутылку за горло да пошёл на Суворовский бульвар, чтоб в теньке оприходовать эту гадость вместо музыки, раз ничего не играют.

Только вот пробка что-то не вытаскивается.

Верчу я бутылку так, сяк, по дну ладонью, коленкой стучу – ни в какую, ни на миллиметр. Авторучку сломал – хотел внутрь протиснуть. Мизинец вывихнул.

Пробка ж ни с места – приросла, пустила в стекло корни. Прямо клин какой-то, что свет извёл. А подумать – кусок деревяшки, щепка.

Изнемог я с этой пробкой, хотел было бутылку устаканить в урну, а вместо книжку достать – та, поди, уж точно сразу откроется.

Но не тут-то было.

Там, на бульваре, стояла напротив скамейка. И два битюга на ней в кожаных пальтах (я своих обезьян сразу узнал по покрою – такой фасон имелся только у Баламуда, чадского моего поделщика). Оба лыдые, с усами. Только один побольше, а другой в очках – ему по плечо и виду более благообразного, похож вроде на барсуна¹.

А погода кругом – чудо в юбочке: начало июня, птички, солнышко, липа цветёт и запах от нее волнами ходит.

Смотрю, те двое воблу, тарань или плотву какую – издали не опознать – брезгливо так, щепотями ломают надвое: один держит, другой тянет.

Но вот бросили рвать, и Барсун мне рукой машет, подзывает.

Я смекнул – надо чего, или насчёт воблы кое-что хочется выяснить – взял да и подошёл к ним: человек-то я, в общем-то, вежливый, податливый, можно сказать, – а что виду они – не по мне – такого, то это – это, думаю, ничего: всё ж таки, как все – прохожие.

Подхожу, а Барсун мне и говорит – чего, мол, ты бутылку бросил? Совсем дурак? Неси сюда – мы тебе выдадим штопор.

Принёс я бутылку (чудо, что ещё никто не потырил). Хотели они мне её штопором чпокнуть – не тут-то было. Повозились, покрутились – только растянули в проволоку штопор из ножичка швейцарского.

Плюнули. Ладно, говорят, хлебни нашего. Достали из портфеля такую же, но початую. Хлебнул, а свою за пазуху прячу – ещё пригодится, думаю, раз попался экземпляр такой уникальный – прямо камень преткновения, что ли.

Тем временем хлебнул я ещё из подарка.

Стали расспрашивать. Точнее – Барсун делал мне вопросы.

А тот, что грозный с виду, почти всю дорогу стрёмного пути моего помалкивал, – видимо, то ли цену себе набивал, то ли оказалось, что плевать ему на меня.

А я и отвечаю, сопротивляться не думаю даже – два месяца ни с кем не чесал, дай, думаю, слова хоть какие вспомню, языком на ошупь.

Сначала, говорю, занимался математикой, был аспирантом, в универе решал задачки всякие по математике, а потом жизнь кувыркнулась и пошла, пошла ковёрным во все тяжкие – сдурел, говорю, совсем, науку на мели кинул, спекулянтом стал, перестал – чуть не шпокнули из-за денег; стишки с горя начал придумывать, вот и жена прогнала из дому, доигрался, говорю, дурень.

Раньше, говорю, когда замуж шла, думала – за академика прётся, да не тут-то было.

– Обозналась, – говорит, – звяняйте, батьку, а мне иную партию пошукать треба.

Украинка она у меня, червовая дива – красивая-ая, – ну, як панночка прямо. Брал я её из Житомира – на конференции в Киеве познакомился: была она на заработках – горничной в столичной гостинице. А теперь вот одна по квартире моей – родительской – шастает. А может, и не одна, не знаю... Поди уж и карточки мамыны со стен в сервант запихала. Однако ж забыть её никак не могу, как ни силюсь. Сроднилась она мне, не то что – я ей: чужой совсем придурок. Думал недавно: собаку купить – подружиться с пёсиком, развеяться – да вот сам бездомный, куда я щенка приведу, а с собой таскать – утомится бедняга.

¹ “Барсун” – это барсук (*прим. автора*)

А подумать – деревня она у меня деревней: сельская жительница, малоросска – ей бы яблоками на базаре торговать, а тут нате: прописка в столице, трёхкомнатная хатёнка на Плющихе. Да ещё мужнины сбереженья – хватит года на три сплошного шика.

К тому ж, говорю, мужа-то самого похоронила заживо...

На самом деле, говорю, я её даже жалею – она от глупости такая злая. Бедненькая она, неграмотная почти – половину слов по радио не понимает: как раз от неё-то я и говор такой перенял придурочный – vox roruli, не отделаюсь никак. Да и не хочу, если честно: из любви, из памяти, что ли.

Да-а, вздыхаю, была червовая, стала червлёной.

И ещё хлебаю из халявы. Хлебаю – и вдруг чую: разобрало меня хуже некуда. Понимаю, что вру-завираюсь, а стоп себе сказать не хочу – не потому, что вздумал пожалеть себя, а потому, что слишком я себя ненавижу всё это время.

Очнулся я от себя, смотрю, на соседей по лавке – Барсун вроде проникся: опнулся напарника по лопатнику, где сердце, – кричит:

– Наш человек, наш мальчик!

– А я, – чуть он не прикусил мне ухо, – семь лет оттрубил профессором филологии в Лумумбе, слышал про контору такую? А теперь вот – накося: бухгалтер!

Тут я смотрю: а Барсун-то – в стельку. Как насчёт второго биндюга, не знаю: молчит он всё; а этот уж как пить дать.

Барсун тем временем – вроде как от болтовни моей – обмаслился, раскис совсем, мне шепчет:

– А я, понимаешь, пять лет по Соссюру лингвистику читал, Леви-Стросса, Якобсона, Бахтина, как братишек, люблю и – во как уважаю!

Тут второй бандюган достаёт три четверти «Абсолюта перцового» – красивая такая, тонкого стекла и цены высокой водка, – одно плохо: только четверть в ней кристально плещется, – и строго так одёргивает напарника:

– Ты что-то, Петька, совсем забурел. На вот – сполосни от рыбы ладошки, морду побырзгай. – И давай лить водку на щёбень, я аж поперхнулся.

Помыли они руки, умылись – и собираются уходить. Встали, оглядели лавку – не забыть бы чего. На меня не смотрят – нечего смотреть ведь.

Тут сзади из кустов к ним ещё трое в шимпах, победней, подходят – и встали в сторонке. Пригляделся – стоят тихо и в карманах щупают, катают нечто, что ли.

Ну, думаю, сейчас начнут палить. И тихо так, не раскланиваясь, пригибаюсь и в сторонку отгребаю понемногу – без внезапных движений.

А Барсун мне:

– Цыц! С нами пойдёшь. Море пить будем. Правда, Петь, ведь наш мальчик-то, совсем наш!

Здоровый Петька плечом – крутым, как бугор, – повёл под кожанкой и на маленького вполоборота глянул:

– Как хочешь. Только странно мне это, ты знаешь.

Короче, те, что из кустов образовались, – сподобились ихними телоблюдителем. Деловые такие, услужливые – всё молчат и головы набок клонят: у них по наушнику в каждом левом ухе блестит – будто слушают глас Старшего или тайное радио.

И я оказался вроде как при них – плетусь и шаркаю, а зачем – ещё не знаю, из праздности, видимо.

А с Барсуном творится уж совсем пурга: он то трезвеет, прямо идёт, глазом в стёклышко зыркает, а то совсем в стельку стелится, на руки телохранам падает. Прямо как мальчик маленький с папой-мамой за ручки: два-три шага нормально пройдёт и вдруг – повиснет. Третий же рядом с грозным Петькой пошёл – адьютантом вышагивает.

Ну, думаю, придуряются типчики: непременно надо держать с ними ухо остро, а то выйдет неприятность. (Я же не знал, что она, неприятность-то, и так уже вышла...)

Между тем скверик кончается, сходим с обочины.

Тут, откуда ни возьмись, «пontiак» кровавый – вжик: колёса – как солнца. Водила миллиметраж хотел по бордюру выправить – ботинок мне со ступнёй отдавил. Хотя и не больно, но нагло. Надо, думаю, возмутиться.

Смотрю на водилу подробней – а тот пушку с правого сиденья принял, на торпеду швырнул, будто вещь какую. Ладно, думаю, пусть пока катается как хочет...

А на правое сиденье уже укладывают Барсуна под локотки, распахнули задние дверцы – и предлагают мне присаживаться подле Молчуна ...

В общем, чем дальше, тем глуше – как в сказке.

Колесим мы, значит, по центру на кумачовом «пontiаке» – девки на нас с тротуаров заглядываются, парни оборачиваются. Наше счастье – пробок ни одной, есть где с ветерком раскатиться. И мне езда очень нравится – полгода хожу пешком, деньги на такси экономлю. Устроился поудобней – бутылку свою в рукав чуть передвинул, чтоб не выпала, и стекло на всю спустил – глаза с удовольствием подставил встречному ветру.

Барсун сначала вздремнул, потом приободрился, стал хулиганить: высунется на светофоре перед какой-нибудь пешеходной бабёнкой – и то песню орёт ей про княжну Стенькину, то «Облако в штанах» декламирует. Кричит-рычит:

– Мар-р-рия! Дай! Не хочешь?! – Ха!

Женщины от его рожи справедливо шарахаются, а он им вдогонку: «У-у-у!» и ладошкой по юбке – хлоп, словно ловит муху в кулак.

Короче, поколбасились мы так по улицам ещё минут двадцать и прикатили куда-то на Знаменку. Выходим. Там опять та же охрана – встречает. Все трое тут как тут – как на часах, разве что не тикают.

Поднялись в офис. В нём пусто, компьютеры пылятся на столах, сверху пропеллер гнутый вертится, препинаясь, как во сне. На мониторе одном бюстгальтер, будто прапор переговорный, выставлен. И кот здоровенный рыжий по подоконнику пляшет на задних лапах: за жалюзи мух мутузит по стеклу.

В углу громоздится сейф и радио над ним надрывается:

– Пусти, пусти, Байкал, пусти!

Я и смекнуть не успел, старший Петька пошуровал на коленках что-то под сейфом, дверца – прыг, а там – ёлки-палки: денег как грязи! Мама мия... Доллары – баррикадами, марки – развалом, а рубли – вроде как мусор: сверху ими всё припорошено.

Вдруг радио над сейфом прохаркалось, тишиной немного пошуршало да как выдаст:

– Дорогие братья и сестры!..

Тут Барсун опять протрезвел – шмыг прямо к сейфу, радио щёлк и – цап-царап, цап-царап – пачечки распихивает по карманам: две себе положит, а третью передаст напарнику, что ещё с колен не встал. Когда набрал норму – хлоп дверцей и шасть к моей милости – суёт мне в нагрудный карман кипу и прихлопывает, чтоб оттопыривался поменьше.

А я:

– Извините, ни к чему мне эти фантики. Спасибо, – говорю, – возьмите, пожалуйста, обратно, – и ему в карман всё дочиста перекладываю.

Тут Барсун опять обмаслился да как заорёт, полез обниматься:

– Наш, наш, Петька, мальчик! Я ж говорил, нашенький он, ты не верил!

Короче, дальше был уж полный швах.

Повели они меня во все тяжкие. В Дома журналистов, литераторов, киноактёров и композиторов – по ресторанам море пить. И всюду-то их знают, всюду-то их у дверей по мановенью охраны встречают, усаживают за столики, подвигают стулья, тут как тут несут семужку норвежскую с кухни, на пробу посола... Однако лично на меня халдеи как на собаку поглядывают – будто я хуже Петек. Да и то правда: ведь на дармовщинку-то с хозяевами жизни путешествую... Но посмущался я недолго – и расстраиваться плюнул: сам себе на уме буду, а на рестораничков чихать – плебс как-никак, какой с них толк-то?

Ну и натрескался тогда Барсун наш! Мне его аж жалко стало. После последнего номера – в Доме композиторов, где он Шнитке пытался девке какой-то на бюст намурлыкать, – блеванул-таки на выходе.

Притом – ладно бы, если бы так просто стошнило: подумаешь, человеку стало дурно от живота. Но ведь вышел еще больший конфуз при этом. С Ростроповичем.

Он, оказывается, в эту самую минуту, как подались мы из ресторана, – из аэропорта на родину возвращался впервые. Из Шереметьева должен был с женой-певицей и делегацией встречающих заехать на Новодевичье кладбище – поклониться Шостаковичу. А после – в родные пенаты. Вот его здесь, у выхода-то, и ждали. Ему квартиру в доме Союза композиторов вернули перед приездом – и подготовили встречу с митингом.

Как раз мы из ресторации выходим – чтоб пройти к Центральному телеграфу, где машину с водилой оставили. А тут – фу-ты ну-ты – толпа на выходе жужжит и куражится: дамочки в декольте бижутеревых, мужики-пиджачники – по всему видать, композиторы – смолят трубки, подбоченясь, гривы правят пятерней. Плюс – официантки в жилетках бегают с мельхиором и богемским на руках – шампань разносят, репортёры пробуют вхолостую вспышки; а над подъездом висит лозунг – голубым по простынке белой: «ГАЛЕ И СЛАВЕ – СЛАВА!»

Прямо свадьба какая-то. Я аж оглянулся – шаферов поискал...

Тут Барсун, как всё это увидал, – ка-ак блеванёт на поднос разносчику – тот обалдел: стоит, как закопанный, и даже не мыслит отряхнуться. И я стою, бутылку свою плечом наружу подвигаю – думаю, как начнут бить, так хоть ей оборонюсь, чтоб совсем не забили.

А Барсун тем временем отплевался и как завопит:

– Люблю Шостаковича! У-у-у! Пятую! Давай симфонию! У-у-у! Всем – лож-жись! – смир-рна! Пятую давай! Давай Пятую! У-у-у! Хочу плакать! Су-уки, плакать хочу!..

В общем, пока он так выл, едва наша охрана подроспела – а то бы Барсуна как пить взять – схавали б и растоптали: за хвост и башкой об угол. Это точно – композиторы, они слов не понимают: у них сплошные чувства, звуки – звери, прям, какие-то...

Думал я, что на этом всё. Что меня теперь в свояси отпустят. Но не тут-то было. Ошибся я. Причём трагически. Прямо, как Федра какая, ошибся. Или – петух: который через думку свою окаянную попал в оцип, – тоже фигура трагическая, не хуже Антигоны.

После Ростроповича последовал один актёр. Добрейший дядька, понравился мне очень. Забурились мы к нему у Белорусского вокзала. Поднимаемся – смотрю, а в дверях, чёрт возьми – Генрих IV стоит, из моего любимого кино, – только не в латах, а в трениках и в рубаше навыпуск...

Приветил нас актёр, накрыл стол, бутылки откупорил и песенник достал – всё как полагается. Только недолго у него мы загацивались.

Поорал Барсун вдоволь «Выхожу один я на дорогу», и тут мне поблевать захотелось. Иду срочно в ванную, но смотрю краем глаза – Генрих за мной. Ну, думаю, – мало ли чего, может, руки охота ему помыть. Однако ничуть. Стою я, блюю мало-помалу, а король мне в ковшике подносит воды с марганцовкой. Красивая у

него ванная – я отметил: кругом кафель с корабликами-рыбками всякими, и ещё особенно запомнил – на полке под зеркалом стоял шампунь забавный: прозрачная банка с буквами, внутри – сияет янтарь жидкий, а в нём здоровенный жук-олень, а как он туда рогами через горлышко поместился – чудно, неясно.

Черпает Генрих мне, значит, третий уже ковшик, а после ласково так массаж по спине, по плечам запускает. А я, дурак, расслабился зачем-то – давно никто не уделял мне ласки: жену, идиот, телом вспомнил, чуть слезой не пришибло. И на жука того в колбе смотрю-смотрю: чудится мне всё, что он рожки мне делает, шевелится. Если б не жук – точно бы разревелся...

Хорошо, я вовремя очнулся: в зеркале Барсун из дверей залыбился. Я ж от измены такой обстремался срочно.

Спасибо, говорю, Генрих Антонович, но я совсем не по этой части. Просто, говорю, жена от меня ушла.

Добрый Генрих тоже смутился:

– Ничего, – говорит, – извините, бывает.

Говорю ведь: превосходнейший человек – не только что фильм отличный. Жаль, что мы срочно так от него ушли: Барсун снова тошнить захотел. Причём, кричит: надо ему на воздух. – Воздух, – орёт, мне дайте, – и во двор без лифта дёру, – мы за ним, ясно дело: всю песочницу заблевал, едва дети спастись от дядьки страшного сумели.

А потом – прямо кошмар, что потом случилось.

Вообще, на первый взгляд, мы совершенно произвольно, совсем не руководствуясь принципом наикратчайшеости, колесили по городу, время от времени будто случайно выныривая там, где надо. Этот способ передвижения, этот способ проистекания пространства, странным образом напоминал принцип лотереи: где мельтешение шаров, злобно будоража мертворождающееся будущее, содержит абсолютно все ваши куши – но выскакивающий номер раз за разом приходит точно по назначению: на убийство ваших шансов.

Однако, приглядевшись к городским рекам и речкам, проистекавшим в окне «понтака» (передвижение по столице вообще похоже на путешествие по дельте могучей реки, имя которой – Государство), я вдруг заметил, что видение города происходит по какому-то совсем не случайному плану. Что оно движется со своими особенными монтажными ужимками и выкидонами, будто беспредел катаний на «понтаке» дадаистическим образом составляет мне метраж исторического фильма. Всю дорогу мы норовили замедлиться или вообще беспричинно тормознуть у какой-нибудь известной городской усадьбы. Так, мы минули кратким постоем – тургеневский мемориальный домик на Пречистенке, где Иван Сергеевич почти и не живал, страдая от вечного раздора с норовистой своей матушкой; на Поварской у Дома Ростовых мы прокатывались едва ли не три раза сряду, а после сразу же рвали зачем-то поверх Крымского брода на Воробьёвы горы, понятно – с залетом через Хамовники – чтоб, будто нарочно, дать крюк у Девичьего поля, где стоял каретный балаган, содержавший Безухова и Каратаева в плену у французов. Я уж не говорю о бесчисленных проездах по Лучевым в Сокольниках, где Пьер за сучку Елену подстрелил Долохова. А также о разлётах у Дома на Набережной, через Каменный мост, на Театральный и Лубянский, к Музею Маяковского; а потом тут же с залётом на его же мемориал на Пресне, 3б, мы рвали к «Яру» на Грузинах, и после сразу на Солянку, к Трехсвятительским, к дяде Гиляю, на «Каторгу» и к Ляпинским трущобам, хранившим великого Саврасова... Вот там как раз я не выдержал, укачавшись поездкой, и хорошенько проблевался под минералочку под флигелем Левитана, стоявшим во дворе Морозовской гостиницы, где в подвале эсеры держали в заложниках Дзержинского... И хотя я и был сурово пьян, но то, что мне

город собирался указать этим «кино», – меня волновало больше, чем Барсун, во сне слюняво кусающий моё плечо, как младенец мамкин локоть...

Постепенно настожившись, я стал кое-что прозревать, но не успел утвердиться, как Барсун в машине опять – от ветерка, видать, – протрезвел, стал липнуть к водиле: мол, хлебни глоток – смажь баранку. Вовремя остраполил его здоровый Петька, успел: водиле-то отказаться неудобно – раз сам легионер предлагает, он уж и грабли от руля за бухлом протянул. Только Петька-большой тут ка-ак – шмяк Барсуна по жирному загривку:

– Ты что, Петюня, по нулям забурел?

Барсун тут же на попятную: бутылку в окошко – швырк.

И смекнул я тогда, кто тут по правде у них настоящий император, а кто прокуратор выдуманный...

Не успел я размыслить над этим, как Барсун достаёт из перчатницы ещё одну – и ко мне:

– На – глотни, всё равно пропадать!

А я – в несознанку: мне, говорю, не хочется, мне, говорю, и так плохо.

А сам бутылку свою от страха к рёбрам плотнее жму: думаю, ежели что – как вдарю...

Тогда Барсун всполошился да как заорет водиле:

– Гони к Парфёнычу, гони! Я его с курами поить стану!

Пока к Парфёнычу катились, на улицу Энгельса, к Головинскому саду, Барсун опять ко мне с сантиментами – гад, замучил совсем:

– Ты, – говорит, – определённо наш мальчик. Ты, – говорит, – даже не представляешь, какой ты наш, как тебе повезло, засранцу.

Ну, думаю, пусть, пусть себе язык треплет: я чуть что – на перекрёстке дверцу во дворы распахну – только ты меня и видел.

А пока до Парфёныча в пробках стояли, рассказал мне Барсун историю одну – то ли расчувствовался, то ли со скуки, только стало мне вдруг интересно.

Говорит:

– Что тебя баба помелом погнала, это я очень даже понимаю.

Я, когда тебя чуть постарше был, тоже траванулся любовным расколом. И чтоб не страдать, аспирантом в загранку подался. Нас из МГИМО куда хочешь тогда посылали – пошпионить, постажироваться. Вот и я рванул с тоски в Германию – развеяться. Там меня по части комсомола определили, фининспектором вроде: я взносы по гэдээровским райкомам собирал, учитывал – с умыслом, ясное дело... Короче, – говорит, – ты не поверишь – плакать будешь, как я резидентом в Зап. Берлине себе крышу определил. Открыл казино со стриптизом на комсомольские взносы. Так и жил – во сыру да масле, а пива было – сплошная ниагара... Про бабу свою от жизни такой забыл наскоро – как не было, суки той. Вот и ты забудешь.

Тут я, конечно, ему не поверил. Хотя сомнение он в меня заронил, признаюсь.

Однако, долго ли коротко, приехали мы до Парфёныча – в ГОРО: Городское общество рыболовства и охоты – над самой Яузой, в Лефортово, особнячком шикарная такая усадьба, с иголочки после реставраций. Высыпаемся ко входу – а у дверей кипарисовых уже телохраны: Гогой-Магогой стоймя стоят, башками друг к дружке жмутся – наушники одни на двоих слушают. Нас увидели – разошлись, ходу дали – а наушники на проводке провисли типа ленточки. И зря – Барсун проводок как рубанёт наотмашь: левый за ухо схватился – терпит.

Смотрю на угол с адресной табличкой: Большой Эльдорадовский переулок, а по перекрёстку – Энгельса, значит.

Ага, думаю, приехали...

Заходим, подымаемся кое-как – больше Барсуна в поясницу толкаем, чем сами идём. Да еще лестница винтом – крутая больно, но красивая – вроде витражная колба идёт вокруг ступенек штопором: ромбы, цветочки, серпы, молоточки, знаки качества (пентаграммы с человечком, внутри распятым), восьмиугольники также, голуби, веточки, звёздочки разные... По такой лестнице, если б не Барсун, подняться одно удовольствие – как во дворец, не меньше, а то и – в ракету на Байконуре.

Но вот и вскарабкались. Главная зала – насквозь залитая светом, будто лампа – вроде как музей: зеркала, стол с приборами, пионы в корзинке, клавесин, камин, картины по стенам маслом – всё больше, правда, монтажники-сталевары, туркмены на комбайнах, хлеб золотой веером, ворохом и фонтаном – плюс политбюро, правда, не в полном составе: однако Ч. и Щ. там были, на почётном притом местечке, узнал я их... Лет семь тому я ихние биографии на политинформации в школе докладывал: была у нас такая бодяга – по утрам на первом уроке вырезки из «Правды» по очереди расписывали вслух перед классом...

А как узнал я портреты – на чистой интуиции, необъяснимо – вздёрнул бутылочку свою из рукава повыше, чтоб сподручней – наотмашь – с плеча вскинуть...

Тут заминка вышла – Барсун вдруг с равновесья вздумал заваливаться. Прислонили мы его к косяку, разворачиваемся, обходим залу, смотрю: стоит нараспашку сейф-иконостас – точь-в-точь как в прошлой конторе, только изнутри дверцы иконами увешаны, – а перед ним жирный мужик расхристаный, в рубахе белой навыпуск, верхом на коньке-горбунке – на кресле-качалке с ногами – туда-сюда, туда-сюда – и в сейф из арбалета целится.

Дзень-бум – ба-бах!

И стрелу перезаряжает – меланхолично, как «Герцеговину Флор», пальцами из колчана на ощупь тянет.

Смотрю, а у него вместо мишени внутри – пачки денег, как в «городках», выложены колодцем-пирамидкой: и стрелы ежом торчат.

Этот-то мужик Парфёнычем и оказался. Никакой уже был, лыка не плёл, только мычал и рукой двигал в бессилии, будто пса гладил, – так что мне его Барсун представил: мол, олимпийский чемпион по стрельбе из лука, а нынче – завхоз ихнего филиала.

Ну, чтоб ещё покороче – скажу сразу, чем кончилось.

Милицией. Напротив усадьбы ГОРО – через речку, у Головинского сада, куда Пётр к Лефорту на ботике по Яузе из Петербурга для ревизьи-по-мордасам скатывался, – чудный бело-розовый госпиталь Лефортовский – стройно так очень – стоял на взгорье по-над речкой – в нём как раз в двенадцатом году Платоша Каратаев с кой-какими однополчанами из Апшеронского полка отлеживался от лихорадки. Так вот, Барсуна за пальбу по гошпитальным окнам-то и увезли с концами – мудила через фортку палил, навскидку из арбалета: пальнёт, прислушается, как стёкла падают – и ржёт от счастья, затвор перетягивает. И Парфёныча менты для коллекции прихватили – ни за что, так просто: пьяному ведь, как мёртвому, всё одно, где ночевать...

А нас с Молчуном – возьми да и выпусти из «воронка» на полдороге: за полсотни.

Я дал. Молчуну, видно, всё это по барабану было. Пока нас везли в лефортовский «обезьянник», сидел чин-чинарём – спокойный, как Емельян Пугачев: ногу на Парфёныча поставил, локтем на Барсуна опёрся (тот плашмя на скамейке пузыри храпом пускал), платок чистый достал, утирается, за решётку на ландшафт похозяйски поглядывает.

Я размыслил-прикинул – чую: нечисто здесь что-то, – ну их всех в баню, не хочу я в участке лишний раз светиться... Достал купюру – машу ею в задний вид сержанту.

Тот по тормозам, к нам вертается:

– Командир, маловато будет: я те чё – маршрутка?

Тут Молчун отозвался:

– Это за двоих, начальник. Остальных баранов я тебе на съедение оставляю.

Отпирает нас сержант, взял полтинник, осмотрел, посторонился:

– Вы, – говорит, – трезвые и смирные, даром что сомнительные клиенты, так что хиляйте поздорову, сами дойти сумеете, некогда мне с вами.

Ну, мы и пошли. А чего, собственно, не уйти, раз не держат? Вот если б препоны чинили, тогда и остаться бы можно – чтоб шум не подымать. А так-то – чего перечь?

Ну, значит, выходим. Глядь – опять телохраны, как архангелы, на тротуаре стоят. Я было обратно в «воронку» полез, но он вспорхнул.

И тут как раз самое интересное начинается.

Молчун молчит, набычился, на меня не смотрит, а я бутылку за пазухой жму – так, на всякий случай: поди прочитай, что там у него на уме, – может, сердится за что-то, чего вдруг – ещё драться полезет.

Но драться Молчун не стал. Наоборот даже. Охранников жестом остраполил – мол, держитесь подальше – и легко так под руку к метро меня влечёт.

У подземного перехода сплонул длинно в урну – попал, платочком утёрся и зырк – на меня с приглядкой.

Ну, я напутствие какое от него ожидал. Думал, сейчас скажет чего-нибудь, вроде «живи», «бывай» или «не кашляй». Однако совсем обратное прощание у нас с ним вышло. И не прощание даже, а наоборот – знакомство.

– Меня, – Молчун говорит, – Петром Алексеевичем зовут. Вы извините, мы вам тут собеседование несложное хотели устроить – только вот как оно всё вышло. Ну да ничего. Я и так вижу – вы нам годитесь вполне.

Я – честь по чести – в несознанку: стою, ног под собою не чую, не то что землю. Бутылку ещё крепче сжал – думаю: щас как вдарю – ежели что, конечно.

А дальше Молчун такую пургу несёт:

– Я, – говорит, – хочу предложить вам в нашей системе, в совместном предприятии то есть, одно симпатичное место. Не пыльное совсем, при этом вполне денежное, солнечное даже место. Вы, я вижу, в деньгах нуждаетесь – да и проблемы личные вас поджимают.

А на том месте – всё, как рукой, – слетит, исчезнет. К тому же – поучаствуете в полезном деле: Партии и Комитету вновь требуется отбыть на время в эмиграцию. Но мы вернёмся еще, – тут Молчун как-то особенно помрачнел, искра какая-то перебежала с левого глаза на правый. – На табулу расу, так сказать, ворвёмся, лет через пять...

В общем, приходите в пятницу к нам в филиал – мы там были сегодня, в Эльдорадовский переулочек, – я вам всё разьясню с подробностями.

Руки не подал, повернулся – и пошёл вразвалку: спина кожаная – стена ерихонская, загривок – бритый в складках, каждая – в три пальца, а кулаки по бокам свисают – будто палач за вихры головы несёт, помахивает. И – бугаи-охраннички за ним, как дети за папой.

И такой вот ужас меня тогда обуял – вспомнить стыдно.

Тут же поклялся себе – ни за что: режьте меня, полосуйте – баста, и так напрыгался, теперь буду книжки читать под забором!

Рванул с ходу в метро и, спотыкаясь, попадал в нескольких местах на эскалаторе. Влетел в поезд не на то направленье – и ещё часа два куролесил по городу, чтоб потеряться.

Однако же, не потерялся. От себя не уйдёшь, не то что от дяди.

В пятницу из общаги, где после жены я в кастелянной на тюфяках притулился, перебрался срочно в чердак – и оттуда, конечно, ни шагу. Все выходные проторчал с голубями, замучили они меня – голова под конец гудела от шумных их случек: кудахчут, гулят, воркуют, молотят крыльями – сил нет: не чердак, а мельница-бордель, натурально. Или – часы живые, башенные, вспять спятившие. Одно было приятно в этом пребывании – когда сизари затихали пыль месить, – лучи солнечные из-под щелей в карнизе шевелились пучками копий – веером по ходу солнца, поджигали нефтяные разводы на голубиных грудках, и вдруг разливалась тишина замиранья – особенная, будто перед справедливой битвой.

В понедельник, уже успокоившись, спускаюсь – умыться, погулять, съесть чего-нибудь... Чу! – в холле Барсун стоит – от разомлевшей вахтёрши подвинул к себе телефон и чему-то лыбится в трубку. Я ещё заметил зачем-то: телефон старого образца, как на КПП, – эбонитовый, увесистый ларчик... В общем, я чуть не умер: горло распухло от ужаса, хотел садануть его телефоном тут же, а самому ломануться – в Томск, Тамбов, в Мичуринск, в Турцию – на дно закопаться... Только я решился – он тут же хватъ телефончик: и вжик его за стойку обратно. Вахтёрше мигает: мол, спасибо, миленькая. И вот жалость – бутылки у меня при себе не оказалось: расслабился, в кастелянной под матрасами оставил. Так что вдарить ему тогда у меня не вышло...

А Барсун меня увидел, откинулся поясницей и, падло, мигает: приветик!

В общем, так я к ним в лапы-то и попал. Тяжело попал, круто даже. Однако сейчас уже – ничуть не жалею. Что дальше было – сказка сплошная, неверье – жуткая местами, но интересная – так что дослушать было б полезно. К тому ж, совсем коротко осталось...

Для начала поместили меня с вещами на чердак, где ГОРО. На сутки, в которые я не спал, курил и всё видел вокруг шарящих в придонных слоях жемчужных тунцов, поначалу принявших меня за утопленника, но побрезгавших таким кормом... Через день приходят охранники – и ведут к начальству.

Молчун с Барсуном, в полном составе и трезвости, приняли ласково – и к вечеру всё было кончено: опростали меня на полную катушку.

Однако, надо признать, не очень-то я и сопротивлялся. Истерики точно не устраивал. Особенно когда узнал, в чём дело-то было.

Говорят мне – нам навык твой кое-какой понадобится. Жить будешь на отшибе – в загранице. Тепло там и сухо, сытно вполне. Математикой своей займёшься по новой, жизнь вообще поправишь – соглашайся, мол, а то хуже будет.

Пока беседовали и бумажки предо мной, как листы диспозиции, переключивали, пока тесты – сначала несложный, потом боевой – надо мной держали, приносят секретарша от ночного курьера из МИДа: паспорт, билет, рекомендательные записки. Дали мне всё это, я в руках верчу – присматриваюсь к своему новому имени. Спрашиваю вдруг:

– А как мне статьи свои научные теперь подписывать?

– Фамилию свою настоящую возьмёшь псевдонимом. И вообще, – Барсун говорит, – ты там особо не высовывайся. По городу ходить – ходи: бабы там страшные, так что ничего – запасть навряд ли встанет. А вот знакомств долгосрочных не заводи совсем.

И вообще – сиди больше дома сиднем, тень не отбрасывай.

Тут они с Молчуном поднялись, руки мне протянули, пожали: и за обе ладони – напористо так – к двери тянут. Дверь распахивается, а там охрана с электрошоком наперевес: на выход, мол, просим, не обессудьте...

Тяп-ляп – вкололи мне через штаны, будто диабетика, успокоительное, свезли в Шереметьево, в очередь к таможене поставили, всучили в пальцы заполненную декларацию. А я стою и думаю: «Пойти, что ль, в сортир и там удавиться? Или – в кабинке о помощи закричать». Но потом жену вспомнил – хотя и сквозь сон-укол, и это меня как-то взвинтило, так что приободрился даже. Валютную карту, что Барсун дал, а секретарша зашила в лацкан – помял на изгиб, нащупал бутылку свою бесценную в сумке – и шагнул на таможеню.

Гляжу, а таможенник мой – тот самый, что за шкуры шимпов меня щучил. И он меня узнал – мигнул с приветом: штамп без базара шмякнул и рукой так показыва-ет – свободен, мол, паря.

Что дальше? Дальше – полёт в молоке облачном, карусель посадки – два раза почему-то заходили – и то хорошо, успел наглядеться: море штилевое на закате, чудные очертанья острова, похожего на гуся, с белоснежной, вроде меловой горой в виде гузки; белые домишки – как сахара песчинки, искрятся аж.

Когда с трапа сошли – смеркалось. Смотрю наверх – тлеющее небо – по тонам, по глубине – совсем другое. Совсем иное – вчистую, просто невиданное небо: сочное, как море, – живое. Опять же дома белые, у каждого цветочные горшки рядом по-над подпорными стенками палисадников, прямо на улице, и дальше – окаймляют проход и начало двора. И чуть не над каждой горшковой клумбой – поразительно – висит по стайке бражников трубных, ночных бабочек, каких я только на картинках видел в детстве: эскадрилей зависают, сосут длиннющими хоботками нектар, как колибри, – и треск стоит от крылышек тихий, будто листают деньги в пачке.

Потом – Никосия, Лимасоль, где пришлось в гостинице откантоваться с полным бенцом. Халабуда оказалась – вроде бордингауза: битком матросня, преимущественно английская – баб на этажи напрудили, спать не давали: по коридору в галюн пройти – только бегом и невидимкой, а то забудут до смерти, раза два только пикнуть успеешь. И то навряд. Раз даже, когда штук пять этих дыр, вокруг размалёванных, за мной погнались, ночевать остался в сортире: сижу – молюсь-матерюсь, а выйти – до ужаса стрёмно: как Хоме Бруту из круга податься.

Но ничего, обошлось. В Лимасоли сварганил кое-какие делишки – зашёл в морпредство, подал бумажки на оформление – через день забрал: на аренду своей конторки в Ларнаке.

Куда и прибыл – с великим облегченьем, проклиная лимасольскую матросню. По дороге, правда, в Никосии, где делал пересадку, сдуру запёрся на турецкую территорию, прошнырнув чудом через оцепленье. Как так вышло – долго мне было невдомёк... Иду – глазею, увлёкся – особенно меня забавляли надписи на алфавите, родном почти (поначалу мне всюду вместо ярлычков мерещились осмысленные формулы), – норовлю заглянуть в каждый дворик, потому как непременно охота полезть по развалинам, если попадутся.

Вот и перелез случайно на ту сторону – миновав блокпост, даже местные и то, поди, таких ходов не знают. Только вдруг смотрю: вместо крестов-молотков на церквах почему-то стали попадаться серпы-месяцы. Тю-ю, – думаю, – а визы турецкой-то у меня и нету. А ну как депортируют меня с потрохами!

Только стал юлить – путь нащупывать обратный, – как из-за угла патруль ооновский: каски голубые, как синей птицы яйцекладка, мать их. Увидали неместного – давай паспорт. Даю. А они чуть не в кипеж: нету ихней визы. Схватить хотели – еле отболтался. Сначала, конечно, ни в какую – не верят, что так просто пробрался. Ну, я и повёл их на те развалины, ход им через подвал показал.

Отпустили, чуть раскумекав, ещё спасибо сказали, что лаз открыл. Так что ничего страшного. Даже с плюсом у меня вышло это путешествие к туркам: потому как в катакомбах, когда спичкой в одном месте чиркнул – ахнул, отколупал кусок фрески тут же – размером с ладонь. Там сюжет забавный – девушка голая, с водопадом волос ниже попы – переворачивает вверх дном здоровенный пифос, будто кастрюльку какую, – а из горшка к ней выбирается юноша, тоже совсем голый. С улыбкой. А вокруг них, надо сказать, совсем не любовная обстановочка – по периметру, полустёрто, но все ж различить – битва кипит: девушки на лошадях круговую оборону от всадников держат – с мечами все, один ранен пикой, другой без башни уже – и тётка какая-то его срубленную голову уже к седлу приторочила. В общем, повезло. Очень художественная попалась мне находка: тела и лошади на фреске переплетены были в настолько подвижный рисунок – что не оторваться.

Ещё мне в Никосии кофе очень понравился – всё никак я не мог после «успокоительного» отойти, всю дорогу ходил сомнамбулой, глушил кофе, чтоб проснуться. Крепкий, сладкий, с солью-перцем. Такой ядрёный, что с каждым глотком сердце – прыг-скок – и выше, выше в грудину, аж под горлом уже толчётся... Как-то раз расчувствовался я и похвалил кофе хозяину кофейни – тот расплылся:

– Кофе, – говорит, – должен быть чёрен, как ночь, горяч – как ад, и сладок, как любовь...

В общем, проторчал я в Ларнаке худо-бедно три года без малого. И то дело. Подзаработал немного, а под конец – обогатился даже. Только чуть не помер при этом. Но хранил Всевышний – по случаю. Тут вот в чём дело.

Канторка, где я афёрил, была совсем маленькой комнатухой – восемь на семь по улице Исофокла. Первый этаж, вход прямо с улицы – под неброской вывеской; окошко одно пыльное, бамбуковые жалюзи, стойка перед задником; в нём – стул, секретер, с крышкой надвижной, на нём – дырокол, бутылка та самая – маленькой стелой, папки, факс-телефон, кассовая наборная печать да книжка какая-нибудь или ксерокс научной статьи. Назади, на стене – карта Средиземноморья, лист с расписанием рейсов и – кусок той фрески Никосийской, приделанный гвоздём к стене, в толстой рамке.

Торговал я также билетами и на морские круизы, но больше – на паромы местного назначения. Чаще всего покупали оптом – два дяляги: палубные места на Хайфу за ночь – и вечером обратно. Закупались они редко – вперёд на две-три недели; звонили прежде – чтоб я поспел, в свою очередь, вызволить резервацию в мореходстве – и присылали днём позже курьера, которому я выдавал пачку выписанных безымянных – самых дешёвых, палубных билетов. Так что времени у меня было навалом, и торчал я у себя совершенно один – никто никогда ко мне не совался.

Летом на улицу днём старался не выходить: жара стояла такая, что прогулка по риску сравнима была с выходом в открытый космос. В жару жизнь в городе начиналась чуть свет – вообще затемно: ещё на ощупь открывались жалюзи мастерских, у фруктовых лавок с сонной руганью под нос происходила расстановка товара – стукали на прилавок ящики, расчехляли весы и кассы, танцевально поскрипывали тачки зеленчиков, роскошно везших на мягком, шинном ходу вороха овощей в росе обильной, как в брильянтах.

(Часам к одиннадцати всё подчистую вымирало, будто в комендантский час. К тому ж иногда в полдень мне становилось... странно, если не сказать страшно: бывало, по делу позарез надо наружу выйти, но не могу – знобко мне, жутко аж до жмурок. Как в месте разбойничьем ночью. Хотя и свету полно, а жуть такая – прямо дышалку спирает: всё отчего-то мне мерещилось чудовище полуденное по переулкам где-то – бродит прозрачно, тяжело, огромно...)

Людишки шевелиться начинали только на закате – и то лишь на последней его фазе, когда тень от углового дома доползала до самого конца улицы – вроде как конь длинной шеей до корма в стойле, – и воздух становился совсем розовым.

Дом мой был выложен из толстенного кубика – известняка, пористого, с рассыпью ракушек на срезе, и кое-где сине-перламутровых, как куриные желудочки, «чёртовых пальцев», – так что внутри было прохладно. Спал я здесь же – в заднике конторки, где был санузел и пазуха вроде чулана с тюфяком и оконцем в две раскрытые ладони; в окошке этом жил по утрам – на солнце нежной зеленью в прожилках – шершавый лист инжира, росшего в заднем дворике: муравей иногда приходил топиться от жажды – в капельке млечного сока на полюсе плода, день за днём в полный рост наливавшегoся от самого черенка, будто шар воздушный от горелки.

Обедал я обычно наверху, во втором этаже – у соседки-гадалки. Болгарская цыганка, толстая добрая Надя держала у себя дома гадательное заведение – по хиромантии и Таро. Приходили к ней регулярно одни и те же клиенты. (Однажды глядя привычно на куцую их вереницу, каждый вечер переминавшуюся у винтовой лестницы, ведшей к Наде, я подумал, что нужда в услугах гадалки – что-то вроде страсти по частному психоаналитику, вроде дыромольяства, только гаданье – более честная все-таки деятельность, чем лженаука – психоаналитика.)

Обвыкшись друг с другом, мы с Надей стали добрыми соседями. Кормила она меня за грош – овощной южной вкуснятиной. Сама заквашивала брынзу (крошево сычуга, растираемое в ладони, драгоценно сыпалось в молочный жбан, как намытое золото в множительную реторту). Драхмы-лепты мои брала нехота – говорила, что я ей сполна отплачиваю своим обществoм (на деле – пустой и ленивой болтовнёй в ответ на расспросы про заморские страны советской жизни). Только вот мучила меня Надя немного сводничеством, которое, увы, было у неё в крови. Покормит-покормит – и, как следующее блюдо, достает нежно альбом с фотками. Я и смотреть уж потом боялся – такие там все крокодилы были: бровастые, с веерами-цветочками, шарфиками, глазищами...

А Надя всё мне альбомчик подсовывает, новеньких там расхваливает. А пока нахваливает – варит кофе, раскладывает пенку ложечкой, разливает и приговаривает с умыслом: вот, мол, тебе кофе мой – ночи чернее, ада жгуче, слаще любви...

Однако с любовью мне на Кипре долго что-то не фартило. Ходил по кофейням, по пляжам, как призрак в предвкушении воплощения, – ни одной так и не нашлось, чтоб сумела меня отвлечь. Всё жена мне где-то рядом прозрачно мерещилась. Да я уж и забыл, что она мне женою когда-то была – так... образ некий.

Правда, был всё-таки случай. Неподальёку от конторки моей девка одна на углу стояла. Мало было что-то у нее клиентов, несмотря что ко всем прохожим подряд, кроме баб, липла. Да всё какие-то старенькие ей попадались. Уйдет с таким пузачом – брюхо спереди, чётки сзади, – а минут через двадцать снова на углу топчется.

Ну, я как-то днём, в самый полдень, когда улицы солнцем вымело, – дай, думаю, схожу к ней – узнаю, как живёт, или еще там что-то.

Страх-робость поборол – и двинул. Обрадовалась, однако. Повела к себе. В подъезде кошка с крысой цапались: стоят друг пред другом, фырчат – но ни одна ни с места. Кругом чад по лестнице вьётся: мочой и баклажанами жареными страшно воняет. Лестница – крутая и тёмная – вроде как в башню ведет.

И чёрт его знает, что там наверху. Дорогой мне и расхотелось.

Однако пришли. А дома у неё, в чердаке – старушка-мать и сестра горбатенькая – обе жалкие такие: в личиках кротость придурковатая и радость, что клиент

имеется. Меня увидели – чаю налили и сами куда-то провалились. Сел я к столику низенькому чаю попить, в окошко на крыши глянуть – а она хлоп – на колени, груди вынула – и ко мне между ног лезет...

Я говорю – подожди: за чай тоже заплачу. Да куда там.

Стянула до колен шорты, я чай себе вниз пролил – чуть не прибил дуру. Однако сдержался. А она молодец оказалась – ласковая. Тем временем разволновался я почему-то свех меры, жена опять примерещилась, замутило меня, завертело... – да как блевану с горя чаем. Оглошал в общем. И ее забрызгал.

Да уж, конфуз – всем конфузам конфуз.

Ну, крик подняла. Мамаша с сестричкой снизу влетели. На ступах. Или – на птице Рух, как мне потом показалось. Кругом крыльями молотят, подпрыгивают, волосы рвут, к моим тянутся. Сестричка ейная на горбу рубаху разодрала и тычет – хочет что-то мне показать. Смотрю – а там на горбу татуировка искусная, цвета невиданные: поразительно, прямо-таки загляденье. В ступор вошел, забыл про всё, пока разглядывал: по горбу холмы лиловые идут, сады по ним в цвету, а между – под башней в чаще, озерцо лазурное: на дне его что-то странное, очень знакомое – девушка с распущенными до ягодич волосами сверху юношу любит...

Я обомлел, а горбуня обратно от меня воротится – и куда-то наверх тычет и пальцами трёт.

Я в панике. Ругань теперь такая поднялась, что лучше б сразу съели. Мать к окну подлетела – караул орёт, а моя красавица ползает по полу, царапает ноги мне голые и голосит, как по покойнику. Хорошо, догадался – дал плату, кинул об пол пачечку: затухли сразу.

Когда спулся – на лестнице мертвые крыса и кошка лежали: плюнул.

Больше к ней не ходил, не думал даже.

Да и она потом с угла пропала куда-то.

Основным же делом моих афёр была, конечно, отнюдь не продажа морских билетов. Раз в месяц, или в пол-, приходил мне факс с номерами счетов, сумм и атрибутами банков. Я тут же пропускал входные данные по своим разработанным схемам, коротко прикидывал результативность и рисковые заклады, находил выход – или его не находил: тогда посылался обратный факс с просьбой пропустить два-три таких-то начальных варианта по таким-то цепочкам мадагаскарских – или ещё каких оффшорных трансакций, получал вскоре подтверждение, – и тогда звонил в местный банк: чтоб предварить клерку ожидание такого-то перевода и попросить его подготовить к обналочке такую-то кучу денег.

Затем шёл на соседнюю – Миносскую, кстати, – улочку, покупал в аэродромной конторке, вроде моей, билет на гидрокурузник, летающий по местным линиям, – на Порос, Гидру, Поклос, Траксос, на Каламат, или еще какой чудный остров Эгеи; перед самым отлётом шел в банк, набивал деньгами рюкзак – и бежал к причалу на посадку.

Далее – через час-другой невероятной болтанки, трясушки, испугавшейся, правда, сполна ярчайшей лентой бреющего полета над морем: над эскадрильями дельфинов, куролесившими в гоньбе за хамсовыми косяками, которые, лавируя массой, мерцали стремительным серебряным телом гигантского пловца, распластанного в глуби, – полёта, иногда фланирующего роскошно по кайме береговой линии, однако с неизменным, время от времени пополняемым гигиеническим пакетом у подбородка... И вот я выпрыгивал со спускного трапа этого «гуся-лебедя», неуклюже, вразвалку покачивая крылами, подруливавшего к дебаркадеру, сердито расталкивая, цепляя, толкаясь, с пилотным матерком в открытые фортки кабины, меж группками нелегально пришвартованных фелук, баркасов, шаланд, – и мчался в отделение местного банка – спуститься скорей вместе с охранником

в хранилище и вывалить содержимое рюкзака на вычисленный заранее счёт: с тем чтобы очередная порция Денег теперь уже необратимо канула по корректно законспирированному каналу.

В общем и целом, деятельность моя как курьера-аналитика мне самому странно напоминала несколько шулерскую – и вполне уничтожительно-комическую – работу так называемого «демона Максвелла» из знаменитого термодинамического парадокса, якобы опровергающего закон непреклонного увеличения энтропии неравновесной системы: гипотетического зверька, умно и ловко распределяющего быстрые и медленные молекулы газа по разным частям испытываемой системы...

Ночевал я обычно на пляже – чтоб зря не светиться по гостиничным грассбухам – и утром летел обратно. Со своим, хотя и мизерным процентом от отконвоированной суммы. Со своей зарплатой.

Личные деньги я держал частями в двойной крышке секретера и в тюфяке – с большим или меньшим равнодушием ощупывая уже туго наполняемую вместимость своих хранилищ...

Так продолжалось два года, став привычным, машинальным делом. Я давно уже перестал трястись от злости при виде денег – от жгучего желания все их тут же пожечь: от ненависти к идее всеобщего эквивалента вообще. (Поначалу это действительно было для меня проблемой: в первые три ходки я ни копейки не удержал в пользу своего процента – и далее не собирался, неблагоразумно не учитывая – на что мне придётся жить, – но на четвёртый раз в факсе, помимо столбика кодированных цифр, объявилась приписка: «Во избежание приказываю удерживать четырежды». Тогда-то меня эти суки и подписали на поруку: «Во избежание...»)

Кстати, забыл сказать, в первую же зиму – дождливым промозглым январским вечером – выяснилось, почему я так привязался к той своей бутылке.

Январь тогда на Средиземноморье выдался шибко прохладный. Поговаривали, что виной тому война в Заливе. Объясняли, что от «Бури в пустыне» – поднялось облако дымно-пылевое и, двигаясь к Синаю, заэкранировало собой ультрафиолетовую часть солнечного спектра. А стало быть, и пустыня чересчур остыла в тени и никак не могла нагреться. С конца декабря на остров регулярно рушились дожди. Раз даже снег выпал – это у нас-то! – на побережье. Местные, которые снег видели только по телику, думали – всё, как-то – опал саван.

Вот и в тот вечер ливень – стена за стеной – рушился порывами. Гром, молния, сигнализация у автомашин детонирует – вой стоит, как при Помпее, раз даже сирена противовоздушной обороны сработала от удара: долбанула молния в бензозаправку, в кессонные резервуары саданула – громоотводов здесь из экономии не держат, так как даже простые дожди тут редки, как метеорологическое ископаемое, не то – грозы. А воды-то по щиколотку – бьётся ток ее по улицам, как Терек бешеный, в дверные щели хлещет. В общем, совсем неудобно.

Потому я буржуйку себе смастерил накануне – обогреться. С утра зашёл к жестянщику, на листке набросал ему раскрой: он мне в полчаса всё разрезал, залудил: денег брать не хотел – говорит, не по-соседски это. Трубу я сварганил из гофры от вытяжки кухонной и вывел прямиком в фортку. Топил ломаными ящиками из-под яффских апельсинов, которые покупал у Христоса, хозяина фруктовой лавки за углом.

Так вот, сижу я тогда у печурки – дождина ливня всю хлещет-воет, пламя языками пляшет, танцует – будто волосы рыжие – Горгоны там, Стюарт Марии, или... жены, – вдруг я подумал.

И вот, взгрустнув, взбрело мне выпить малость, чтоб спать покрепче завалиться. Только мало что-то «Курвуазье» у меня оставалось. Лизнул я на донышке – вот весь и вышел. А хочется ещё – для пущего согрева. Тогда-то я и вспомнил

про свою бутылку. Про «Чёрного доктора». Решил почать ее наконец. Сходил за штопором. Уселся.

Только ввинтил – смотрю, а тут такое! Что-то привиделось мне в стекле на просвет. А надо сказать, что «Чёрный доктор» напиток совсем, как чернила, непрозрачный. Через него и солнца-то не увидишь. А тут мелькнуло на огне что-то. Ну, поднёс я бутылку к самому пламени, пригляделся – чу, а там, на донышке – человек.

Я чуть не рехнулся. Бутылку выронил. Не-ет, думаю, мерещится. Мышка это. Занырнула в бутылку при розливе. Или её, утопленницу, вместе с вином из жбана влили. Нырнула, попила сладость пьяную, захлебнулась – вот и попала, бедняга. Поднимаю я бутылку – а там точно: человечек маленький, вроде светляка-зародыша плавает, ручками двигает, зовёт, сказать что-то хочет – и лицо у него, хотя и страшненькое, но – умное, страдающее даже...

Ну, и заорал я тогда – как же не заорать-то, когда страсть такая вот примерещится. И бух – в обморок.

Утром просыпаюсь – в чужой постели. Оказывается, меня Надя кой-как к себе перетащила – крик услышала: думала, зарезали меня или подожгли. Примчалась – смотрит: лежу я, не дышу, и пена у меня вокруг рта, вроде как брился недавно. Ну, думает, сосед ей попался припадочный. Однако пожалела – побрызгала, я замычал, и – к себе, как медсестра раненого, на горбу – еле-еле, говорит, но втащила.

Только я не верю, что она одна донесла меня.

И – донесла ли?

Я после этого случая на пару недель прекратил свои научные занятия. Решил – такие кошмары объяли меня от переутомленья. Отдыхал я со вкусом – лёжа в постели. Два раза факс начинал шуршать – выползали заказы. Жутковатое это дело – факс, между прочим. Лежишь в тишине глубокой, покой свой лелеешь. А тут вдруг в комнате, без предупрежденья – шур-шур-шур, шур-шур, тр-р-р-р, тр-р-р – будто кто-то лапкой когтистой невидимой выцарапывает грамотку из щели...

Ну, я потом отписал, что не мог вовремя прореагировать – болел: отнеслись с пониманием. Кстати, пока болел – война в Заливе блицкригом закончилась, скважины потушили: дожди прекратились, дело к весне пошло – в жилу погода мне влилась с выздоровленьем, так что к концу февраля я как бы оказался на третьем небе от беспричинного счастья... А бутылку ту с тех пор как талисман стал беречь, пить её и не думал даже.

(Между прочим, отмечу здесь факультативно: пока я тогда отлёживался, пришла мне одна интересная штука в голову. Сумасшедшая, конечно, но не менее сумасшедшая, чем самый её предмет размышления – история. А история и в самом деле – штука вполне тайная, поскольку она не выражает время, как обычно думается, – а уничтожает. Вздумалось мне тогда размыслить, что ж это такое происходит в мире – откуда все эти передраги: на Родине моей, хотя и промежуточной, да и вообще – всюду в мире. Откуда вот, например, эта война? Ну, ведь известно, что чем фантастичней выдумка, чем она менее имеет под собой известных оснований, тем она ближе к истине. И вот что я по поводу новейшей истории вкратце надумал. Вывел я, что причиной всему такая inferнальная штука: нефть. Ею в аду топят. Хотя настоящий ад – это холод. Но чтоб лёд получить – надо сначала растопить пустоту. Например, чтоб космическую холодрыгу образовать, Б-гу надо было Большой Взрыв устроить – без огня полымя – выходит, что никак не образуется, так сказать; чтоб температуру понизить, надо непременно энтропию раскочегарить, это – по закону...

Тут как раз Надя-гадалка пришла ко мне в гости – соседа больного проведать, бульончик там, пирожки принесла, спасибо. А я – бульон выхлебал да весь бред этот под пирожки с компотом и выложил.

А она-то рада. Сидела – заслушалась, хотя и не скумекала, поди, ничегошеньки. Очень она мировыми новостями интересовалась. Раньше всё расспрашивала у меня про Перестройку и глупости всякие, вроде – правда ли, что Горби – агент.

А мне-то из собеседников хоть кого подавай – лишь бы не глухого. Вот я и спохватился. А как разошёлся – понесла пристяжная, да коренника завалила, дура...

Вот и говорю я Наде: нефть – вещь inferнальная потому, что уж слишком мощно – тeneвым и прямым образом – она влияет на человечество. Потому как она – «философский камень», типа асфальт, озокерит, воск горный: сама мусор, да из себя, мусора, путём перегонки, алхимической, между прочим, золото образует. Зороастрийцы-огнепоклонники вышли из нефтяных колодцев. Англичане персов против России завсегда науськивали из-за керосина: за то и объявили джихад Грибоеду. Гитлер слил всю партию под Сталинградом – в битве за бакинскую нефть. Говорят, Волга тогда пылала страшно: пролилась кровушка земная из хранилищ, с человечей смешалась, сама в жилы горяче вошла – и оранжевые мастодонты, рванув из палеозоя, замаршировали по небу над рекой...

А начал я свои измышления от причины жизнетрясений на родине. Известно ведь, от чего стряслись: <...>.

Здесь Надя ахнула, перекрестилась и компот мне поскорей еще подлила. А я хлебнул, фигу разжевал – и дальше, только меня и видели, т. е. слышали:

– <...>. Они же, чуя удавку, двинули на попятную, но без боя решили не сдаваться, затаившись. И бой этот произошел: в Заливе. Это не С-Ад-Дам двинул войска на лакомый, вражеский Кувейт, где золото – чуть только палку ткнёшь – в морду хлещет. Это – они ва-банк двинули единственный свой резерв. И проиграли. Бесповоротно.

Тут Надя не выдержала да как ляпнет в сердцах:

– Ой, – говорит, – а я-то, грешная, в лампадку вместо елея керосин наливала, вот ведь дура-то, прости, Господи... Чтой-то теперь будет с того, милый, а? Как думаешь?... Такая вот странная мыслишка мне вперилась в голову при отлёжке.)

Да-а, со временем такой – не сказать благостной, однако совершенно необходимой мне потусторонней жизни – глаз у меня замылился. Потерял я бдительность, инстинкт самосохранения притупился. Привычка вообще – гиблое дело: смерть как бы. И только к смерти, как к любви, нельзя привыкнуть.

Хорошо, однажды случай один приключился. Без особых последствий – кроме нервотрёпки, но он вывел меня по ветру настороженности: ухо я после стал держать остро. Подспудно, конечно, бенц я этот всё же предвидел – поэтому испугался, но не смертельно. Потому как твёрдо знал, что в таком деле не оставляют в живых не только свидетелей, но и исполнителей...

В позапрошлом июне пришлось мне переставить бутылку с секретера на подоконник. И вот почему.

Всю зиму факсы не приходили. Я не стал волноваться, а даже обрадовался: суеты стало явно меньше – а у меня как раз пошла работа: задачка одна, поставленная мне шефом еще до аспирантуры, вдруг разрослась решением чуть не в монографию. (Надо сказать, тогда в проблеме по вычислению центрального заряда алгебры Вирассоро двухмерной конформной теории поля явный прорыв намечался.)

Так что я совсем дома засел – с утра колол в миску фунт синеватого кускового сахара и глушил чай вприкуску, – как по маслу, набело оформляя по-английски параграфы: чтоб сослать в «Physics Reports».

Стал больше гулять по вечерам – для отдыха: купил себе спиннинг, оснастил его как самодур простейший, только ещё бубенчик поклёвный приладил – и на закатах ходил на волнорезы: почитать, стишок нацарапать, одну-другую кефальку подсесть – ежели, конечно, на мидию клюнет. В общем, лафа сплошная, закадычная даже.

Но однажды возвращаюсь я, стало быть, с вечерней зорьки – захожу в свою конуру, ставлю удочку в угол. Только – ша! Кто-то был у меня, был – на секретере, сволочь, шарил: бутылка моя подвинута (чёткий полумесяц чистого от пыли пятнышка), и у телефона трубка шнуром наоборот перевернута...

Э-э, думаю, так не годится. Шасть рукою под крышку – деньги на месте. И в тюфяке – тоже, оказывается, на месте, хотя и шарили – матрас не то чтобы смят – лежит как-то наискось...

Походил я, подумал, трубку поправил... Главное, думаю, бутылку переставить, а то сопрут ещё – алкашам на поживу...

И переставил – на подоконник, за жалюзи в уголок задвинул – так чтоб с улицы её только под острым углом разглядеть было возможно.

И успокоился. Только зря – как в августе оказалось.

Тогда, в августе, этот бенц, официальный-то, и вышел. Но тут виноват оказался я сам – счастливчик однако чрезвычайный, что обернулось всё так прилично.

А вышло всё через мою растрату.

Растратчиком я оказался. Как? А вот так – решил дело одно кровью из носу про-вернуть – на деньги чужие. Несмотря ни на что – хоть режьте меня, полосуйте, а приспичило мне сварганить дело то срочно.

Докладывал я, что под конец, на третьем году своего резиденства, стал я поне-многу рыбачить на волнорезах. После рыбалки обычно шёл в кофейню на набереж-ной – кофе напиться.

А там дед один симпатичный завсегдаем приключился. Всё время один вос-седал печально – пока с ним я не познакомился. Красивый был дед, я его сразу приметил. Аккуратненькие усики, нос грандиозный, очки круглые, пиджак мятый, затёрты местами до блеска, но видно, что – дорогушей ткани. Глаза у него были необыкновенного выражения... И вот особенное: кашне он пёстрое носил всё время, в самое лето даже.

Как-то раз подсел он ко мне – внезапно, не ожидал я – по такому гордому его виду. Я, как полагается, спохватился – по чашечке кофе, коньяку по напёрстку за-казал – поставил...

Разговорились. Рассказывал он немного, но метко: долго думал прежде – на море смотрел, будто там являлись ему картины. Английский у него к тому же – просто заслушаться. Я поинтересовался: откуда навек?

– Отец мой, – отвечает, – в Лондоне до войны лавку трикотажную открыл и лет пять держал, а я у него – приказчиком, с братьями на пересменках.

Ну, думаю, мне такого знакомца послал сам Бог, соскучился я по разговорам. Так и зачастил я в кофейню эту, даже забросил почти рыбалку. Приду, бывало, сколупну, распотрошу ножичком мидию, наживлю, закину донку, бубенец на ус нацеплю, посмотрю на закат и как по нему яхты из бухты ходят, в свете тонут – и иду поскорей кофе глотать, смотреть, как догорает – и слушать моего обожаемого Йоргаса.

Вообще, это очень здорово, когда у собеседников – один на двоих – беззвуч-ный предмет интереса: закат над морем, скажем. Тогда паузы в беседе – никогда не бывают пустыми: молчать можно сколько угодно, скучно не будет – свету полно. А свет ведь – лучше смысла.

И вот, рассказывает мне однажды Йоргас такую вот катавасию.

В октябре сорок четвёртого подлодка немецкая здесь, у Ларнаки, в бухте одной укромной всплыла и два дня стояла: может, чинили в ней что-то фашисты, или так просто – отдыхали. Решил это Йоргас проверить подробней. Залёг с биноклем в скалах, смотрит: а фрицы на баркас из лодки перегружают какие-то ящики. А ящики-то – тяжёлые, приметные к тому же – оловянной фольги лохмотья из-под крышек выбиваются: они их лебёдкой из люка в рубке один за другим тягают – и счёта им нету. Штиль на море стоял, и по ватерлинии хорошо было видно, как баркас набирает осадку.

Ну, Йоргас посмотрел-поглядел, и тут его осенило. Слух по городу ходил, что месяц назад в Салониках фашисты еврейскую общину погромили. Людей в грузовики загнали, а ценности в ящики из-под чая, оловянной шелухой выстланные, запаковали. Богатая была очень община в Салониках, зажиточная – более сорока ящиков одного золота да брильянтов вышло. Ну, людей, как водится, куда-то подевали, а сами ящики к морю свезли, в штабеля на причале сложили. К утру они все исчезли, будто чудовище морское языком слизнуло: никто, даже начпорта, не знает – куда подевались, потому как ни одно судно не ушло из бухты и на шварт ни одно не подходило...

Смекнул так Йоргас – и к ночи добыл у партизан старую английскую – на механическом приводе, специальную диверсионную торпеду: ещё с первой немецкой войны трофей – партизаны из неё тротил для взрывчатки хотели наковырять – или вытопить, в крайнем случае. Сами бойцы на такой шаг решиться струхнули – и Йоргаса отговаривали, но не тут-то было: дед мой оказался героем.

А торпеда – исправной.

Полбрюха лодке разворотила. Йоргас сначала, как смерклось, привёл завод в действие: там пружина тугая, как ус китовый, насажена на маховик, и её закрутить надо – вроде как на будильнике.

А то не хватит разгону.

Вот и крутил изо всех сил, боясь, что засекут. И засекали – прожектором нашарили: когда уже в воду спустил охапкой и по курсу нацелил на поражение.

Ну, тут такое началось. Стрельба – почище метели. Хотели подбить торпеду. Штиль вспикел от очередей – хоть яйцо, чтоб вкрутую, бросай. Разок попали даже: а ей, машинке чёртовой, хоть бы хны – прёт напролом, не хуже гончей.

Баркас тут же, как кипёж поднялся, – снялся с якоря и затарахтел, утекая. А фрицы ещё для проформы попалили туда-сюда – по воде, по скалам – и попрыгали, кто успел, в море. А успели немногие: как долбануло – лодка на дно канула с креном и воем – от урагана в пробоине, хлобыстнула хвостовым стабилизатором по воде – и как не было; щепки только всплыли и кое-какой мусор закружился в воронках.

А тех, что на берег вскарабкались, – партизаны тут же перещёлкали: собрали всех в кучку и порешили разом.

Такой вот рассказ дед мне поведал.

А я и задумался. Крепко.

Вдруг слышу – бубенец мой звенит, аж заходится. Я бегом на причал – удило ходуном ходит, вот-вот с упора соскочит... Подсекаю, подматываю – чую: тяжело идёт, не вываживается... В общем, потратился я порядком, пришлось в воду сигать – подсачиком-то я так и не обзавёлся... Однако, чудный пеленгас попался (мы его потом с дедом на углях в моей буржуйке оприходовали).

Возвращаюсь в кофейню с уловом. Вешаю рыбину на оконный крючок. Посетители кивают и цокают.

Закат тем временем догорел, только рыжими перистыми лоскутами ещё кое-где остался – да и те, нежные слишком, растаяли в минуты. У оконной рамы занялось тихое свечение: на блёстках крупной чешуи, с лишайчиками налипшего песка,

сползает закатный отсвет. Вдруг тяжёлый эллипсоид рыбины, благодаря восхищённой рассеянности взгляда, снимается с кукана и плывёт в потемневших глазах головокружительной линией женских бёдер...

Чайки постепенно, опадающими кругами оседают на воду – и, смотрю, булочник сонный в пекарню на смену ночную поплёлся...

И говорю вдруг Йоргасу:

– Это дело срочно поправить надо. Не потому, что там что-то по вашей личной вине недоделано. Вам тогда не с руки доделывать было – опасно. А сейчас – ничего, справиться можно.

Известно ли вам, продолжаю, что в лагерях вроде Треблинки, Майданека – фрицы женщинам волосы обрезали и утиль этот набивочным фабрикам посылали. Там из них матрасы варганили. А те шли в основном на подводный флот, как привилегия, вроде усиленного пайка – чтоб ещё мягче матросы под водой дрыхли. Так вот, говорю, надо здесь справедливость восстановить, хоть частично – в рамках одной лодки хотя бы. Я, говорю, как представляю, что там, на дне, фашисты на волосах наших женщин лежат – в глазах темнеет. Важно ведь это очень – святое от будничного отделить...

А Йоргас смотрит вприщур – не на меня, на море – и вроде как капелька у него в уголке глаза мелькнула...

На том и порешили. Нарисовал мне Йоргас подробно, как добраться до этой заветной бухточки: тропинки к самой воде там нету – скалы кругом, и с них почти нет прохода, разве что для альпинистского навыка.

Следующей ночью, перед рассветом, съездил я туда на такси на разведку, вроде как рыбу половить, – и удочки для отводу взял.

Как светать занялось – страховку к валуну приладил, закрепил: без труда особого на берег стравился. Целый день провёл я в этой бухте – чудеснейшим местом она мне показалась: загорал, купался, стишок один даже нацарапал. Пришел к выводу – отменно пустынное место: за весь день никого не встретил, и обзор с моря – очень укромный: скалы шатром в обнимку нависают, два домика обрушенных всего прилепились в запустении ландшафта на верхотуре, а у устья камень подводный стоит торчком высоченным.

Через день, увы, пришлось лететь мне внезапно по делам на Гидру – отвлёкся от дела, чертыхаясь. Что-то они тогда зачестили с переводами – уже пять раз сряду отлучался я за последний только месяц – а летать на гидроэтажерке, сами понимаете, – то ещё удовольствие. (Между прочим, отмечу в скобках один такой забавный перелёт, чтоб ясно стало, что не только мёд я пил в своей курьерской деятельности. Попали мы как-то на подлёте к Траксосу в суровые объятия грозового фронта. Мы – это человек десять пассажиров, плюс коза, которую один дедок перевозил, – сморчок чахлый в кепке, с подвижной нижней челюстью, что дико ходит-шамкает под щеками, будто культа под пиджаком... Ну, понятно, та еще обстановочка: видимость в низкой облачности – ноль, темь сверкающая в иллюминаторах полыхает, дверцу, на простую щеколду запертую, долбит, как будто неприятеля снаружи рвётся, – а пилоты – в штормку, распахнутую в кабину, видно – положили оба ноги на штурвал, что-то из фляжки по очереди сосут и переговариваются, насчёт – сядем, не сядем, и хватит ли топлива, чтоб возвратиться.

Но самым страшным в этой истории была коза. Дедок её, чтоб зря не трепыхалась, распял на поводках меж лавок. Притом все уже по третьему гигиеническому пакету наполняют, рыгают и стонут тоскливо, как в застенке – желудочная вонь в салоне горькая, страшная стоит, а коза – странное дело – ни ме-ме, ни гу-гу, – только ссыт беспрестанно от страха. Все блют взахлёб, самолет от объявшей его трясогузки ходуном бродит, молнии долбят так, что башка трещит – не то что только уши, – а коза – поминутно – фр-р-р-р, фр-р-р-р: отливает обильным пото-

пом, уж почти по щиколотку всем достало. А я смотрю на всё это, сам блюю потихоньку и думаю: очень странно – откуда в козе такие запасы?! И это меня, как ни странно, мало-помалу спасает – в таких страшных делах главное – за что-нибудь, за самую глупость зацепиться, только чтоб с ума не сойти... Тем временем, смотрю – мы уже третий раз на посадку заходим – да всё без толку: нет визуального ориентира, а диспетчерский пеленг из-за помех не ловится. Слышу – пилоты переговариваются: со стороны моря в бухту не зайти – потому что шторм, на волнении сковырнёмся-опрокинемся, а со стороны посёлка садиться на ощупь – чревато: горы, вышка, домишки и так далее. Решили ещё раз попробовать, может, мелькнёт что. Дедок, между тем, молиться вздумал – как взвоят, заблеет псалмом: мочи нет слушать. И козу свою, ссыкуню, рукою дрожащей гладит. Вдруг слышу – пассажиры орут: – Крест! Крест! – Ну, думаю, спятили – знамение им мерещится. Однако, глянул сам в иллюминатор – а там, натурально – рукой подать, под крылом самым, – крест, увитый клоками тучи, как маяк в тумане, сверкает: торжественно – и жутко, потому как – впритык. Я ещё сообразить не спохватился – вдруг слышу: тр-р-р-рр, тр-р-р-рр, тр-р-р-рр. Оглянулся – а то коза на крупное перешла: гадит как заведённая – горошек из под куцего хвоста залпами, как уголь из забоя, пускает – а дерьмо таракшит и в луже под ней булькает. Ну, думаю, теперь точно каюк. Однако ничуть – сели. Пилоты отлично местность знали: как крест сверкнул, они тотчас смекнули и на четвертый раз плюхнулись вдоль по склону горы в бухту прямым попаданием – на дыбы – осадили у самого причала. А коза, между прочим, концы всё-таки отдала: единственная потеря с того приключенья вышла. Как стянул ее дед по лесенке на дебаркадер, тут же на бок – плюх, завалилась, подёргалась четырьмя, пойкала немного – и кранты ей завинтились. И задумался я тогда: если люди страх такой пережить способны, а животина бессловесная, та – с копыт долой: то что же такое люди пред страхом Божиим – герои или чурбаны?!

Отстрелявшись в тот раз, я вернулся и тут же купил водолазную снарягу.

Для начала потренировался на мелководье – под присмотром Йоргаса. Смотрю – вроде как получается: глубины не боюсь, спазм от страха на горло не наступает... Ещё через неделю Йоргас взял у рыбака-приятеля моторку, и свезли мы ночью костюм и баллоны в бухту – и в камнях незаметно сховали.

На следующий день на рассвете облачился я по полной форме – баллон запасной взял, альтиметр, часы, кирку-захват и сетку для находок.

Для начала нырнул и тут же в камнях, чтоб обвыкнуться, пошарил. Красота-а, надо сказать, предстала мне неопишная: рыбки-медузы плавают, висают, шевелятся, скат-кардинал промахал капюшоном, нежные водоросли русалочьими волосами танцуют – кругом мир совсем потусторонний... Ещё мне почудилось, что мордочка ската ужасно похожа на рожицу нетопыря, без ушей только. В общем, так я загляделся, что и забыл – зачем нырять. Но вспомнил.

Плыву дальше – дно под откос в темень уходит: холодает аж до дрожи, и вокруг смеркается с каждым взмахом ласты. Я включил фонарь, смотрю на альтиметр – уже тридцать метров, а опыта декомпрессии у меня никакого... Однако, продулся. Как помнил, по писаному – в три притопа. Но вот уже лодка – лежит бочком на косогоре: камень-утёс её здоровенный от дальнейшего упаданья в районе хвостового отсека подпирает. На корпусе – кресты, на рыле – свастика – всё как полагается; в пробоине – рваной, лепестковой – рыбы косячком стоят, как жемчуг в подвеске, шарахнулись, смели строй, но скоро снова выстроились шеренгами. Смотрю – торчит у рубки лебёдка погнутая ...

Заплываю вовнутрь с мостика. Слежу по сторонам, чтоб шланг ни за что не сорвать. Опускаюсь дальше, шарю отсеками к кубрику – жутко: подлодка эта – чистый Голландец Летучий: черепа врассыпную, рёбра – на ощупь, как пенопласт, крошатся. В кубрике – посуда бросовая, консервные банки, вороха шоколадной

фольги, там и сям висят фигуры шахматные; кости уложены на койках в одежде, понавалены матрацы... Вдруг, когда дверцу потянул на себя, прижался мне теченьем к маске листок... Гляжу – фотокарточка: краля белобрысая в пеньюаре, ножка на ножку – откинувшись, тянет папироску в длиннющем мундштуке...

Вспарываю один – так и есть. Обвязываю проволокой штуки четыре – и тут вдруг пропикало: смотрю – давление в баллонах упало; а почему – неизвестно.

Я – наружу. Всплываю медленно-нежно, будто мину с растяжки вытягиваю. Но уже задыхаюсь: дышу часто, как после забега, пузыри кругом кипят, ничего не видеть – а толку чуть: будто пустотой дышу, что ли.

Спасибо, Йоргас меня наверху на лодке встретил – помог откачаться...

Три дня я нырял за матрасами как угорелый: себя забыл, не то – остальное прошлое.

Я доставал их, как сокровища, больше – как самую бесценность – жизнь. Всё на лодке обшарил, все достал.

В день последний Йоргас добыл где-то фелуку на дизеле: привёл в бухту. На закате выпотрошили мы все матрасы в громадный жестяной контейнер из-под кофе, все – до единого волоска.

Как радужный свет сыпались волосы, вспыхивали от заходящего сильного солнца, унося его в глубокую темень.

Контейнер мы свезли в город к причалу и поместили на грузовик. Ночевал я в кабине – сторожил.

Наутро прибыли мы на почту и оформили посылку – недалеко, миль за триста к юго-востоку – в Иерусалим, в городской раввинат. Я быстро черкнул сопроводительное письмо без подписи, где разъяснил – что к чему: мол, надо, чтоб груз этот был похоронен там, где следует.

Отправили, уплатили спецдоставку – и вернулись в нашу кофейню: помянуть.

Заказали – как полагается. Приняли. Вдруг у Йоргаса – бац: глаза на мокром месте. Я ему: не плачьте, пожалуйста, всё в порядке будет: они теперь свет увидят...

А он – ни в какую: я, говорит, сколько живу – всё понять не могу, что это было.

Хозяин кофейни к разговору нашему прислушался, подходит: вы, парни, чего здесь такое затеваете?

Ну, мы его усадили, налили...

Дальше – час сидим чин-чинарём, два сидим...

Только через некоторое время разнервничался я что-то. Вскочил, бегаю меж столиков, кипешусь почём зря...

Кричу Йоргасу:

– Не могу я так больше, что хотите со мной творите – не могу. Надо, говорю, взорвать её к такой-то фене, чтоб пыли от неё не осталось.

Старик молчит: мол, как знаешь...

И тут кофейщик мне:

– Что, сынок, динамиту надобно? Так что ты так нервничаешь? Сядь – выпей спокойно, а я тебе расскажу по порядку...

Ну, слово за слово, выясняется: пластид есть, только дорого. Хотя и скидка большая – со стороны кофейщика за посредство вообще нуль. И ничего тут не поделаешь – такова природа этого матерьяла.

Денег моих личных, остававшихся, точно бы не хватило. Но тут как раз перевод на Порос подоспел. Его-то я и оприходовал насчёт пластида. Решил – потом просто не буду в счёт зарплаты проценты вычитать, задарма работать стану, рабом на ихние галеры пойду – только бы подорвать эту лодку, чтоб ни атома от неё не осталось.

К тому же привык я, что без контроля внешнего живу – кум королю, что называется: миллионы через меня проходят – и хоть бы хны: доверяют, значит. Ну, и нынче поверят, ежели только спросят, конечно. До сих пор не спрашивали – а сейчас-то им что приспичит?..

Чтоб поскорей с фашистами расквитаться – сразу на Порос не вылетел: решил подождать неделю – а деньги, – помня, что рылся весной у меня кто-то, закатал в целлофан и на берегу той бухты заветной спрятал: почти в точности там, где гардероб костюму своему водолазному устроил, чуть в сторонке.

Девять дней я обкладывал пластидом лодку изнутри и снаружи, баллонов опорожнил несметно – Йоргас, спасибо, сам возил их на заправку.

Потом ещё целый день монтировал взрыватели в цепь, шнур вёл на берег. Довел всё же.

Сели мы тут же с Йоргасом, хлебнули как следует вонючего арака и – подождали глоток за глотком, покуда стемнеет погуще: фейерверк в темноте полной – он красочный самый.

Луна как взошла – мы в лодку сели. Свели ладони – и вместе нажали.

Осечки не случилось. Рвануло так, что скалы зашевелились. Под водой – будто солнце лопнуло.

Я дёрнул стартер и, обогнув рвущийся фонтаном холм взрыва, мы ретировались в город.

Там ещё на причале хлебнули немного – и разошлись.

Вот уже самый конец – и ещё немного.

Возвращаюсь домой, захожу в контору.

Ещё светом щёлкнуть не успел, а меня тут по шее – хватить: и я в отключке.

Очухиваюсь в странном вполне положении: вишу я у окна в петле за ноги, а за стойкой моей конторской стоят Барсун с Молчуном – кверху ногами – и что-то разливают друг другу в рюмочки.

Я их – перевёрнутых – не сразу-то и узнал. Петля у меня в ногах крепкая – ступни затекли, а в голове темно – хуже некуда: кровь набежала, как при погружении.

Пригляделся ещё – сверху верёвка идёт какая-то и к батарее струной подвязана. По всему, думаю, они меня наподобие лебёдки за карниз подтянули.

Тем временем Барсун увидал, что клиент очнулся, глотнул рюмку и ко мне: так, мол, и так, где, сука, деньги?

А я – всё как есть начистоту: мол, простите дяденьки, истратился по делу, – но денег большинство – там-то и там-то: спрятал в камнях в бухте такой-то.

Барсун:

– Ладно, ты повиси еще немножко, – и кляп мне мастерит, чуть не задушил, собака.

Молчун со мной остался – одну за одной хлещет, а на оклик ни слова сказать не хочет.

Когда Барсун вернулся, во мне только полдыха осталось. Голова ртутью налилась – хоть отрывай, кровь из носа хлещет, и вроде как совсемдохну.

– Ты чего, – говорит Барсун, – нас разводишь, как маленьких? Там менты по всему берегу шарят – отлить нельзя, не то – подойти поближе.

А я мычу еле-еле: хотите верьте, хотите нет, но сказал правду – достанем завтра деньги.

Не поверили, видно.

Морочить меня стали: Барсун по почкам, Молчун – селезёнку да ребра охаживает. Лупят, как грушу. Барсун подпрыгивает, Молчун – стоймя мочит.

А я и так – без битья – уже помираю.

В общем, не стерпел я. Думаю: ещё убьют – чего ради?

Короче, дотянулся я до бутылки – хорошо, пока крепили, с подоконника её не свалили – чудом: да как вдарю Барсуну по темечку навскидку.

Тот рухнул сразу – как статуя подорванная.

Полоснул я лепестком по веревке: да так и свалился.

Очнулся, когда Молчун меня водкой брызгал. Чую на губах, что – водкой, а вокруг почему-то винищем воняет...

Ну, мне и полегчало от такой заботы, однако – не совсем: смотреть и шевельнуться могу кое-как, а говорить – как под плитой на губах могильной – невозможно.

А Молчун тем временем спрашивает меня с корточек:

– Так где же деньги?

А я смотрю на Барсуна: лежит – не дышит, башка его плешивая вся от крови и винища мокрая – и очки заляпаны подтёком...

Мне жутко стало. Говорю я Молчуну:

– Помогите товарищу.

– Ничего; одним меньше в наших планах, – отвечает Молчун, и мерещится вдруг, что мигает он мне.

И тут я совсем уж взбеленился. Не привык я ожидать от себя такого, хотя точно знаю: если припрёт под яблочко, страшен я становлюсь, как ангел-хранитель. Хватанул я тогда «розочку» от бутылки своей бесценной – и молча пыром Молчуну в брюхо накрепко вставил. И ещё завел по часовой на четверть, для верности.

Тот аж охнул – не ожидал, видимо.

Короче, отвалился он, и тут я сознание и потерял – теперь окончательно.

Надо сказать, отрубившись, я долго к себе возвращался. И мучительно очень. Особенно неотвязным был один сон-испытание, ужасный коварностью, но всё же облегченный некоторой иронией: смех вообще, я заметил из жизни, смежен по милости Божьей – страху. Снилось мне следующее. Я бегу-ползу по термитнику переулков, а за мной медленно мчится Молчун на карачках – башкой мотает, мычит, рычит, быкует, коленками пыль роет – наподобие минотавра. Или – как перед корридой спущенный в забег по городу бычара. Причём вместо рогов у него – полумесяц на темени: и холод от него я чую жутко, будто яйцами ятагана близость. И вот – очень странно – как я спасался всякий раз от такой напасти. Ползу в изнеможении – и вдруг, опостылев себе за выделение страха, ложусь на спину, в зенит смотрю через узкий створ карнизов – и плевать мне на всё. Лежу – синевой упиваюсь, солнце на переносице, как тюлень разнеженный мячик, перекачиваю. И вдруг меня осеняет. Вскрываю пружиной, подлетаю в верхотуру над клубком переулков, сграбастываю солнце в руку и, снизившись в пике, чуть отпустив шарик от себя по лёту, гашу его со всей дури Молчуну в темя, как над сеткой волейбольной. Ну, понятно, рогатый полумесяц в пух и прах, а от Молчуна – кучка пепла се-ребристо-лунного...

Вот такая глупость мне снилась раза по три за ночь – обнуляясь всякий раз заново, переживаясь с новой силой. И что интересно – только однажды, на самый последок, мне привиделось настоящее избавление: перед полноценным пробуждением, после солнечного пике и броска, и взрыва – я глянул вверх – проводить восстающее в зенит солнце, и узрел: деву прозрачную, жидким золотом сверкающую желаньем, – и лоно её, со светилом совместившись вскоре, воссияло моим ослепленьем...

Окончательно я пришел в себя – в гостях у Йоргаса.

Старик в ногах сидит – поправляет кашне и смотрит вполне геройски.

Вдруг чувствую – промокает мне кто-то лоб.

Повернул через густую боль голову: девушка красоты неписаной – склонилась надо мной, но вдруг отдернула руку, из стыдливости.

Волосы у нее – такие чёрные-чёрные, вороные даже: так от солнца блещут – льются будто...

Йоргас мне говорит:

– Добро пожаловать обратно, – и внучку мне представляет: – Мирра.

Оказалось, к Йоргасу меня гадалка Надя спровадила. Как я грохнулся из-под карниза, на шум ко мне сверзилась сверху: и сквозь жалюзи всё-то и разглядела.

Позвонила срочно Йоргасу, а пока тот на таксо мчался – я сам с Молчуном управлялся.

Таким образом, загрузили они меня в машину. Надя чуть погодя вышла у полицейского участка – сообщить, чтоб биндюгов этих снизу забрали...

Такая вот история с бутылкой крымского вина у меня вышла.

Согласитесь – счастливая всё же.

Потому что на следующий день, как менты отвалили с берега, Йоргас всё-таки достал из-под камней кое-что.

А через год, когда утих шум про двух битых русских (выдворили их, перебинтованных, поскорей-поздорову), я выбрался из подполья и – уехал к Мирре во Флоренцию: она там учёбу начинала в аспирантуре по искусствоведению.

Так что – что ни говори, а всё-таки отлично у нас пробки в бутылки загоняют: иной раз намертво – не вынуть никак, хоть ты разбейся.

P.S. Да, вот ещё кое-что после этой истории у меня осталось – стишок, что я в первый день в бухте, пока загорал-купался... от нечего делать... Ерунда, конечно... Честное слово, алгебра Виассоро – и то забавней, но вот всё же – что есть, то есть, – может, кому интересно.

ДЕНЬ У МОРЯ

I

Там за пригорком в серебре
 клинком при шаге блещет бухта
 (палаш из ножен ночи будто),
 где субмарину в сентябре
 сорок четвёртого торпеда
 вспорола с лёту. – Так от деда
 в кофейне слышал я вчера.
 Затем и прибыл вдруг сюда.
 Из любопытства. Ночью. Чтобы
 кефаль на зорьке половить.
 Опробовать насчёт купанья воды.
 И, может быть, местечко полюбить.

Таксист мне машет: «Ну, пока»,
 свет фар, качнувшись, катит с горки.
 Луна летит – секир-башка –
 над отраженьем в штиле лодки.

II

Ромб бухты тихо вдруг качнул восход.
 И сердца поплавок приливом крови

шевелится – и с креном на восток
скалистых теней паруса на кровли
домишек белых вдоль по склону жмут.

В кильватере лучей стоит прозрачно
невеста-утро. Выбравшись из пут
созвездий карусели – вёрткой, алчной,
по свету местности приморской дачной,
нагой и восхищённой, держит путь.

Над небом бьется белый перезвон.
Штиль разрастается шуршаньем блеска
и поднимается со дна зонтом
зеркал. Вдруг бьёт внатяг со свистом леска:

ночь – рыжая утопленница неба –
срывается... В руке – стан утра, нега.

III

Большое море. Плавкий горизонт
стекает в темя яркой прорвой неба.
Как мысль самоубийцы, дряблый зонд
висит над пляжем – тросом держит невод

метеоцентра: в нём плывет погода –
всё ждет, как баба грома, перевода
из рыбы света, штиля, серебра –
на крылья тени, шторма и свинца.

IV

Чудесное виденье на песке
готовится отдать себя воде:
лоскутья света облетают
и больше тело не скрывают –

не тело даже: сгусток сна,
где свет пахтает нам луна –
и запускает шаром в лабиринт
желанья, распуская боли бинт.

V

Солнцем контуженный, зыбкий, слепой верблюд,
с вмятиной пекла на вымени, полном стороннего света,
из песка вырастает, пытаясь прозреть на зюйд,
пляж бередит, наугад расставляя шаги на этом.

VI

Натянув на зрачок окуляр горизонта с заката рамой,
по бархану двинуть в беседку рыбного ресторана.
Сесть за столик с карт-бланшем немой скатёрки,
чье бельмо-самобранка, будто Тиресий зоркий.

Опрокинуть в стакан полбинокля рейнвейна –
и лакать до захлёба этот столб атмосферы и зренья.

Десять раз опустело и раз набежало.
Бродит по морю памяти жидкое жало
луча – однако ж, нетути тела, чтоб его наколоти.
Вылетают вдруг пробки, и дает петуха Паваротти.

Что ли встать голышом и рвануть к причалу –
раззудеться дугою нырка к началу.
То-то ж будет фонтану, как люстре, брызгов.
Но закат уж бурее, и полно на волне огрызков.

Постепенно темнеет, как при погруженьи.
Звезды дают кругая, как зенки Рыб над батискафом.
Или – как соли крупа, слезы вызывая жженье.
От чего еще гуще плывут очертания лиц, местечек с их скарбом.

Вот выплывают Майданек и Треблинка, где утиль
женских волос, как лучей снопа, шёл в матрасы,
на которых меж вахт на подлодках ревели от страха матросы.
И луна точно так же доливала в полмира штиль.

Июль 2001

ЛЪЗЯ

* * *

Как это просто – спустить петлю,
Напиться сдуру, сказать «люблю»,
Шагнуть с балкона в сырой газон,
Собраться в зону... но не сезон.
Занять на сутки пустой вагон,
Пройти по трассе «Москва – Сайгон».
Запомнить имя «Жоан Маду»,
Смотреть, как вишни цветут в саду...
Живые лживы. От каждой лжи
Все больше гальки на дне души –
Она похожа на старый пруд,
Где часто топят и редко мрут,
Она не любит вина и книг,
Она не хочет вести дневник,
Она похожа на тень, а я
Рисую пальцем ее края.

* * *

И.М.

Законы сцены – свадьбы и пиры,
Дуэли на краю усталой рампы,
Свисают с плеч классические штампы...
А мы меняем правила игры.
Офелия, целуй меня взасос,
Мы на столе устроим наши танцы,
Пускай исходят желчью Розенкранцы,
Пускай решат, что это мы всерьез.
Я конквистадор в панцире идей,
Придворный шут общественной морали,
Потехе час – твердить о Ювенале,
А по ночам водить к себе блядей.
Я стану государь, такой как все,
К чему интриги, мести и дуэли?
И зрителям они поднадоели,
И жизнь прошла на средней полосе...
Тень принца Г. Попсовый детектив.
Театр иссяк, какие наши годы,
Раскроем самый смак живой природы,
Оплатим цену сцены... Зал затих.

Удар меча обрубит рампе край,
Осыплется пыльца седой известки.
Офелия, я вышел на подмостки!
Они не ждали Гамлета. Играй.

Лъзя

Снегирька на фемидовых весах.
Сырой овес в мясистых словесах.
Библиотик. Моргающее веко.
Овечья вера дикого эвенка.
Слепое белокурое пятно
На фоне соплеменных поколений.
У каждой пятой павы взор олений.
А розу оборвали – изнутри.
Глядит младенец. Тряпку подотри
И вымой пол слезами – будешь евнух.
Подальше от восторженных и гневных
Лелеять свой сушеный виноград
И составлять на память Вертоград.
Разрыв-трава – отсюда до Рязани.
И ангел с византийскими глазами
Бестрепетно моргнет в колокола
И выдаст маховое из крыла –
Пока в груди не кончились чернила,
Дави свою историю, Данила,
Макай, пиши, задумчиво творя
Несоразмерный профиль снегирия.
Нельзя ли? Лъзя! Слюной креста родняся,
Тотчас пойдет походом князь на князя,
Любой дурак полезет на рожон
Таскать за косы девушек княжон,
Потом уйдет разбойничать лесами...
Славянцы подавились словесами.
...Сам-князь концы обкусанных усов
Макнул уныло в чашечки весов.
Писец писах – клочки овечьей пряжи.
Снегирька, пой: сестрица, лепо ль бяше?
А брата неть.

Баллада климата

*...Запад есть запад, Восток есть восток,
И с места они не сойдут...*

Р. Киплинг

Стук полустанков: Питер, Одесса, Ревель.
Блеск саквояжьей кожи, тряпичный тюк...
Если в глазах свинцом застывает север,
Памятью моря в душу стучится юг.
Строгость и стройность, линии и границы,
Стянут стежком фрегата балтийский плат.

Лед подворотни. Булочная. Синицы.
Маленький кофе в чашке. И шоколад.
Вдоль осевых проспектов метаться птицей,
Биться о стекла, тщетно искать приют...
Голодом гордых город готов гордиться.
Любят – счастливых. Нищим – не подают.
И на морозе солью себя посеяв,
Милый, оставь надежду взойти весной.
В каждом осколок холода. Это север.
Здесь не умеют знать, что такое зной.
Как горячо ложится песок под ноги,
Как истекает соком раздавленный апельсин.
Как танцевать под солнцем – одной для многих,
Щедро и без оглядки – лишь бы хватило сил,
Как покупать на рынке вино и сливы,
Как убивать на ложе чужой жены,
Как зачинать младенцев, любить счастливых,
Как отдаваться силе морской волны.
Оттиск камней по коже – печать ночлега.
Горсточка слов на память – арык, урюк.
Здесь не умеют жить, дожидаясь снега.
Здесь умирают полностью. Это юг.
Правда вагонной двери. Откуда деться?
Чьих бесприютных примет пустой вокзал?
Северный ветер снегом стучится в сердце.
Южное солнце вычернило глаза.

* * *

М.Г.

Не ходи на лед, говорю тебе, упадешь.
Не смотри на небо – или начнется дождь.
Да положи железо, руки не окровавь.
Явор. Ворона. Яблоко. Вот и явь.
Печь да печаль, томленная в чугуне.
Кто там живет в колодце на самом дне?
Кто до утра беснуется у ворот,
Криком клянет и душу твою и род?
Заполночь в подоконник воткну ножи –
Кто улетит – убьется... А ты лежи.
Вышью твой сон по ниточке, по кресту,
Лес и дорогу, облако и звезду,
Вещую птицу, песенку кобзаря,
Розовым шелком над станом твоим – заря...
Подле постели век бы столбом стоять.
Нож заржавелый – в сердце по рукоять!
Выкину саблю, в клочья порву мундир,
Буду любимой, чтобы не уходил.
Просто – забор поправим, посадим сад,
Выпустим в чашу стаю твоих лисят,
Станешь пастух и пахарь, и молоком
Смоешь тоску постылую ни о ком...
Конь у ворот играет, дрова горят,

Сомкнутым строем сабель сверкнул отряд.
 ...Пуговки нет под воротом, на груди.
 Не ходи на лед, прошу тебя, не ходи...

Баллада наперекор

Прости за все. За стылый дом,
 За гордый нрав, за ложь и жалость.
 Ты дал бокал воды со льдом,
 А я отпить не удержалась.
 Сотри приметы немоты –
 Я говорю с тобой, как с богом –
 На «ты». Латунная латынь
 Кипит во рту. Ведомый рогом,
 Спешит король. Его мечу
 Бить напролом, не знать измены.
 Я детской песенкой лечу
 Сквозь крепко стиснутые стены.
 Тебе вне Дании – ни дня.
 А мне в твоей тюрьме – ни ночи.
 Как будто – ты – любил меня...
 Пророчил прочь нежней, чем прочих.
 Тебе пристало забытье,
 Как розы крестные Тристану.
 За обручальное питье –
 Прости...
 А я тебя – не стану.

Двойня

Забуть. За быт. За сковородку,
 За ежеутренний содом.
 За теплый чай по подбородку,
 За утро, тронутое льдом.
 Домовитийствуя на кухне,
 Творя обед из трех чудес,
 Легко сказать свече: «Потухни».
 Едва ль сложнее – «Гори не здесь».
 Бесцельный свет томит и манит.
 Зачем лететь туда, где ты,
 Когда бренчат ключи в кармане
 И пряный суп кипит с плиты?
 Звенят обрадованно ложки,
 Голодный кот кружит у ног.
 ...Там, на неведомой дорожке,
 Поник торжественный венوك...
 Я буду жить светло и мило
 И привлекательно весьма,
 Бельишко, таз, веревка, мыло,
 Хламида, бусина, тесьма.
 За быль... за пыль... за боль... забыла.
 Четвертый год не жду письма.

Летняя колыбельная

У калитки – две улитки,
У улиток – по улыбке.
В луже топчутся ежи.
Сколько радости – скажи?
Вот на грядке – цып-цыплятки,
У цыпляток все в порядке,
Будут птицы, а пока
Дружно делят червяка.
Под листочек загляни-ка –
Там на хвостике клубника,
Тонкий стебель, длинный ус,
Очень вкусная на вкус.
Солнце село, солнце встало,
Солнце в тучи усвистало,
И торчит из кучи туч
Самый желтый в мире луч.
Вечер шарится в малине,
У детей колени в глине,
За заборами коза
Щурит хитрые глаза.
Хватит снов в мешке у ночи
Для сыночка и для дочи,
Для собаки, для кота,
Для вороны и крота,
И последний – тихий самый –
Теплый летний сон для мамы.
Дождь на ветках, ночь в норе...
Вот и утро на дворе.

Приговорка метрошная

Солнце спит. Автобус возит.
Пан Мороз Москву морозит.
Презирая снег нутром,
Будем двигаться метро.
Сядем рядом на сиденье,
Нарисуем сновиденье,
Хорошо тебе и мне
По метро летать во сне.
Сядь поближе, поскакушка, –
Что еще соврать на ушко?
Целовать тебя легко –
На губах-то молоко
Не обсохло, не погасло.
Поцелую – станет масло,
Мы намажем бутерброд
И туннелю сунем в рот,
Откупаясь от подземки,
Пусть соседи пьют зенки –
Их земля сотрет в труху.
Мы с тобою – наверху.

Время лопнуло пружину,
 Значит, нам пора по джину,
 Краснословит москворечь –
 Что еще до дна беречь?
 Кивера да ментики...
 Ваши документики?
 По Тверской идут менты
 Между ними – я да ты.

Песня унылой пряжи

Славное дело – сидеть, латать,
 Долгие слезы и пыль глотать,
 Если неважно выходит жить –
 Надо учиться шить.
 Были ли, беды ли, страх и грех –
 Мало ли в жизни моей прорех?
 Год безнадежный, пустой и злой
 Выжит моей иглой.
 Разные розы растут в раю.
 Заново нынче себя скрою,
 Дама Изольда, но изо льна,
 Будто бы не одна.
 Черные думы, печаль в очах,
 Стылую душу лечи, очаг.
 Льдинка растает, блеснет стекло –
 Станет и мне тепло.
 Слушают дети – все вроде те –
 Песенку чайника на плите.
 Скрипка играет для нас во сне ль...
 И на гвозде шинель.
 Горькую долю избыв дотла,
 Божьею пчелкой трудись, игла.
 Шелком по шелку куда спешить?
 Вышьем и будем жить.

* * *

брусчатка. поверхность, которой идешь босиком.
 до места, где счастье пасут косяком.
 гнедая кобылка, конек вороной –
 садись без седла и поедем за мной –
 лугами, где лгали, полями, где пели...
 подсолнечной гривой, копытом капли
 блестит мое счастье и скачет привольно
 ему до скончания лета – не больно.
 а осень придет – закидает листвою,
 на стекла и в стойла поставит – и стой.
 игривые гривы, лошадки на сене –
 как будто от осени в счастье спасенье...
 попробуй босым по брусчатке промчатся,
 чтоб лето летело, не смея кончаться!

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

роман (продолжение)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII Жизнь – государственная тайна

Без даты

1

Если бы существовала астрономия событий, мы увидели бы, как туманное солнце Победы встало на востоке и, остановившаяся, исчезая в тучах и вновь поднимаясь, постепенно светлея и наливаясь золотом, ползло все выше, пока, наконец, не достигло зенита: это было утро 9 мая 1945 года. Толпы бежали к Красной площади, плакали и смеялись, и обнимались, и было видно за морем голов, как взлетают над головами солдаты войны с побрякивающими медалями на гимнастерках, и в небе плыл и полыхал стяг со знакомым портретом.

Жизнь, новая жизнь начиналась при звуках победных труб, жизнь казалась обетованной землей, наконец-то обретенной, и, однако, осталась прежней, – по крайней мере, так казалось, и уже далёким эхом звучал в ушах топот парадных сапог, заглохла маршеобразная музыка, жизнь мчалась, а вместе с тем стояла на месте, как стоит вагон под стук колёс, а навстречу летят поля и деревни; жизнь была предопределена, для неё, словно в чёрную дыру туннеля, были проложены рельсы во мрак будущего, и она неслась по ним, увозя ни о чём не подозревавшего пассажира на тот свет. То, что древние называли фатумом, а люди менее просвещённого времени – Божьей волей, теперь именовалось государственной тайной. Станок ткал серо-чёрную ткань под названием «диагональ». Рулоны этой ткани прибыли на тайный северный полустанок, где бригада простуженных подростков разгрузила их прямо на снег, а ты, приятель, где ты был в это время? Ни о чём не подозревал, ничего не знал о государстве тайн и заграждений и, сидя на корточках где-нибудь в Парке культуры, затягивал шнурки ботинок с коньками размякшейся барышне в белой вязаной шапочке с помпоном, и гремела музыка, и флаги трепыхались на мачтах, и сияли фонари, лёд блестел, и падал снег.

Между тем угрюмые тощие женщины, все в такт, кивая серыми стриженными головами, стучали ногами по приводу, стрекотали швейными машинами под тускло-слепящим светом лампочек без абажуров, и глядите-ка, твой бушлат готов, новенький, и топорщится, перетянутый верёвкой в кипах готовой продукции, по десять штук в связке. Сгорбленная старуха с самокруткой во рту, дочь действитель-

ного статского советника и правнучка декабриста, пересчитала кипы и расписалась в бумажке. Пятьдесят лет тому назад она подрывала устои государственного строя, в короткой шубке стояла на стрёме, пока два гимназиста лепили клейстером прокламацию прямо на дверях губернского дворянского собрания; потом отправилась за границу изучать революционную теорию, и сорок лет жизни ушли на собрания, речи, платформы, членские взносы, выборы комитетов, разоблачение уклонов, борьбу фракций, резолюции, дым дешёвых папирос и дебаты до пузырей пены в углах рта; в те годы она коротко стриглась, ходила крупными шагами в холщовой юбке, а теперь носила бушлат, крутила и слюнила четвертушки газетной бумаги с махрой и пересчитывала новенькие бушлаты. Жизнь была predetermined, жизнь неслась вперёд и стояла на месте, огороженная колючей проволокой, окружённая со всех сторон, словно минными полями, государственной тайной.

2

Итак, бушлат был готов, ждал тебя, оставалось дооформить дело. Стёганный ватный бушлат в гардеробе отечественной истории – то же, что тога в Древнем Риме, рыцарский плащ и монашеская ряса Средневековья или камзол века Светочей. Имя изобретателя бушлата неизвестно, фасон и выкройки – компетенция ведомства охраны государственных тайн, подобно инструкциям тайной полиции, местонахождению оборонных заводов, паспортному режиму, сведениям о сексуальной жизни вождей. И то, что всё это – государственная тайна, есть в свою очередь тайна.

В толковых словарях говорится, что бушлат – это форменная одежда моряков, не верьте, первейшая обязанность лексикографа – хранить тайну. Словари лгут, как лгут календари и парадные сводки перевыполнения планов, где производство бушлатов не удостоено отдельной графы. Но на самом деле бушлат, бушлатик, есть одеяние эпохи, национальный наряд, форменное рубище, носимое зимой и летом. Бушлат не покупают, его выдают – взамен рубахи, куртки, пальто или шубы; бывшему дирижёру он заменяет фрак, бывшему моряку – морской бушлат, бывшему монарху – мантию. Бушлат служит подушкой и одеялом. Бушлат фигурирует в лагерных преданиях, порождает целый лексический слой. Идиоматическое выражение «одеться деревянным бушлатом» означает врезать дуба, сыграть в ящик, освободиться с биркой на левой ноге, откинуть лапти, отбросить копыта, приказать долго жить, загнуться, околеть, подохнуть, почить в Бозе: умереть.

3

Государственная тайна есть феномен, целесообразность которого не то чтобы иллюзорна, о нет, но как бы растворяется в том, что на первый взгляд порождено определённой целью и назначением: в мертвенном сиянии газосветных ламп, в лабиринте коридоров и дверей, в неслышном шаге сапог по ковровым дорожкам, в контрольных постах на площадках этажей, в бессонных караулах у глухих ворот и гранитных подъездов, побелевших от инея, в уходящих ввысь рядах тёмных, слепо отсвечивающих окон цитадели, похожей на колумбарий. На первый взгляд то, что там происходит, есть средство для достижения некоторой цели. На самом деле в них, в этих средствах, и состоит цель, смысл и задача.

Там ткут, прядут, как Парки, нить судьбы, там трудятся ночь за ночью напролёт, там дрожит в спёртом воздухе беззвучная музыка бдения, там сидят в обшитых дубом кабинетах неподвижные, как буддийские изваяния, начальства, там скрипят перьями в кабинетах с зарешечёнными окнами младшие и старшие следователи

в накинутых на плечи шинелях, с простыми, как пемза, лицами выходцев из народа, с окурком в углу рта; там вырабатывается особый бесплотный материал – субстанция государственной тайны, подобно тому как паук фабрикует бесцветную паутину, как ткётся ткань на бумажно-прядильном комбинате, и существуют нормы, и есть техосмотр, и есть передовики, перевыполняющие производственный план.

И как в еврейском предании невидимая рука раз в год записывает в Книгу судьбы, кому жить, кому умереть, так и здесь, пока ты копошишься в своей маленькой жизни, некто невидимый решает твою судьбу в тайных канцеляриях. Множатся донесения, подшиваются новые материалы, дело пухнет и переходит из одного кабинета в другой, обрастает визами и резолюциями, уснащается постановлениями, последний удар штемпеля – папка захлопывается. Ночные автомобили просыпаются в подземном гараже. Вспыхивают фары. Раздвигаются ворота. Машины развозят только что вышедшую из ткацкого станка тайну по адресам.

Знал ли ты, знали ли все вы о том, что в недрах огромного здания, в сердце тайны спрятана сердцевина, что в подвалах раздевают догола, стригут машинкой под ноль, затем холодный душ, и хорошо, если только это; что в гробовой тишине по длинным переходам ведут арестанта, чмокая, пощёлкивая языком, постукивая ключом по пряжке, чтобы не встретиться с другим конвоиром, что на крышах за высокими стенами помещаются прогулочные дворы и стоят сторожевые вышки, – и всё это в центре огромного города? Нет, разумеется. Не знал, и никто не знает.

Тайна, как туман, окутывает город.

XVIII Свидание

28 октября 1948

Это произошло... Неплохой зачин для рассказа, в котором невероятность событий узаконена поэтикой приключенческой литературы, но, к несчастью, такая литература – не наш удел. Это произошло в прекрасном старом доме Дементия Жилярди на Моховой, в левом крыле, если стать спиной к Манежу, Александровскому саду и звёздно-зубчатой крепости. И была тихая, блёкляя, солнечная, задумчивая погода, какая стоит только в октябре и только в нашем городе.

Этот дом стал легендой, мифом. Рассказывают, что он стоит по сей день; малоправдоподобное утверждение. Никогда больше мы не входили в воротца ограды, не поднимались на площадку третьего этажа, туда, где справа окно и низкий подоконник, а посередине вход на факультет, никогда не заглядывали в угловую, называемую Круглой, аудиторию. Пожилая женщина в кацавейке и тёплом не по сезону платке, отчего она казалась ещё старей, в тёмной юбке, на ногах довоенные фетровые боты, в руках кошёлка, все в этом столетии ходили с кошёлками, – стояла, ожидая конца последней лекции. Студенты гурьбой покидали зал. Она приблизилась, ей нужен был репетитор для внука.

Несколько времени оба топтались в коридоре, шум и толкотня мешали разговору. Но именно так, на публике, следовало произнести первые фразы, мне вас рекомендовали, что-то в этом роде. Может быть, отойдем в сторонку?

В шестом классе, продолжала она, входя в аудиторию. По математике лучше всех, а вот с русским языком беда. Не хотелось нанимать взрослого преподавателя, хорошо, если бы репетитор был товарищем для мальчика.

Что-то недоброе почудилось ему в этой тётеньке, но, может быть, память искажала первое впечатление. Тусклый взгляд, бесцветный голос; вдобавок, произнося отрывки фраз, она прикрывала рот, словно стеснялась недостающих зубов. В опустевшем зале – это была та самая, Круглая аудитория – подошли к подокон-

нику, она смотрела вниз, на пустынную площадь, наклонилась, чтобы увидеть угол улицы Герцена, откуда выворачивал трамвай. Она искала глазами людей, дежурящих на углу, нищего, который сидит перед оградой слева от ворот. Ничего подозрительного, люди спешат по тротуару, подчиняясь единому ритму, тяжёлому, учащённому дыханию города. Уже висел вдоль Манежа длинный плакат с изречением: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира...» – дальше не было видно, но все знали его наизусть. Всем было известно: мы – за мир! *Мы за мир, и песню эту понесём, друзья, по свету. Пусть она тра-та-та.* Сбоку над фронтоном, на крыше, рабочие тянули вверх на канатах огромный покачивающийся портрет в литых усах, в мундире с расшитым воротником и звездой Победы.

Она проговорила, всё ещё не глядя на тебя: «Дело вот в чём...» – и студент подумал, что она выставит какое-нибудь особое условие; она поправила платок на голове и коротко, пристально взглянула, видимо, сомневаясь, сможет ли он справиться с обязанностями репетитора.

«К сожалению, – сказала она, – мне надо спешить. И вам тоже».

«Мне?» – спросил он.

«Да. Только ни о чём меня не спрашивайте. Никакого внука у меня нет».

А кто же, задал он нелепый вопрос.

Она посмотрела ему в глаза.

«Обещаете, что никому ни слова? И, пожалуйста, никаких вопросов. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Вы меня никогда не видели, ясно?.. Вам надо уехать».

Молодой человек воззрился на старуху. Уехать, куда?

«Из Москвы, срочно. Куда-нибудь... чем дальше, тем лучше. Это мой совет вам. Мы не можем долго разговаривать, – говорила она бесцветным, безразличным голосом, – я сейчас уйду, а вы немного побудьте здесь. Вас должны арестовать».

«Меня? Кто?» – спросил он растерянно.

Старуха мелко кивала головой в сером платке: да, да.

За что, спросил он.

На прошлой неделе ты поругался с кем-то в кино, в очереди перед кассами, вы были втроём, ты, она и Аглая, вмешалась милиция. Выходит, милиция?.. Летом на пляже к тебе подошла цыганка, открой десять карт, сказала она, какие будут красные, а какие черные. А что это значит? А то значит, сказала она, что красные к радости, чёрные – к горю, он открыл, все десять оказались красными.

Мы за мир, и песню эту. Понесём, друзья, по свету.

Всё это неслось в голове. Он снова спросил: «Но за что, вы мне можете сказать?»

«Это уж вам знать».

«Откуда вы взяли?»

«В какую-нибудь из ближайших ночей... я думаю, ближе к празднику, это делается ночью. Никому ничего не говорите, маме вашей скажите, чтобы вас не разыскивала, уезжайте, и всё. В глушь, где вас никто не знает».

Что-то ещё удерживало её.

«Главное, не задерживайтесь, уезжайте сегодня же. Лучше ночью, чтобы никто не видел. Это безумие, что я вас предупредила».

Студент остался в пустой аудитории, тупо размышлял о чём-то, выглянул из аудитории, спустился по лестнице, вышел на улицу и повернул направо, пересёк трамвайную линию, остановился. Он прочёл: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Что означало изречение вождя? – очевидно, ничего, это была словесная конструкция, лишённая содержания. Но ему подумалось, что перед ним тайнопись, зашифрованное сообщение. Он двинулся назад, перешёл снова улицу Герцена.

Он шагал по тротуару, вдоль решетки университета, мимо ворот медицинского института, мимо американского посольства, мимо окон ресторана «Националь», шёл, не оглядываясь, вдруг поверив, уверенный, что за ним идут. Он ничего не знал о них, и всё-таки знал: его *накололи*, следят из подъездов, поджидают на углу улицы Горького, он замедлил шаг, нужно было резко изменить маршрут, нырнуть куда-нибудь, но нырнуть было некуда. Люди спешили вокруг, кто-то выругался, наткнувшись на него. Незачем гадать, почему, за что, они всё видят, всё знают, если придут за тобой, значит, есть за что. Никому не известно, что они замышляют, всё – тайна, и кто такие эти они, тоже тайна.

Какие выйдут красные, а какие черные. Вишь ты, одни красные. Или – недоразумение, поддержат и отпустят? Но нет, сказал он себе, и как же это мы раньше не догадывались. Весь предпраздничный шум, друг мой, дурачина, и блеск витрин, и сверканье автомобилей, и толкотня на тротуарах, всё это – морок, обман, переливчатое покрывало индийской Майи, а под ним – ночь и туман. *Мы за мир, и песню эту...* И всю дорогу, непрестанно, дурацкая мелодия бубнила у него в мозгу.

XIX Героический эпос бдительности

Вечером 28 октября

Она сказала правду, не было никакого внука, но был сын. И когда, проделав кружной путь, – лишняя предосторожность не мешает – сперва в другую сторону, в густой толпе пешком к Арбату, потом на метро сколько-то остановок и опять пешочком до Покровских ворот, – когда она вошла в подъезд старого дома на углу Колпачного переулка, поднялась по лестнице, открыла дверь коммунальной квартиры своим ключом и, неслышно прошагав по коридору, вступила в комнату, когда, наконец, размотала платок и повесила кацавейку, – при этом оказавшись, как мы и думали, не такой уж старой, – то первый вопрос не был произнесен, но был задан одним движением глаз: ну как?

Сын лежал на кровати, костыли стояли в углу. За окном – нежно-фиолетовое, фисташковое, как всегда в это лучшее время года, в этом лучшем из городов, небо, негаснущий, погожий день.

Мать сидела на стуле, боком к обеденному столу, руки на коленях. Виделась ли она с ним. Удалось ли его отыскать? Конечно, сказала она. Сразу узнала. – Так. И что же? – Ничего. – Сказала?

Молчание.

«Да, сказала».

«А он что?»

«Он ничего не понимал. Я боюсь, – проговорила она. – За тебя боюсь».

«Ерунда. Мне ничего не грозит. Ты ему что-нибудь рассказала?»

Словно страдая от невыносимого зуда, так похожего на зуд в пальцах несуществующей конечности, он выпытывал каждое слово: что, как, о чём говорили. Не волнуясь, Юра, сказала мать, никто нас не слышал. Я же говорю тебе: вызвали тебя, потому что ты член партбюро. Всех вызывали, возразил он угрюмо. Вызвали тебя, продолжала она, как коммуниста. Ну и, конечно, репрессированный отец.

Может быть, и других заставили подписать. Кто это может знать? Нет, конечно, ни о чём она не рассказывала. Никаких вопросов, я вас не знаю, вы меня не знаете. И что ваш однокурсник – мой сын, и что его *вызывали*. Удивительное слово тех лет: произнесёшь, и всё ясно, кто вызывал и куда. И зачем вызывали, тоже не надо объяснять. Обречённый ни о чём не подозревает. Его тело всё ещё живёт среди людей, двигается в толпе студентов, с шумом, смехом вывалившихся из

Круглой аудитории, только что окончилась лекция. (О французском классицизме, уточнил сын). Но уже накинуто на него невидимая сеть, уже одной ногою он там, и вот-вот поедет по эскалатору в преисподнюю. Уже невозможно называть вслух его имя.

Пойми, Юра, сказала мать, повторяя то, о чём они проговорили полночи, решив, наконец, что она отправится в университет и предупредит, пойми, ты всего лишь свидетель. Так это у них называется. Ты думаешь, оттого, что ты что-то подтвердил, что-то подписал, его и заберут? Всё решено заранее. Они всё знают без тебя. И знают гораздо больше. Им нужен формальный свидетель – может быть, даже не один. Они всегда действуют по закону. Который сами же сочинили. И твои показания сочинили, и его собственные, на самого себя, это отработанный механизм. За ним следят уже давно, это я тебе гарантирую. Ждут, когда накопятся доносы. Настоящий виновник – это осведомитель, кто-нибудь в вашей группе. Его-то, конечно, вызывать не будут. От твоих показаний ничего не изменится. Этой сетью опутали всех. Уж я-то знаю. Господи, – мальчишка, я же видела, кто он такой: мальчишка.

«Я тебе так скажу, – продолжала она, – и больше не будем возвращаться к этому разговору. Чтобы как-нибудь устроить умственно отсталых людей, есть лечебные мастерские. Там слабоумные клеют картонные коробки. А чтобы дать работу садистам, создана эта организация, все эти управления, подвалы, тюрьмы».

«По-настоящему, – сказала она, – надо бы арестовать меня. Я их ненавижу. Я всех их ненавижу. Я ненавижу усатого ублюдка. Твой отец исчез в тридцать седьмом году, через десять месяцев мне ответили: десять лет без права переписки. Что это означает, это мы уже и тогда знали. А твой дед был народовольцем».

Всё так, думал инвалид. Он сидел на кровати, опустив ногу на пол, давно уже стемнело, шелковый абажур освещал стол и лицо матери, все остальное – стены, книги – было погружено в сумрак. Не я, так другой, и ничего бы не изменилось. Свидетели – чистая формальность, всё правильно. И всё-таки, всё-таки!..

А она думала: мало того, что мальчик прямо со школьной скамьи отправился на фронт. Мало того, что пришел с войны калекой. Сколько их вообще осталось – из всего их класса вернулось двое. Так нет же, надо мучить его ещё.

Они вызывают людей, чтобы связать всех единой поручкой. Накануне, вернувшись, он рассказал, как было: позвали в деканат. Там говорят – зайдите в секретариат, какие-то формальности. Он отправился в административное крыло. Дом Жилярди выходит на площадь покоем. Клятвенные братья Огарёв и Герцен, в кустах на своих постаментях, могли бы кое о чём напомнить. Университет, оплот русского свободомыслия... эх, эх. Он шёл, опираясь на палки, переставлял ноги. Нашёл ректорат, секретарша взглянула на него, он объяснил, что ему велели явиться. К кому? – спросила она и, не дожидаясь ответа, сняла трубку телефона. Там что-то ответили. Он заковылял дальше. Кум обитал в конце коридора за дверью без таблички. Он постучался, подождав, отворил, там была вторая дверь, он снова постучался. Уполномоченный сидел за столом, это был гладколицый, синеглазый, сдержанно-вежливый человек в штатском, разговор в кабинете за двойной дверью начался с уважительных комплиментов, в них сквозило даже некоторое участие. Юра знал, что такое особый отдел. Но сидевший напротив него не был похож на военных особистов, он говорил без южного акцента, правильным русским языком, не тыкал, говорил «вы». Себя называл «мы». Это была форма, называемая в грамматике *pluralis majestatis*, множественное величества. Присаживайтесь, – тут он назвал Юру по имени-отчеству, – вы, наверное, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Не догадываюсь, сказал Юра. Хотелось бы, м-м, побеседовать. Речь идёт о... Он назвал фамилию, мягко взглянул на посетителя. В нём было что-то подкупающее, он словно хотел сказать: вот видите, вы ожидали увидеть какого-нибудь дуба, мы совсем не таковы. Не буду от вас скрывать, продолжал он, у нас есть сведения, что...

Откуда это известно, холодно спросил Юра, и в ответ уполномоченный усмехнулся, кинул на свидетеля оценивающий взгляд, как бы прикидывая, что это: наивность, или притворяется? К вашему сведению, сказал он осторожно, органы освещены обо всём. — Зачем же тогда...? — Вы хотите сказать, возразил уполномоченный, зачем понадобились ваши показания. Но это ваш долг, долг советского гражданина, коммуниста. А если, спросил Юра, я откажусь. Уполномоченный потянулся за портсигаром, протянул свидетелю, Юра помотал головой. Уполномоченный закурил. Откажетесь помочь следствию? — спросил он. — Ваше дело, мы никого не принуждаем. Возможно, придётся сделать соответствующие выводы. Он смотрел на свидетеля ясным взором, в котором можно было уловить насмешку, впрочем, еле заметную. Кстати, хотел бы напомнить, что укрывательство врага — уголовно наказуемое деяние. Конечно, до этого дело не дойдёт, вы один из лучших студентов, по окончании партбюро будет рекомендовать вас в аспирантуру, мы поддержим ходатайство.

Какой же он враг, сказал Юра. Он всё ещё упирался. Кум не спорил. Да, пожалуй, правильней будет сказать — не враг, а заблуждался. Мы выясним. Может быть, ограничимся разъяснительной беседой. Вправим мозги. То, что здесь написано, установленный факт, сказал он холодно и взглянул на часы. Сейчас, думал Юра, напомнит об отце. Он видел это по глазам кума. Страха он не испытывал. Сейчас, подумал он, меня вырвет. Прямо здесь, на пол. На всякий случай он отодвинулся. Интересно, как он будет реагировать. А что если спросить: где ты был, сука, во время войны? *Где вы все были, сволочи.* Ему протянули протокол, он расписался. После чего положили перед ним печатный бланк с обязательством о неразглашении, и здесь тоже оставалось поставить подпись.

«Разъяснительная беседа... Держи карман шире», — пробормотала мать с крикой усмешкой.

Тебе не в чем себя упрекнуть, сказала она твёрдо. Если бы ты отказался, ничего бы не изменилось. Оттуда не возвращаются. А тебе бы они отомстили. Да, узнала его сразу, сказала, что нужен репетитор. А когда остались вдвоём, посоветовала уехать, вот и всё. Куда-нибудь в глубинку, страна у нас, слава Богу, большая. Она знала по прежним временам, что такие случаи бывали, людям удавалось отсидеться в глуши, пока там, наверху, не наступит очередная ночь длинных ножей, новые крысы не передушат старых. На другой день писателя не было на занятиях. Не появился он и назавтра, и через неделю, и через две недели. Не то заболел, не то перевёлся куда-то. Кто-то кому-то сказал по секрету, пошёл запашок, слушок: арестован; за что, лучше не спрашивать. Нет дыма без огня — наверное, есть за что. Пошёл слушок, за кражу книг в Ленинской библиотеке. Пошёл слушок — за участие в антисоветской организации. Уже не первая раскрытая организация. Этажом ниже, на философском, тоже раскрыли подпольный кружок по изучению индийской философии. На партбюро секретарь сделал краткое сообщение: органами государственной безопасности разоблачён и так далее; нам всем, товарищи, нужно сделать из этого серьёзные выводы. Не для разглашения. Этим была подведена черта, после чего стало ясно, что писателя вообще никогда не существовало. Кто такой NN? Не было никакого NN.

XX Побег № 2. Если это вообще возможно

1 ноября 1948

Поезд нёсся мимо закрытых шлагбаумов, пакгаузов, пустырей, поезд стоял на вокзалах, перроны, освещённые могильными фонарями, ночной стук колёс, как стук огромных часов под ухом, рассвет в потёках дождя, пассажир держал рюкзак

на коленях, в страхе протягивал билет контролёру, высматривал милицейскую фуражку на платформе, дремал, пробуждался в переполненном вагоне, вновь поднимал голову, налитую свинцом, и в панике проверял, на месте ли деньги во внутреннем кармане, вагон почти опустел. А там новые толпы штурмуют на станциях вагонные площадки, и опять милиция, и опять контролёры, и дежурный в красной фуражке подаёт знак кому-то на платформе, и в каждом из входящих беглец старался угадать переодетого сотрудника. Весть о победе летела вслед за ним, пересаживалась с поезда на поезд, растекалась по городам. Так он думал. Пассажир смотрел на медленно проплывающие, нераспаханные поля, на таёжные леса, постепенно растущие на горизонте, надвигающиеся, словно оккупационные войска, и вот уже летят, обгоняя друг друга, тёмные ели, опускаются, так что становятся видны верхушки, вагон подрагивает, постукивает, пронзительный свисток локомотива, и полустанок пронёсся мимо, пронеслась будка путевого обходчика, поезд идёт по длинной загибающейся насыпи, над ним необъятное небо, и внизу, сколько можно охватить взглядом, густой неподвижный лес.

И тут тебя охватывает неопишное чувство, смесь отваги, отчаяния и злорадства; второй раз в жизни, очертя голову, он бросается навстречу небывалому приключению – прыжок с парашютом в пустоту. Voilà! – они явились среди ночи, как предсказывала эта тётка, – машина остановилась перед подъездом – сверяют номер дома, квартиры – кулачищем в дверь – нет, кулаком, наверное, не стучат, длинный звонок – фуражка с голубым околышем – за ним другие – квартира вслушивается, поднимаются головы с подушек – сапоги в коридоре – стук в дверь – вваливаются в комнату, узкую, как пенал. *Здесь проживает такой-то?* А его уже след простыл.

Странная теория – считается, что таким способом можно спастись. Переждать... пересидеть. Оно, конечно, верно, что там всё знают, всё видят, а всё же кому-то посчастливилось ускользнуть. Приедут незваные гости, а он здесь больше не живет. Ночной лейтенант сидит за столом, постукивает пальцами, другие заглядывают за портьеру, под кровать. Уехал, куда? Как же это вы не знаете. И давно? Да он совершенно отбилась от рук, живёт своей жизнью. Тэк-с. Пристальный взгляд, пальцами та-та-та. И ведь не могут сказать, зачем пришли: государственная тайна. Удивительная теория, она выворачивает тайну наизнанку и обращает её против тех, кто продуцирует тайну. И что же дальше? А ничего. Дел много, работы невпроворот, отложат, а там, глядишь, переменится погода. Так уже бывало. Оказывается, была даже родственница в Ленинграде, муж был арестован – в двадцать седьмом году голосовал за троцкистскую оппозицию. Решила не дожидаться, когда придут за ней, собралась и укатила с трёхмесячным ребёнком на Урал. И прожила там два года, пока не рухнул Ежов и ветер не подул в другую сторону. Времена, сказала мать, не вечны. И видно было, что она изо всех сил старается в это поверить.

А ты, спросил он. А я, если успею, уеду к сестре. Она металась по комнате. Бог даст, сегодня ещё не придут. Они всегда являются накануне праздника, это известно. Откуда ты знаешь, спросил сын. Это известно, повторила она. Оба ни на минуту не усомнились, безоглядно поверили незнакомке во вдовьем платке. Да и нельзя было не поверить. Такие вещи не выдумывают; значит, знала. Мать провела полдня в очередях перед кассами на Ярославском вокзале. Была глубокая ночь. Писатель сидел, откинувшись на спинку дивана, всё ещё называемого оттоманкой, на котором он спал ребёнком, всё было как в прежние времена – пианино, буфет, только детского столика с книжками давно уже не существовало. Мать металась туда-сюда, забывала, вспоминала.

Подумать только, что делается. Теперь они уже и детей хватают. Но я тебе скажу – она остановилась с бельём в руках, – ты сам виноват. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Где ты проводишь время, с кем водишься. Шуточки, анек-

доты, неужели ты не понимаешь, где ты живёшь. Чего уж теперь говорить. Я для тебя не авторитет. Был бы папа жив, он бы тебя приструнил. Надо переждать. Всё-таки есть справедливость. Например, после тридцать седьмого года, когда сняли Ежова, всё изменилось. Сталин вмешался, и всё это кончилось. Она вздохнула, она действительно вела себя мужественно. Только бы не разбудить соседей. Вот деньги, вот тёплые носки. Где билет? Паспорт не забудь. Слава Богу, страна у нас большая. Везде есть добрые люди. Они приютят. Отсидишься сколько надо, а там и я к тебе приеду. Просто надо выждать. Она вытерла слёзы, высморкалась. Присесть напоследок, иначе пути не будет. Бог даст, времена изменятся. Это долго не может продолжаться. Главное, соседей не разбудить. Писатель сказал, что ему нужно попроситься. С кем? С Анной Яковлевной. Ты с ума сошёл, не смей!

Она первой вышла из подъезда. Взгляд налево, направо – никого. Тёмные купы деревьев за глухой стеной чехословацкого посольства, конусы жёлтого света под тарелками фонарей. До отхода поезда ещё добрых полтора часа, но лучше выйти, пока не рассвело. Молча двинулись к площади Красных Ворот, теперь она называлась Лермонтовской, по Орликову переулку пешком до площади вокзала. Странная история, говорил он себе много лет спустя, но ведь чего только не бывает на свете. И страна, столь реальная, обступавшая со всех сторон, казалась ему в этих воспоминаниях ожившей легендой. Не забылись подробности, но сцепились в причудливый узор. Невидимое и всевидящее око наблюдало за ним со своих высот, но и это осталось предположением, творимой легендой, чем-то таким, что находилось на стыке возможного, вероятного и фантастического; всё было неправдоподобно в этой небывалой стране, вполне реальным был только финал.

Студент высаживается на станции с названием, о котором никто никогда не слышал, но он будет помнить его всю жизнь; никто не встречает, люди равнодушно косятся на его городское пальто, он стоит на остановке, трясётся на продавленном сиденье допотопного автобуса, сумка с московскими продуктами у ног, брезентовый дорожный мешок на коленях. В дальнем селе отыскивает попутчика, и ещё часа три в телеге, а дальше пешком. Кто посоветовал, чьи это знакомые и знакомые знакомых, неизвестно; кто-то кому-то звонил, кого-то нашёл, всё обиняками, род коллективного инстинкта, цепь страха и взаимопомощи; люди понимают, что надо спешить, – и всё тайна, все молчком, искра пробежала и погасла, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И, собственно, это даже не адрес: есть такие места, которых и на карте не отыщешь, куда и почта не доходит, откуда три года скачи, ни до какой цивилизации не доскачешь.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня. Близ городов озирался я зорко.

Вот он в действии, неумирающий русский миф. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, из страны вглубь страны, в неисследимую глушь: исчезнуть, слинять, сорваться. Воля! Сами того не ведая, мы впитали эту идею с молоком матери.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала.

Обмануть всесоюзный розыск, уйти с концами. Жуки на булавках, мы все лелеяли эту мечту.

XXI Свет не без добрых людей

9 ноября 1948

Он поселился в сторожке на краю джунглей, которые были не чем иным, как одичавшим садом, брошенной заимкой или помещьем давно исчезнувших вла-

дельцев. Дальше начинался сырой тёмный лес. На ветхом столике стояла коптилка, лежали спички и толстая, погрызанная временем и мышами книга. Дощатое ложе застелено тряпьем, на гвозде тулуп. В углу – железная печка с трубой, колено подвешено на проволоке и другим коленом выходит из крыши. Измученному долгой дорогой постояльцу ничего не снилось. Утром на столе стояла еда. *Хлебом кормили крестьянки меня.* Он вспомнил – читал – в царское время женщины ставили крынки с молоком на полке перед окошком, для беглецов, бредущих через тайгу.

Он выглянул, светило холодное яркое солнце. Чуть-чуть золотилась пожухлая листва. Всё кругом словно вымерло. Новоселец повалился на топчан, успел подумать о том, что сейчас, должно быть, народ толпится на ступеньках амфитеатра, выходит из Коммунистической аудитории на галерею с колоннами; и тотчас он догадался, что все было сном: и тётка во вдовьем платке, и ночные сборы – ничего этого не было. Но и пробудившись, сидя на топчане, он как будто переместился из одного сна в другой. Он поднялся, добрал до отхожего места, рядом на столбе висел умывальник.

Писатель листал серые, обломанные по углам страницы, читал наугад, это была история Исхода. И сказал фараон, пусть перестанут громы Божии, отпущу вас, и отправились, числом до шестисот тысяч, не считая детей, как вдруг послышался хруст веток. Это были они, он замер, всё ещё надеясь, что не заметят, пройдут мимо. Бабий голос окликнул его. Он молчал. Дверь приоткрылась.

«Я уж думала, помер ты. Али сбежал».

Куда ещё бежать.

Лохматый зверь семенил навстречу, пролалял: это ещё кто? «Свои, свои», – бормотала старуха. Вошли в избу.

За столом на лавке под образами сидел мужик, весь заросший несседеющим волосом, можно дать ему меньше пятьдесят, можно и семьдесят. Студент поздоровался. Хозяин молча оглядел вошедшего, показал кивком на скамью. Гость выложил на стол банки с консервами и два круга блестящей, темнокрасной копченой колбасы. Стесняясь, положил рядом конверт.

Мужик заглянул в конверт, не вынимая, пересчитал деньги, ничего не сказал, сунул за пазуху. Разлил желтоватую водку по гранёным стаканам. Давай, сказал он, с новосельем. Тебя как звать-то.

Водка оказалась самогоном.

«Сальцом закусите», – сказала хозяйка.

Пёс стучал когтями, кашлял в сенях.

«Чего он там?» – спросил хозяин.

«Соскучил небось».

Пёс вошёл и уселся на вислом заду. Хозяин взял большой нож, рассек колбасу, отрезал ломтик. Кобель по имени Козёл вскочил, подобострастно подковылял, не сводя глаз с колбасы. Задрал морду и раскачиваясь на задних лапах, Козёл исполнил танец, следуя, как за магнитом, за ломтиком колбасы, который двумя пальцами держал хозяин.

«Хер тебе», – сказал мужик и положил ломтик себе в рот. Игра продолжалась, Козёл снова танцевал на задних лапах, поймал, наконец, колбасный ломтик и проглотил, не успев разжевать.

Напиток бросился в голову писателю, он беспомощно тыкал в тарелку алюминиевой вилкой. Волосатый мужик задумался, угрюмо посматривал на гостя.

«Та-ак, – сказал он медленно, – работать, значит, у нас будешь. А ты чего делать-то умеешь? Небось ни разу лопату в руки не брал».

«Огурчиком солёненьким...»

«Ты, мать, делом займись. Не встревай. У нас свой разговор. Ну чего, рассказывай. Как там жизнь-то?»

«Да никак», – сказал студент.

«Так уж и никак! Ты пей, пей. Здоровей будешь... Из самой Москвы, что ль, приехал? Кто победил-то?»

Студент не понял.

«Крепись, не поддавайся, – сказал хозяин, беря с тарелки пучок лука, – успеешь окосеть... Немец, говорю, в Москве али как?»

Писатель взглянул на свой стакан, взглянул на мужика.

Пёс переступил передними лапами, моргнул, скромно дал знать о себе.

«Пошёл вон... Всё одно. – Хозяин хрустел луком. – Под немцем-то, пожалуй, лучше. А?»

«Да ведь немцев давно уже нет».

«Куды ж они делись?»

«Мы победили».

«Это кто ж это – мы? Ты, что ль? – спросил мужик, прищурясь, и с шумом втянул воздух в волосатые ноздри. – Чтой-то не слышать, чтоб победили... Васён, – сказал он, – хватит тебе шебаршиться, садись с нами. С ним рядом садись...»

«Чего ты его спаиваешь. Вот, салцом закусите».

«Ладно, бабка, твоё дело помалкивать. Ты, парень, если что, не бойся. Никто тебя здесь не выдаст. Пока, а там поглядим. Как себя покажешь. Да гони ты его вон! – загремел он. – Суку этого».

Хозяйка поднялась, отворила дверь, и пёс удалился, заметно припадая на задние лапы.

«Зависит, говорю, как себя поведёшь. Небось там делов наделал... Твоя забота. Я тебя не пытаю. У нас тут закон тайга, медведь прокурор».

Затем последовало молчание, хозяин крутил перед собой стакан, выпил не торопясь, схватил новый пучок, нюхнул.

«По-нашему так. Что Гитлер, что Усатый, все одно... С Гитлером-то, пожалуй, лучше, а в общем, один хер. Пуцай они там себе глотку перегрызут».

«Уже перегрызли».

«Кому?»

«Гитлеру, кому же».

«А Усатый где?»

Гость пожал плечами. «В Кремле».

«А говорят, Кремль сгорел. Французы спалили».

«Дядя, – сказал студент, – когда же это было!»

«Ну, значит, восстановили. М-да. Надо бы ему, – продолжал хозяин, – девку какую найти, дело молодое».

«Найдём», – сказала Васёна.

«Может, Клавку позвать? Давно не виделись».

«Я те дам Клавку».

«Да не мне, не мне!»

«Знаю я тебя. Я те дам Клавку».

«Ладно тебе... Ну, давай, что ли, ещё по одной. Мать! открой консерву, чего он там привёз... Тут до тебя тоже один жил. – Как ты, скрывался... Да ты не трухай, я же не спрашиваю, что ты там натворил. Ешь, пей. Никто на тебя не донесёт. Вот я и говорю, старик здесь жил, в сторожке. Всё молился... Николу видишь? – Он повернулся, показал пальцем. Студент обвел иконы осоловевшим взором. – Да не та, внизу. Учить вас надо... Он оставил. И тулуп евоный. А Богородицу с собой взял».

«Давно?»

«Чего давно?»

«Давно он здесь жил?» – спросил писатель.

«Эва. Тому уж лет сто».

«Как это, сто?»

«Ну, может, чуток меньше. Я его не застал. Люди рассказывали. Лет десять прожил, а потом ушёл».

«Куда?»

«А леший его знает. В тайгу ушёл. А знаешь, кто он был?»

Снова послышалось царпанье, хозяйка отворила, пес воздвигся на пороге.

«Ну, чего тебе?»

«Соскучил», – сказала Василиса.

Кобель вновь намекнул, что не прочь поучаствовать в трапезе.

«Ишь чего захотел».

Не отказался бы и от...

«Ишь ты какая сука, выпить ему захотелось. А вот сопливого моего не хочешь?»

Пошёл вон».

Пёс вскинул жёлтые брови, пожал плечами.

«Старый стал», – заметил хозяин.

Дверь осталась открытой, Козёл, выйдя из сеней, расставил лапы перед крыльцом и, опустив зад, похезал.

Голос хозяйки донёсся: «Вот я тебя!»

«Так кто же он был?» – спросил писатель.

«Старец? Святой. То-то и оно. Царь».

«Какой царь?»

«Государь император!» – вскричал народный человек.

Студент воззрился на него.

«Он самый, – сказал мужик убеждённо, – кто ж ещё. Помер, проводили как положено, ну, там музыка, лошади с эними, – он потряс корявой ладонью над головой, – с метёлками. Николашка на трон взошёл. А он, родимый, ночью, когда все разошлись, возьми и встань с одра смерти. И утёк по подземному ходу. Слиял! Там и одежда была для него приготовлена, вроде как крестьянин. В лаптях поканал. А вместо него верные люди другого в гроб подложили. Вот он тут и скрывался».

(А что, мелькнуло у писателя, может быть, в этом есть и резон – история вне хронологии. История без пресловутого «исторического подхода». Может быть, так и поймаешь за хвост её неуловимый, бессмысленный смысл. Над этим стоило бы поразмыслить, но размышлять было некогда).

Студент заметил, что о старце написал Толстой.

«Это который, Лев, что ль? Правильно, значит, написал».

Писатель сказал, что он однажды видел похороны настоящего царя.

«Это которого?»

«Последнего».

«Врёшь. Это когда же. Тебя тогда ещё и на свете не было».

Подумав, он добавил:

«Видели мы их всех в гробу. Суки поганые... Чтоб им черти на том свете пятки щекотали...»

За перегородкой, где помещалась кухня, Василиса с грохотом свалила охапку дров.

«Да ведь уж топили, Васён!»

Бабий голос ответил:

«Холодно чегой-то».

«Всё сгорит, – бормотал волосатый мужик, – Всё-о-о, – повторил он с видимым удовольствием, – пойдёт прахом! Ну, давай еще по маленькой».

«Егоша, может, хватит?»

«Молчать!»

Выпили еще по маленькой.

«Сказано: всех покараю и не оставлю на камне... Ты читай Писание, там всё сказано. Евреи написали... По-нашему, жида. Умные, гады, всё знают. А насчёт того-этого, ничего не бойся. Тут закон – тайга. А если спросит кто, нет таких, и гребите отседа».

«Я вот тебе что скажу, – бормотал он. – Раз уж пошёл такой разговор... – Он наклонился и зашептал: – Меня тоже нет. Я уж который год живу как бы вовсе не живу. Спроси меня, кто я такой, я тебе не отвечу. Никто! Понял? Чего ты на меня смотришь? А? – мужик стукнул кулаком по столу. – Небось думаешь, налился и ничего не соображает. А на самом-то деле кто тут с тобой сидит? С тобой Григорий Петров сидит! А может, и не Григорий Петров, может, вовсе даже не человек, а так, одна мечта».

«Да что ж это такое!.. Ты его не слушай – болтает незнамо что».

«Нет меня. Убили, пропал без вести. У меня и похоронка есть, там прямо сказано: погиб в боях, за нашу советскую родину. Е...ть её в рот. Нет таких, и всё, и катитесь вы все к едреней фене».

XXII Путь жизни. Утрата девственности

Ноябрь или декабрь

Старуха нашла для него старые растоптанные валенки, телогрейку, треух, писатель бродил по заснеженной пустоши, возвращался к себе, топил печурку, спал, просыпался, читал вслух ветхую Библию, и зверь внимал ему, сидя на поджаром задку, щёлкал зубами, чесался, ловил блох, помалкивал. Однажды, миновав развалившуюся мельницу, перебрались по льду через речку и углубились в лес, пёс залаял, побежал, махая хвостом, провалился в сугроб, хрустнули ветки, белый пушистый убор посыпался с еловых лап, из чащи вышла снежная королева.

Вышла невысокая, присадистая, полнолицая, молодая, на вид лет сорока, в тёплом платке, из-под которого выглядывал белый платочек, в шубейке и маленьких чёрных валенках. Козёл крутился возле неё, она чесала его за ушами, приговаривая: Козлик. А тебя как, спросила она.

«Не хочешь говорить. А я и так знаю», – и пошла вперёд. Пёс выбежал на лёд. Добрели до мельницы, она сгребла ногой снег с единственной ступеньки, оставшейся от сгнившего крыльца.

«Кабы не проломилась», – пробормотала она.

Писатель опустил рядом.

Пёс осведомился, помахивая хвостом: так и будем сидеть?

«А куды нам спешить».

«Вы здесь живёте?» – спросил студент.

«Живём...»

Помолчали, женщина сидела, вытянув ноги в валенках, поправляла платок.

«Живём – хлеб жуём. Чего тебе, Козя? Домой хочешь?»

Она поглядела на белое ватное небо и широко зевнула.

«Чегой-то спать хочется. К непогоде. Потопали, милые».

По дороге разговорились: она жила в посёлке, километров за семь. Да какой там посёлок, полторы старухи. Небось, скучно тебе здесь, сказала она. Писатель ответил, что хозяйева хорошие. И ещё о каких-то пустяках. Григорий Петрович говорит, в сторожке будто бы жил святой какой-то старец. – Какой еще старец, не было никакого старца. – А кто же? – Никого там не было. – Хозяин говорит, давно: сто лет назад. – Ну, это другое дело; мало ли кто жил. Вон у нас помещики

жили, баре; ничего не осталось. – Якобы царь. Об Александре Первом тоже рассказывали, что он не умер в Таганроге, а скрывался в Сибири.

«Ты его больше слушай, – сказала Клавдия, – он тебе наговорит».

«Так и не пойму, кто он вообще-то?»

«Кто... – Она усмехнулась. – Никто, вот он кто».

«Они что, тебе родня?»

«Какая родня – седьмая вода на киселе».

Оттоптали снег с валенок и вошли в дом.

В тот раз ничего не было, и, кажется, прошло ещё сколько-то времени, Клава приходила несколько раз, прежде чем – прежде чем что? Впоследствии же всё выглядело так, словно совершалось в один день.

«Давай помогу, что ль», – промолвила она, вслед за Василисой вышла на кухонную половину и вернулась, неся перед собой ухват с шипящей чугунной сковородой. Хозяин, заросший, как лесной царь, восседал под образами. Клава выбежала в сени – «я сейчас» – там была другая дверь – и вернулась в платочке, из-под которого кокетливо торчала ореховая прядь, в пёстром платье с бусами на груди, с неумело покрашенными губами.

«Ишь ты, ишь ты», – проворчала старуха. Григорий Петрович смотрел на Клавдию из-под нависших бровей. Все уселись за стол. Козя, не дождавшись, когда начнут, уже хлебал что-то из миски.

«Вот это другое дело, – сказал Григорий Петрович, по-хозяйски беря со стола бутылку с бело-зелёной этикеткой, – “Карагандинская”! Караганда-то знаешь, где?»

«Не знаю».

«И не надо знать. Это даже и не Россия».

«Почему же не Россия?» – спросил студент.

«Где брала?»

«Пей, отец, и не спрашивай. Кушайте, милые».

«Снег-то какой повалил. Завалит нас всех», – сказала Клава, наклонившись к окошку.

«Ничего, откопаем тебя».

«Кушайте на здоровье...»

Несколько времени спустя хозяин объявил:

«Всё, напился, наелся. А теперь вот почитаю вам».

«Да ты уж читал...»

«Пуцай послушают. Им будет полезно».

Василиса принесла толстую книгу в пожухлом чёрном переплете, мужик сдвинул в сторону тарелки, нацепил очки, поспешил палец.

Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться.

«Это почему же?» – спросила Василиса.

«Молчать. Слушай и не перебивай».

Писатель спросил, что это за книга.

«Граф Лев Толстой. Слыхал про такого?»

«Слыхал вроде бы», – сказал писатель.

«Вот и помалкивай. “Путь жизни” называется».

Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться.

«Какой же это грех – женитьба, – сказала Василиса. – Чего он там пишет! Сам небось...»

«У Толстого было тринадцать детей», – сказал студент.

«Вот. Это тебе ученый человек говорит».

«Молчать... Много вас, умников».

Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и ещё более губительны для доброй жизни излишества половой жизни. И потому чем меньше отдаётся человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни».

«Вот, — сказал хозяин и строго взглянул на Клавдию. — Тебя касаемо».

«Я-то тут при чём».

«А при том, что женщина — сосуд греховный».

«Какой еще сосуд».

«А вот такой». Чтение продолжалось.

Говорят, что если все люди будут целомудренны, то прекратится род человеческий. Но ведь по церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле, и сама земля; почему же то, что нравственная добрая жизнь тоже приведёт к концу род человеческий, так возмущает людей?

Главное же то, что прекращение или не прекращение рода человеческого не наше дело. Дело каждого из нас одно: жить хорошо. А жить хорошо по отношению половой похоти значит стараться жить как можно более целомудренно.

Григорий Петрович вздохнул и потянулся к бутылке.

«Да уж пил, хватит с тебя», — проворчала Василиса, налила четверть стакана и подала ему. Клава поднесла пучок лука.

«По местам», — сказал хозяин, дожёвывая головку.

Вам сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слова эти не могут означать ничего другого, как только то, что, по учению Христа, человек вообще должен стремиться к полному целомудрию.

Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Называют одним и тем же словом любовь духовную — любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое, духовная любовь к Богу и ближнему, — есть голос Бога, второе — половая любовь между мужчиной и женщиной — голос зверя.

«Вот — поняли? — Он снял очки, уложил в футляр. — Половая любовь — это, значит, когда это самое, — голос зверя! Блядство, по-нашему. Поклонишься зверю, и огню его, и чаше его. Клавушка, — сказал он неожиданно плаксивым голосом, — совсем ты меня бросила...»

Немного спустя разомлевший и подобревший хозяин сидел спиной к столу, расставив ноги в валенках и полосатых портах, с гармонью на коленях, раздумывая Клава обнимала и целовала его в ухо, Козёл спал, головой на полу, разложив лапы, хозяйка полезла на полати. На столе среди тарелок с недоеденной едой, толстых гранёных рюмок, порожних бутылок горела керосиновая лампа, и снег по-прежнему мертво и густо валил за окошками. Со скрежетом растянулись половинки баяна, запели тонкие регистры, заворчали под заскорузлыми пальцами басы, студент неловко обхватил Клаву, почувствовал большую грудь женщины, чашу бёдер, оба раскачивались в каком-то подобии танго, она отступила, баян развернулся. Их-э, й-эх! Йих! — Клава подрагивала, помахивала платочком, поворачивалась, поглядывая из-за плеча, мелко перебирала ногами в толстых вязаных носках, бусы подпрыгивали на её груди, двумя руками она манила к себе студента, увернулась, вновь приблизилась, старик кивал, бил ногой, выглядывал из-под свирепых бровей, как волк из кустарника, во всю ширину изогнул половинки баяна, качался вправо и влево, и вместе с баяном раскачивалась вся изба.

Собака нехотя поднялась, потянулась, сладко зевнула, щёлкнув зубами. Козёл пристроил передние лапы на шаткую лесенку, сделал попытку вспрыгнуть. Хозяйка с печи протянула ему руки. Писатель подхватил Козю сзади, и пёс вскарабкался на лежанку. Сильно коптила лампа. Клава подбежала и прикрутила фитиль. Писа-

тель следил, как мужик, босой и взмокший, расставив ноги в портах, держал на коленях женщину, как отколупывал толстыми пальцами пуговицы на груди у Клавы. Пёс, моргая, смотрел сверху на них.

«Козя, чегой-то он делает, а? Сам говорил, сосуд греховный...»

«Клавушка, – лепетал Григорий Петрович, – пойдём со мной...»

«Куда это?»

«На сеновал пойдём».

Клава вздохнула: «Беда мне с вами... Ладно, – сказала она, – повеселились, и будет. Я домой пошла. Ну вас всех...»

«Клавушка, – всхлипнул мужик, – да куда ты пойдёшь. В такую темень... И до-рогу-то небось замело».

Они вошли в сторожку. В темноте Клава нашарила на столе спички, засветила коптилку. Писатель сидел на топчане. Женщина развязала платок, расстегнула шубейку, сидела на коленях перед печуркой.

«Старик-то наш как разошёлся, а? На сеновал захотел... Козёл сладострастный. У них и сеновала-то никакого нет, скотину не держат, зачем им сеновал?»

«Ты с ним... у тебя с ним было?» – спросил студент.

«Было, не было, тебе какое дело».

Она насовала в печурку бумагу, щепу, втолкнула поленья, дверца не закрывалась. Повозившись немного, чиркнула спичкой, подождав, затворила дверцу и опустила защёлку.

«Было, да сплыло», – сказала она.

«Слушай, а кто же он всё-таки?»

«Петрович? Зачем тебе знать – так уж приспичило? – Она поднялась, отряхнула коленки. – Дезертир, вот кто! Когда война началась, они с бабкой в городе жили. А у них в деревне дом. Успел он попасть на фронт, али нет, не знаю».

«Сколько ж ему лет?»

«А Бог его знает. Сразу-то не забрали, вроде бы справкой обзавёлся. А потом и до него дошла очередь. Только через месяц он вернулся, говорит, комиссовали, а у самого фальшивый паспорт, на чужое имя, это я точно знаю... Ну вот, пожил немного в деревне, а потом сюда, так всю войну и пересидел. Хи-и-итрый мужик».

«Ты смотри не говори, – добавила она, – что я тебе рассказывала».

«Я тоже», – сказал студент. Сказал неожиданно для самого себя.

«Что – тоже?»

«Убежал. Меня вроде бы собирались арестовать».

Пламя гудело в печурке, стало тепло. Клава уселась рядом с ним. Теперь она была без платка, встряхнула ореховыми волосами.

«Взопрела. – Она стащила с себя шубейку. – Давай и ты раздевайся. Чего ж ты думаешь, мы не догадались, что ль».

«О чем догадались?»

«О чём, о чём... Не надо об этом, – зашептала она, – что там с тобой было, никому до этого дела нет... Смотри только, никому больше не говори... Бог с ними со всеми... Обойдётся, забудется. А мы с тобой сейчас поженимся. Давай, сымай».

Она снова присела перед печкой, железо уже начало багроветь вокруг трубы. Клава отворила рукавицей дверцу, закинула ещё два полена в огненное чрево.

«А это нам больше не нужно» – и задула коптилку.

«Вот сюда, – шептала она, засовывая к себе под сорочку руку студента. Её грудь с твёрдым соском влилась в его ладонь. – Поласкай, поласкай... и другую тоже... а теперь вот сюда... И я тебя поласкаю».

Он почувствовал её руку, медленную, глядящую, обнимающую.

«Нет, нет! – сказал он испуганно, – постой!»

«Всё... не буду... Тесно тут... – проговорила она укладываясь на топчан, – ничего, как-нибудь... Ну, иди».

Причащение чаше и огню совершилось в несколько мгновений.

XXIII Слово «документы» в этой стране всегда означает: паспорт

5 марта 1949

Не каждый год, хоть в Азии, хоть в Европе – а где, собственно, помещается наша Россия, в какой части света, никто толком не может объяснить, мы ведь сами часть света, не Европа и не Азия, – не каждый год бывает такая ранняя весна; тебе, приятель, повезло. Вокруг ещё громоздились пласты жёсткого ноздреватого снега, земля не успела расступиться, а небо уже дышало пьяной влагой, и дорога, в хрупком стекле луж, блестела на солнце. Всё с тем же заплечным мешком странник шагал по обочине, всё та же на нём ватная телогрейка, фантастическая, некогда фетровая, шляпа, на ногах кирза. Он предполагал часа через два добраться до деревни. А что там? Свет не без добрых людей, сказала Василиса: неделку-другую проболтаешься, а там, Бог даст, вернёшься. Да, но... Петрович. Это было одно из тех подозрений, которые никогда не удаётся ни подтвердить, ни опровергнуть.

Две ночи подряд выла собака. Птица билась в окошко. В облаках мелькал серебряный месяц. Старуха гадала на червонного короля, выходило – дальняя дорога. Ещё ничего никто не знал. Что-то чувствовалось. Через два дня Клавдия явилась с новостью: ждут какое-то начальство. Может, и облава. На кого облава-то? А кто их знает. Люди бают, а я почём знаю. Да что говорят-то? Постановление вышло, слышал кто-то: об усилении мер. Вроде банда объявилась, грабят, поджигают.

Сказала и пожалела. Григорий Петрович, волосатый хозяин, сидя в углу под образами, где он, казалось, проводил всё время, вынес решение: не про нас это. Мы не воры, не разбойники, нас не касает. А ты, парень, отседа вали. И Василиса снова: ты там побудь где-нибудь, а потом назад вернёшься. Петрович уточнил: поглядим. Да смотри: о том, где жил, у кого, – никому, понял? Было ясно, что он струсил.

Позже Клава объяснила. Начальство начальством, может, и вправду вышло новое постановление, да не в том дело. «Ты что, не усек, что ли?»

Это была ее версия. Старый козёл возревновал. Но это же не новость, возразил студент.

«Что не новость?»

«Что мы с тобой».

До сих пор как-то обходилось. Изредка она уступала Петровичу. Даже, пожалуй, не так уж и редко.

«А что поделаешь. Только я прямо сказала: если его прогонишь, на меня больше не рассчитывай, уйду. А потом и вовсе».

«Что вовсе?»

«Перестала ему давать, вот что!» Значит, почувствовал, что тут настоящая любовь.

Писателя томило неуместное любопытство. Он спросил:

«Скажи, Клава, а кто из нас лучше?»

Она ответила просто:

«Кто лучше умеет? Он».

«Он?»

«Ну да. Милый, – сказала она, – да разве в этом дело?»

«А я думал», – пробормотал он.

«Чего ты думал?»

«Что для тебя это важно. Ты такая страстная...»

Она засмеялась.

«Страстная, да. Только это одно дело, а любовь – другое. Учить тебя надо...»

Словом, Петрович ждал повода. Струсить, может, и струсил. Но главное, искал повод избавиться. Только я ему тоже не подстилка, сказала она.

«Ты там побудь немного, – шептала она, – подожди меня. Я к тебе приеду. Я всё приготовила, у меня и деньги есть, и всё. Поедем в Уфу, у меня там тётка живёт. У неё все знакомые. Паспорт тебе другой выправим. Устроишься где-нибудь. Будем жить с тобой...»

Он хотел спросить: а может быть, Григорий Петрович попросту донёс на него? Известил там кого надо. Решил, наконец, от него избавиться.

Ночью лежали, обнявшись, на жаркой скрипучей кровати у Клавы, засыпали и просыпались, давай напоследки, а вот я тебя научу, ещё так, бормотала она, проявив незаурядную изобретательность, тяжело дыша, лаская и будоража его плоть, и новые силы рождались, словно дело и назначение пола всё ещё не были исполнены до конца. Стало ясно, что означало это предчувствие последних дней, он понял, что эта часть жизни завершилась. Пробудившись, он увидел яркий свет в низких окошках. Сел, мучительно зевая. Было тихо. И пришло отрезвление. Он ничего не понимал. Зачем, собственно, всё это, зачем понадобилось бежать из Москвы? Ложная тревога, и доказательством было то, что никто так не разыскал беглеца. Никто и не разыскивал. Нелепый разговор со старухой в университете, кто её знает, откуда она взялась. Всё предстало в ином свете: в Египте мы сидели у котлов с мясом. В Египте остались Наташа, Аглая...

«Батюшки, проспали!»

Клавдия вскочила с постели.

Писатель ел ложкой яичницу с чугунной сковороды. Клава запихивала в мешок дорожные харчи. Солнце стояло уже совсем высоко, а он всё шёл и шёл, и ничего не было видно впереди, кроме сизой кромки лесов. Медленно наползали оттуда дымные графитовые облака.

Неизвестно, в котором часу он добрёл до деревни; начинало смеркаться. Сыпался лиловый снег. Ни звука, ни лая собак. Избы заколочены досками крест-накрест, кое-где висели на окошках полуоторванные ставни. Кто-то обитал за этими окнами; деревня, явно не та, о которой говорила Василиса, была населена призраками. Тем лучше. Снег шёл всё гуще. Давно уже промокли сапоги, одежда набухла влагой. Попрошусь, думал он, переночевать. Так он дошёл до конца короткой улицы, из мглы явились остатки кладбищенских ворот, церковь со сбитой маковой. Тут он увидел, что в проломах окон мерцает огонь.

Странник вступил на паперть, приоткрыл тяжёлую дверь. Пахло дымом, в полукруглом каменном зале на полу был разложен костёр. На стенах смутно виднелись полустёртые лики святых. Вокруг костра на тряпье сидела компания. На вошедшего обернулись. Он поздоровался.

Никто не ответил. Студент топтался, не решаясь что-нибудь сказать. Кто-то промолвил: «Эва, да это Андрюха». Другой возразил: «Какой тебе Андрюха».

Спросили: «Ты кто такой?»

Он пожал плечами.

«Ты чей будешь-то?»

«Ничей», – сказал студент.

«А ничей, так садись».

Ему подстелили что-то. Он снял мешок с плеч и опустил на пол.

«Вот, – сказал он, выложив свои припасы. – Не хотите?»

«А выпить не найдётся?»

Писатель вытащил бутылку, заткнутую бумагой, сокрушённо развёл руками.

«Воды у нас тут и так хватает, – сказал старшой. – Ну давай, что там у тебя».

Компания оживилась, старшой крикнул. Тащи из нашего эн-зэ, сказал он, раз такое дело. Поднялась фигура в лохмотьях. Пошёл следом за ним и старшой, тощий бородатый мужик. Несколько минут спустя он вышел из царских врат, облачённый в старую фелонь, с медным наперсным крестом и в камиллавке, за ним шел второй с бутылью.

«Благослови, Господи!» – вогласил старшой. В костер полетели щепки, обломки досок. Скудная снедь была разложена на чём-то. Мутный самогон пошёл по рукам.

Что же произошло потом? Всё приключение было недолгим, по крайней мере таким казалось впоследствии. Засыпая, писатель думал о том, что это, пожалуй, неплохой выход – прибиться к ним на какое-то время.

Он увидел себя на дороге, или это был переулочек его детства, кто-то шёл навстречу, раскрыв объятая, говорил, кричал ему в ухо, как он рад, что всё так счастливо сложилось. Писатель открыл глаза, его ослепил карманный фонарик. Человек в чёрных валенках с галошами, в шинели и шапке тряс его за плечо.

«Что? Кого?» – пробормотал студент.

«Ваши документы?».

«Какие документы?»

«А ну, поднимайся», – сказал милиционер.

XXIV Смерть – если это была смерть

1953 год

1

Карлик знал, что он излучает страх, поле страха окружало его, как электромагнитное поле, чье напряжение возрастает обратно пропорционально квадрату расстояния от генератора: самый большой страх испытывали соратники. Карлик гордился этой способностью и должен был постоянно тренироваться, чтобы сохранить форму, как тренируется спортсмен или упражняется музыкант-виртуоз.

Как всякий, кто убил очень много людей, он сам был одержим страхом за свою жизнь; оттого, быть может, это чувство было ему ближе и понятней других человеческих чувств. Но ужас сродни восторгу – карлика можно было только обожать; страх, думал он, не может быть ничем иным, как доказательством любви; страх – это и есть любовь. Сидя в одиночестве в глубоком кресле, в углу тёмной ложи, он смотрел на злого волшебника Ротбарта, который махал красными матерчатыми крыльями, наскакивая на отважного серебристо-голубого принца Зигфрида, а снаружи, над двухколёсной повозкой греческого бога, над восьмиколонной глыбой театра и опустевшей площадью, вокруг могильных фонарей, металась мокрая зима. И танцовщики, и оркестранты, и дирижёр, и рабочие сцены, и переодетая охрана в партере и на ярусах, в фойе, в коридорах и на лестничных площадках, за кулисами и позади колосников – все испытывали на себе воздействие радиационного поля вождя. Но случилось так, что дирижёр, тучный старик во фраке со звёздочкой лауреата, как-то по особенному, слишком высоко взмахнул палочкой, и неслышно распахнулась тайная дверь ложи. Пахнуло холодом, карлик занёс указательный палец над кнопкой тревоги – сработал мгновенный рефлекс – и медленно повернул седую голову. Бледная особа, вся в белом, подчёркивающим её худобу, вошла, готовая к услугам, приложив палец к губам. Силуэт дирижёра в оркестровой яме размахивал руками, кланялся и раскачивался. На сцене бушевал ураган. Всё поехало в сторону; он не успел нажать кнопку из-за внезапного головокружения. Бледная дама исчезла. Таковы были обстоятельства первого предупреждения.

Карлик знал, что история абсолютно детерминирована, подчинена железному закону, и знал, что закон, безошибочно правящий историей, — это он сам: без этого убеждения он не мог бы стать тем, кем он был. Ошибки совершали другие. Однажды некий писатель, прибывший по приглашению, как все они, чтобы восхитаться, теперь уже невозможно вспомнить, как его звали, расхрабрился и задал вопрос: зачем столько портретов человека с усами? Вопрос понравился карлику, он объяснил. Зарубежный гость не понимал, что всеобщее поклонение было не чем иным, как гордостью за страну: с ним, под его руководством она стала первой в мире. Он ответил, что не может отвечать за других: народ любит его, ничего не поделаешь. И это было правдой. Ни на одно мгновение народы не должны были забывать, что он здесь, со всеми и над всеми, что в его окне, в Кремле, всю ночь горит свет. Всю ночь, полный дум, он расхаживает в своём кабинете. Карлик был цельным человеком. То, что не удавалось другим — писателям и политикам, — монолитная мысль, — достигалось ценой гениального упрощения. Ухватиться за главное и вытянуть всю цепь. Вот решение задачи, какой бы запутанной она ни казалась. Как если бы всё можно было вытянуть в цепь, выстроить в одну линию. Но ведь надо только уметь взяться, и окажется, что так оно и есть.

Не зря подростком он учился в семинарии. Сказано в Писании: твоё «да» пусть будет «да», твоё «нет» — «нет». И дальше что-то о тёплом — ни холодном, ни горячем. Эти церковники были не дураки. Нет, тёплым им никогда не был. Он был холоден, он был горяч. Он ненавидел историков, вечно твердивших о том, что события надо рассматривать одновременно и так, и сяк. Карлик смотрел в корень. Он упростил историю. В этом была его сила, его гений. Раньше других он внял тайному зову истории. Из глубины веков ему подавали приветственные знаки его предшественники, великие государи Руси. Он сам стал величайшим русским государем. Не только восстановил в её исконной целостности российскую державу, но раздвинул её границы ещё дальше.

Он был по-своему неглупым, этот человек с сидящими усами. Две вещи он усвоил основательно: что власть окружает властителя особым ореолом и что властителю нужен стиль. По поводу первого пункта следует сказать, что существует очарование власти. Власть рождает величие, а не наоборот. Люди жаждут иметь над собой повелителя, наделённого всемогуществом, всеведением, всевидением, — носителя абсолютной правоты. Таким его делает власть. Он внушает священный ужас, чтобы тотчас смягчить его доброй улыбкой, незлобивой шуткой. И чудо: в его устах плоский юмор превращается в тонкое остроумие, банальность — в прозрение, пустые, ничего не значащие слова заключают в себе высшую мудрость. Всё это делает власть.

Следует отметить: принцип единоначалия не противоречит марксизму. Впрочем, и великое учение требует поправок. Нужен новый вклад в сокровищницу. Учение учением, а политика есть политика. Она предъявляет свои требования.

Что касается стиля, то он выработал его по контрасту. Он создал противовес говорунам, окружавшим Ленина, которых он ненавидел, и первому среди них, умевшему заечь толпу на митингах. И самое главное — противовес заклятому врагу, в котором увидел было союзника. Этот горел, пылал, бесновался, яростно жестикулировал, шагал вдоль шеренги своих янычар, с выброшенной рукой, задрав туфлеобразный нос под лакированным козырьком. Это был нерусский стиль. Русскому народу претит всякая театральность. Карлик был воплощённая скромность. Он был спокоен, прост, в полувоенном френче и фуражке скупно приветствовал ликующие массы, скупно, вдумчиво ронял слова, подкреплял их коротким указующим жестом.

3

Вскоре после этого последнего, как оказалось, посещения «Лебединого озера» он призвал ближних соратников, как обычно, смотреть кино: в полумраке сидели в низких уютных креслах в маленьком зале, это была «Клятва», эпохальный фильм с любимым артистом Геловани. Да, карлик был скромен. Но народу нужен не только такой вождь: ещё больше нужен двойник в белом мундире с брильянтовой звездой на шее, в широких золотых погонах, чуть-чуть седеющий, нестарый и нестареющий. Искусство и Судьба уготовили артисту эту историческую роль. С некоторых пор ему было запрещено бывать на людях. Геловани скрывался в своём замке в Кутаиси, соратники видели его, как и обычные люди, только на полотне. Карлик смотрел картину много раз, знал её наизусть, и всякий раз испытывал чувство, что это и был настоящий вождь, его подлинное воплощение, а сам он лишь замещал вождя. Нельзя сказать, чтобы это двойственное чувство было таким уж неприятным. В нем содержалась толика гарантированного бессмертия. Не то же ли ощущали его соратники? После кино все отправились на ближнюю дачу. Карлик шутил, пил и ел с аппетитом, играя, замахивался на сотрапезников; было видно, что недавний отдых на Кавказе пошёл ему на пользу. Между делом обсуждались дела.

Было выдвинуто предложение (как выразился кто-то из сотрапезников, «думается, назрело время») ввести новый термин, венчающий великое учение. Вместо «марксизм-ленинизм» — *марксизм-ленинизм-сталинизм*. Для начала целесообразно применить в лозунгах ЦК к Первому мая. Роль терминологии, новых слов чрезвычайно велика. Они знаменуют новый этап. Карлик слушал, но ничего не сказал. Предложение повисло в воздухе.

Говорили о погоде, о югославском ренегате и о только что открывшемся новом заговоре. Разливая вино, карлик поинтересовался ходом следствия, и все глаза обратились к первому человеку. Ждали подвоха. Тучный шеф государственной безопасности засопел мясистым носом, блеснул стёклышками пенсне, нити заговора врачей-убийц, сказал он, ведут глубоко. Это было то, чего ожидал от него божественный карлик. Он погрузился в задумчивость, покрутив бокал, взвешивая каждое слово, заметил, что напрасно кто-то думает, будто старые заслуги освобождают от ответственности. Жутким ветерком повеяло. Вот так, сказал он веско и снова взялся за бокал, тотчас вознесли свои чаши все остальные. Вино было проверено, на всякий случай он проследил, чтобы сделали несколько глотков. Было нелегко отделаться от тяжёлого предчувствия. Вождь отхлебнул сам. Всё-таки это был хороший признак. Настроение улучшилось, заговорили о том, о сём; на рассвете, сильно нагрузившись, выбрались из-за стола, хозяин был или казался навеселе, однако твёрдо держался на своих коротких ногах, обутых в мягкие сапоги, поглядывал снизу вверх каждому в глаза, похлопывал по плечу. Было около шести часов утра. Огромные чёрные лимузины развезли сопящих, полуживых сотрапезников по домам. Розовая заря осветила зубчатую цитадель. Ничто не предвещало беды.

В полдень раздался звонок из подмосковной дачи. Голос дежурного генерала доложил, что вождь не вызывает к себе, как обычно делал в этот час.

4

В то роковое утро он видел сон, в тягостном сознании, что его постоянно отвлекают от важного дела; просыпаясь, он думал: какое это дело? Солнце его жизни клонилось к закату, карлик отбрасывал длинную тень гиганта. Долгой казалась ему его жизнь и вместе с тем — неоспоримый признак старости — как бы

вчерашней. Иногда он был даже убеждён, что так оно и есть, и поправлял себя: не сколько-то лет тому назад, а на прошлой неделе.

Подобно спириту, он искал подбодрения и совета у предков. Некогда царь Иван Грозный притворился умирающим, чтобы увидеть, кто из ближних ждёт его смерти. Это была неглупая мысль. На последнем пленуме отчётный доклад вместо карлика делал второй из ближайших, тучный, мучнистый, с некоторых пор при перечислении имён его имя стояло сразу после имени вождя, что давало повод для тайных злорадных размышлений о кураторе госбезопасности, который как будто оказался передвинутым на второе место. Закончив, как полагалось, здравицами, докладчик переждал аплодисменты, вернулся на своё место за столом президиума и возгласил: «Слово предоставляется товарищу...» Этого ждали и не ждали. Зал, едва успевший отхлопать ладони, снова грохнул аплодисментами. Теперь карлик поднялся со своего места, медленно сошёл по трём ступеням к пульту. Всё ещё продолжалась, не могла утихнуть неистовая овация. Вождь свирепо усмехнулся. Поднял, наконец, руку, укротил восторг, дал понять, что время заняться делом. Сумрачным взором обвёл притихший зал. И заговорил глухим желудочным голосом. Знал ли он о том, что это его последняя речь?

Как всегда, он был мудр, нетороплив, загадочен. Поразил всех. Он сказал, что он стар и близится время, когда другой займёт его место. Этого никогда не могло случиться, но так он сказал. Другой взойдёт на вершину вершин. Но кто? Сумеют ли преемники закрепить и умножить достигнутые успехи, проявить твёрдость в борьбе с врагами? Нет, – и он скорбно покачал седой головой. Одного примера достаточно: стоило только удалиться на несколько дней, дать себе короткий отдых, как они наделали уйму ошибок. Так он подверг большевистской, ленинской, нелюбимой критике ближайших соратников. Их поведение граничило с преступлением. Услышав это, шеф безопасности блеснул стёклышками пенсне. Так, взлетев, вспыхивает на солнце топор палача.

И тут он остановился, сделал паузу и совершил гениальный ход конём. Сказал, что готов и дальше выполнять свой долг, оправдать доверие и нести бремя. Готов оставаться Генсеком, а также по-прежнему исполнять обязанности председателя Совета министров. Но от должности ведущего заседания Секретариата просит его освободить.

Он был разочарован, когда после мгновений всеобщего замешательства тот, с тестообразным лицом, второй из ближайших и, несомненно, метивший в наследники, воздел руки, громогласно простонав: «Нет, просим остаться!» И тотчас зашумел, взроптал Свердловский зал. Просим остаться! Просим остаться! Карлик понял – как понял Грозный, – что кто-то там в президиуме клюнул было, но опомнился, кто-то чуть было не выдал себя, но вовремя разгадал игру.

5

Не следует ожидать от хрониста (или кого бы то ни было), что он представит единственно верную сводку событий; было бы странно, если бы дальнейшее выглядело неопровержимым, а не осталось зыбким, так и сяк истолкованным, если бы конец карлика не был опутан клубком сплетен, квазиисторических версий и легенд. История, как и религия, апеллирует к фактам, но требует веры. Трещины действительности тем глубже, чем меньше мы ей доверяем.

Спустя немного времени в кабинете на подмосковной даче зажёгся свет, стража вздохнула с облегчением. Но отшельник по-прежнему не давал о себе знать. Сколько часов прошло после этого, никто не знает. Прибыли соратники. Когда после долгих сомнений, тревожного перешёптыванья, пререканий, кто первым откроет дверь, все вместе, наконец, втиснулись и вошли, оказалось, что спальня

пуста. Карлика нашли в большой столовой на полу, в ночной сорочке и пижамных штанах. Было одиннадцать часов вечера, карлик спал.

Он спал, но это был необычный сон. Карлика перенесли на диван в малую столовую. Снова споры и колебания: дать ли ему выспаться? Вызвать врачей? Оба решения были одинаково опасны, ибо явление белых халатов означало бы, в случае если вождь проснётся, что они сочли его опасно больным. Отсутствие же врачей можно было истолковать как желание дать ему очучуриться беспрепятственно и поскорей. В итоге прений сочли за благо удалиться, дабы карлик, пробудившись, не увидел, что они оказались свидетелями происшедшего: спящий обмочился. Больному человеку это простительно; но тогда получается, что он в самом деле нездоров, – и они вышли на цыпочках, с величайшей осторожностью, а место возле ложа в малой столовой заняла, незаметно явившись, ни с кем не здороваясь, высокая дама в белом.

6

Наступил первый день марта, годовщина убийства императора, когда грянул взрыв, покалечивший лошадей, и самодержец вышел из кареты, и второй злоумышленник, подбежав, бросил пакет с бомбой между собой и царём; роковая годовщина, о которой карлик, всё больше ощущавший себя византийцем, запретил вспоминать.

Минувшая ночь казалась далёкой, снова прибыли на дачу; уже много часов из покоев вождя не поступало сигналов. Профессора и академики медицины первыми вошли в малую столовую, и вслед за ними соратники.

Никто не решался приблизиться к карлику, словно он был под током в тысячу вольт. Главный академик первым притронулся пощупать пульс. Правая рука и правая нога были парализованы, лицо, изрытое мелкими рытвинами, след перенесённой оспы, было перекошено, и левая щека отдувалась при дыхании. Больного переодели и внесли в большую столовую, где больше воздуха. Карлик издавал неясные звуки. К нему входили в носках. Как тяжесть перекрытий распределяется по опорным столбам, так члены консилиума разделили между собой тяжкое бремя ответственности. Было назначено безопасное лечение: кислородные подушки, уколы камфоры и кордиамин. Все понимали, и никто не смел признаться себе, что лечение уже не поможет. Однако на другой день приоткрылся один глаз, перекошенное лицо зашевелилось. Карлик улыбался. Поднял левую руку, показывал пальцем в пустоту. Возможно, в эту минуту дама-сиделка в белом, на которую старались не обращать внимания, появилась в дверях, он первым её увидел. Шеф тайной полиции склонил над ним мясистый рублик, воззвал: «Товарищ С.! Здесь находятся члены Политбюро. Скажи нам что-нибудь». Карлик подмигнул и ему. Вдруг послышался шум, крупное цоканье сапог, в расстёгнутой генеральской шинели в столовую ввалился Василий, он был пьян. «Суки, сволочи, загубили отца!..» Он стоял, закрыв лицо ладонями и надрывно рыдал. Академики не решились отменить лечение, задачей которого было не дать повода для подозрений. Пора было принимать ответственное решение. Поспешно прибыл перепуганный до немоты главноначальствующий всесоюзного радиовещания. Шеф безопасности лично составил текст. И голос главного диктора страны, торжественно-загробный голос, в квартирах и на столбах, в далёких городах, где солнце, поднявшееся из-за Курил, уже клонилось к закату, в горячих степях и за Полярным кругом, в тайге, в бараках для заключённых и казармах охраны, возвестил о тяжком недуге вождя.

Новость дошла до всех ушей, но никто не решался признаться, что он понял истинный смысл этих слов: «потерял сознание». В школах плакали учительницы. В таёжных дебрях рыдали медведи и лоси. К платформе Белый Лух сто второго

километра лагерной железной дороги подошёл состав с уголовной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось высосанное лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал:

«Ус подох!»

7

Если это был он. Сказание о двойнике – секулярная оболочка бессмертия. Некогда в дни Первомая и Седьмого ноября вождь с трибуны мавзолея приветствовал свои портреты на знамёнах, на палках, на брусьях-носилках. Народ изображал демонстрацию. Демонстрация изображала Народ. Был ли (логически рассуждая) стоявший на трибуне в свою очередь изображением Вождя? Издалека, за цепью охранников, видели великого человека в усах, в шинели и фуражке. Карлик вёл мистическое двойное существование. Но кто бы ни был тот, на трибуне, он был кем-то, был во плоти. Мало-помалу, однако, он растаял и растворился в субстанции жизни, как Бог пантеистов в природе или как беллетрист в своём романе. Остались портрет и глухой желудочный голос. Этот голос обратился к подданным на двенадцатый день после вражеского вторжения. В замечательном фильме «Клятва» карлик-великан в белом мундире, в День Победы, выходил из самолёта к народу. Когда же, наконец, по прошествии лет, карлика увидели в его неподдельном естестве, его уже не существовало; получалось, что он вернулся к действительности, когда его больше не было, явился во плоти после того, как плоть умерла.

Он лежал в цветах и лентах, в мундире, застёгнутом на все пуговицы, в золотых погонах, со звездой, усыпанной брильянтами, лежал по стойке «смирно», вытянув руки вдоль короткого туловища, смежив орлиные очи. Бледная дама уже не раз появлялась в эти дни и на этих страницах; сейчас она сторожила у изголовья. Выскочил откуда-то чёрный мальчик, ангел со стрекозиными крылышками, ее сын, вскарабкался к усопшему и поцеловал его в усы. Никто не обратил на него внимания, в рассказах очевидцев о нем нет ни слова. Он стал у ног почётного караула: по обе стороны гроба застыли тучный шеф тайной полиции, мучнисто-ожирелый наследник, впавший в детство первый маршал и другие. Рыдала музыка, отдалённо напоминавшая траурный марш Шопена. Но был ли тот, чей профиль виднелся над пышным кружевным глазетом, тот, мимо которого, подгоняемая стражей, семенила, спешила толпа плачущих, смертельно напуганных и осиротевших, – ибо никто не знал, что с ними будет дальше, – тот, чью реальность удостоверил факт смерти, так что нельзя было уже сомневаться, существовал ли он на самом деле, – был ли он *Тот самый?*

Между тем человеческий фарш запрудил все пути к Колонному залу. Живое месиво колышется на Манежной площади, в Охотном ряду, на Театральной площади и площади Революции. Ожило древнее чувство конца времён. Храпят, задирая морды, кровные кобылицы, переступают точёными ногами, конная милиция поддаётся, теснимая толпой. Визжат женщины, вскрикивают затёртые и затоптанные. Люди ищут спасения в подъездах и подворотнях. Темнеет. В плачущем свете фонарей толпы всё ещё волоклись, не зная пути, пробивались к вокзалам, искали ночлега. Солдаты прыгивали с грузовиков, собирали трупы задавленных, раненые лежали вповалку в приёмных отделениях больниц.

Чем меньше мы верим в действительность, тем шире, как на треснувшей льдине, расходятся в стороны её расщелины. Слухи о том, что народу показан был кто-то другой, почти приблизились к градусу достоверности, когда стало известно из неизвестных источников, что вождь, преданный соратниками, скрывшийся от врачей-убийц, никем не uznанный, переодетый, в ожидании своего часа, жив и работает подметальщиком в Мавзолее. Это был Геловани.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV Человек-призрак

15 апреля 1955

Почеши в затылке, приятель, признайся: когда думаешь о событиях, именуемых судьбоносными, о войне народов, об отечестве лагерей, ты кажешься себе плохим патриотом, тебя не оставляет холодная, безнадежная мысль. Охватывает злое, обывательское, подозрительное чувство, что *они* хотят тебя погубить, сгноить и только и ждут удобного случая, что *им* это ничего не стоит. Кто же эти «они»? Им нет имени. Таково твоё чувство Истории.

Ты её раб, ты не ведаешь, кому и чему ты служишь, ты мобилизован на какое-то изнурительное строительство, за которым последует разрушение, и новое строительство, и снова развал, и так без конца, – а меж тем биотоки мозга, биение сердца, таинственная озабоченность желёз внутренней секреции ткнут твою душу, и она покидает тленный субстрат, чтобы взвиться над миром и соединиться с душами других людей, – что для неё войны и перевороты?

Человек сотворил этого Голема для того, чтобы Голем расправился с ним. Человек откармливает историю, чтобы злобное животное принялось затем по кускам пожирать человека. Надо сопротивляться. Надо сопротивляться! Хотя бы это было то же, что сопротивляться вращению Земли. Постарайся же уцелеть – вот в чём твоё единственное достоинство. Выжить – единственная форма сопротивления. С точки зрения истории твоя жизнь значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Бывшие артиллерийские, выбракованные и свезённые на край света лошади из последних сил выволакивают нагие стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха.

Ясным утром, в шестом часу московского времени, мимо вагонов только что прибывшего экспресса, мимо потного и отдувающегося локомотива, в толпе усталых пассажиров брёл, таща за полуоторванную ручку перевязанный верёвкой деревянный чемодан, приезжий из дальних мест.

Милиционер, скучавший у входа в пассажирский зал, издали наколол его опытным взглядом, подождал, когда тот приблизится, поманил пальцем.

«Ваши документы».

Мы уже знаем, что это означало, но путешественник не имел паспорта. Путешественник извлек из глубин своего одеяния сложенный вчетверо листок. Сержант развернул справку, посмотрел на приезжего, на фотографию и снова на приезжего, оглядел его с головы до ног, от буро-рыжих валенок до шапки-ушанки с оттопыренным козырьком рыбьего меха, и повёл за собой в дежурную комнату.

В чемодане оказались книги. Это по-каковски же будет, спросил сержант с некоторым разочарованием, встряхнул и полистал наугад две-три книжки. По-французски, робко сказал приезжий, и дежурный, поколебавшись, кивнул и махнул рукой: дескать, проваливай. Пассажир следовал по месту назначения, указанному в документе, от столицы сто километров с гаком, конечная остановка пригородных поездов, ну и шагай куда положено, на другую платформу; путешественник так и сделал. Но, спустившись вниз по лестнице подземного перехода, помедлил, вернулся назад и, оглядевшись, поспешил к выходу на вокзальную площадь.

Некогда император Карл Пятый похвалялся тем, что над его владениями не заходит солнце. Писатель имел счастье жить в стране столь обширной, что и над ней, как над империей Карла, не заходило солнце; только это было ночное солнце.

Ночь спешила навстречу, покуда на плохо смазанных, визжащих колёсах вагоны континентальных поездов везли его, громыхая на стыках.

Не оглядываться! Превратишься в соляной столп. Громыкнул засов, и, выйдя из проходной, с чемоданом на плече, по знакомой дороге он двинулся к станции. Раз в сутки отправлялся на юг по местной узкоколейной дороге поезд, состоявший из двух трофейных пассажирских вагонов для военнослужащих и вольнонаёмных и полудюжины теплушек для контингента. В тамбуре, где сидит конвой, топится железная печурка, отсюда и название. В самом же вагоне, запахнувшись поплотней в ватные рубища, слипшись в неразличимую массу, сидит на полу, клацает зубами контингент. Арестант, всё ещё арестант, всю ночь ехал до комендантской столицы, единственного населённого пункта, который можно было найти на картах этого края. Сутки заняло оформление вышеупомянутой справки. У него спросили: куда едешь? Он ответил. Ему сказали: туда нельзя. Он это знал заранее и назвал городок за сто первым километром, ему выдали билет.

Подошёл поезд из Котласа, пассажир спал, качаясь на багажной полке под потолок, подложив под голову чемодан. В Горьком толпа, штурмом бравшая вагон на Москву, едва не сбила его с ног. Он смотрел на них: это были свободные люди. Провёл ночь на вокзале и ещё одну в вагоне.

Под нежно-розовым, перламутровым небом пустынная привокзальная площадь отсвечивала тусклым металлическим блеском, блестели, как слюда, окна домов, розовели лужи, ночью прошёл дождь. Путешественник вспотел в ватных доспехах и дрожал от холода в непросохших валенках. Время от времени он чувствовал себя персонажем чьего-то сна. В этом сне он стоял на кромке тротуара, не решаясь приблизиться к веренице машин с кубиками на бортах. Таксист презрительно косился на его одеяние. Приезжий протянул смятую трёшку.

Он высадился в переулке напротив чехословацкого посольства, брёл в своих валенках, оставляя на тротуаре влажные следы. Ничего не изменилось в подъезде дома, построенного бароном Терентием Карловичем Тарнкаппе. Всё те же три истёртые ногами поколений каменные ступени, и по-прежнему из окна наверху, между маршами лестницы, сочится призрачный свет. Сто лет назад нужно было подпрыгнуть, держа наготове палочку, чтобы ею достать до кнопки звонка. Он надавливает на пуговку и слышит робкое треньканье звонка в коридоре. Тишина, бесконечно тянущееся время, незванный гость нажимает ещё раз. Наконец, шаги, чужой женский голос. Я, сказал путешественник. Там не расслышали; голос повторил: кто там? Дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Он увидел бледное лицо, встрёпанные волосы, блестящие заспанные глаза, женщина стояла в халате поверх длинной ночной рубашки.

«Ты?!» — произнесла она наконец. Гость кивнул, пожал плечами.

Спихватившись, она захлопнула дверь, несколько времени длилась тишина, звякнула цепочка, дверь открылась, — ш-ш, прошептала она, приложив палец к губам, теперь плотно запахнутый халат был перетянут пояском. Писатель подумал, что она не одна. Как ни удивительно, она его узнала. Тусклая лампочка освещает коридор, справа от входа висит счётчик Сименса-Шуккерта, в квартире все спят, и сундук по-прежнему загородил дорогу. Те же золотистые, почти рыжие глаза; в первые минуты ему кажется, что племянница ничуть не изменилась. Она открыла дверь, пропуская в комнату гостя.

Но в ушах звучит не ее голос, а причитанья Анны Яковлевны, кашель из-под одеяла, и тотчас происходит это, в комнате появляется девушка.

В комнату входит племянница, вернее, внучатая племянница, забежала на полпути; та самая, о которой ночью говорил отец; та, что стоит спиной к окну, и волосы окружают светящимся нимбом её лицо, погружённое в сумрак. Кажется, она собиралась стать актрисой, какую же пьесу вы ставите, спросила Анна Яковлевна.

«Твоя мама в больнице, – сказала племянница. – Уже третий месяц».

Странник стянул ушанку с остриженной головы. В комнате было полутемно, широкое трёхстворчатое окно выходило во двор. Комод на прежнем месте, но картина в роскошной облупившейся раме, нагая девушка в бокале, исчезла, нет иконы, не стало фотографий, и к запаху пыли и старины примешивается душно-сладковатый аромат женщины. Под халатом дышало и двигалось её тело. Рассвет затушевал черты её лица. На диване – но это уже не тот диван, без спинки, на которую так удобно было опираться, – на раскладном диванном ложе скомканное одеяло, подушка с вмятиной от головы; одна подушка, отметил он. Туалетный столик, заставленный баночками, флакончиками, заваленный безделушками. Новые вещи вперемешку со старой рухлядью. Слева от двери на плечиках, занавешенные простыней, висели её платья.

Писатель попросил разрешения оставить в комнате чемодан с книгами.

«В какой больнице?» – спросил он.

Она оглядела его, качая головой: «Тебя, в таком виде...» – ватное рубище, буро-рыжие, расширяющиеся книзу валенки на толстых подшивках. К тому же она не знала, где эта больница, надо сходить в поликлинику.

А комната, спросил он, что с комнатой.

Длинная, как пенал, комната родителей, откуда бежал он в ту далёкую ночь, и мать провожала его на вокзал, и далее потянулась вереница дней, почти уже нереальных, волосатый мужик, и жизнь на заимке, и жаркое тело Клавы, время, остановившееся на время, застрявшее, как он, пока не подъехал к полуразрушенным воротам милицейский фургон, чёрная шинель вошла и растолкала его.

Пили чай. Житель потустороннего мира был благодарен Валентине за то, что она не интересуется, не расспрашивает ни о чём. Он понял, это был род неписанного этикета. Где был, откуда явился – никаких вопросов. И слава Богу. Писатель сказал, что ему нужно ехать в N, подыскать жильё, получить паспорт, прописаться. Она кивала, словно всё, что он говорил, разумелось само собой и всё, о чём он мог бы рассказать, было и без того известно.

XXVI Философия паспортного режима

10 мая 1955

Похоже, что никто больше не интересуется сочинителем этой хроники. Его оставили в покое – надолго ли? Бывший узник, – впрочем, что за выражение, слово, никогда не употребляемое нашим братом, подобно тому как солдат никогда не скажет о себе: воин, – пошлая риторика журналистов, – как же тебя наименовать? – некто *бывший* обретается на окраине населённого пункта, который не назовёшь ни городом, ни деревней, живёт у полубезумной хозяйки, в комнатке с низким окошком, щелястым полом, с топчаном, на котором лежит соломенный тюфяк, какая-никакая простыня, одеяло, подушка; ты сидишь или, лучше сказать, восседаешь за дощатым столом под свисающей с потолка лампочкой, наслаждаясь покоем и одиночеством, в том особом, ни с чём не сравнимом состоянии человека, который знает, что никто не погонит его на работу.

Жидкое солнышко, косясь, заглядывает в твоё жильё, ты спал сколько было душе угодно, встал, не заботясь о времени, с восхитительным сознанием, что можно было и не вставать; сегодня воскресенье, но и это не имеет значения, для нас теперь каждый день воскресенье. О-о, какое блаженство не работать, мечта миллионов. Время, похожее на время юности, когда его так много, что о нём не стоит жалеть.

Право же, если кто-нибудь ещё верит в светлое будущее, то потому, что представляет себе коммунизм как царство, где никто не работает.

На досуге продолжим наши размышления об истории. Тот, кто некогда написал замечательные слова: *есть великая славянская мечта о прекращении истории*, не представлял себе, насколько он прав.

Мечта осуществилась. Это было нечто новое: образовались лакуны, и в них провалилась история. Государство стало похожим на дырявый сыр. Но ненадолго: как растёт плесень в сыре, так и в этих пустотах выросла новая цивилизация. Ожила и двинулась своим путём псевдоистория. Вот и толкуйте после этого, что география не имеет значения; лагерная цивилизация не могла бы расцвести в иных географических пределах. Страна, посрамившая империю Карла V, держава, размеры которой превосходили воображение, была словно создана для того, чтобы сделаться обетованной землёй каторжного труда. И труд преобразил страну. Круг замкнулся – эта цивилизация вернулась в лоно истории. Но теперь стало невозможно разгадывать историю и судьбу страны, храня молчание о главном: о лагерях.

Но довольно об этом. Дело сделано. Паспорт лежит на столе. Читайте, завидуйте, как некогда пел поэт. Вольноотпущенник размышляет о тайне серой дермантиновой книжечки. Так аскет-пустынник погружается в созерцание Распятого.

Прямо скажем: насколько проще, понятней, – он чуть было не подумал, честнее, – была его справка с физиономией выходца из лесов. Там, по крайней мере, всё было ясно, там стоит чёрным по белому, женским почерком барышни-делопроизводительницы спецотдела: статья, срок, где отбывал. Там расставлены красные флажки. Обозначено силовое поле документа. *Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется.*

Между тем как власть и могущество паспорта состоит в том, что пределы этой власти неизвестны.

Могущество постановлений заключается в их секретности. Мина, скрытая под дермантиновым переплётом, необстрелянному взгляду не видна. Но ты-то знаешь, где она зарыта: на второй страничке. Графа *На основании каких документов выдан паспорт*. Там, где рукой другой барышни вписано: *На основании справки БО № 0004458 и Положения о паспортах*. Синяя татуировка раба. Стигма государственной неполноценности.

Никто никогда не видел это Положение, и не увидит. Но это и не требуется. Существует версия – порхает слух, – что таинственное Положение вовсе не существует. Важно не Положение, а упоминание о нём.

Человек без паспорта как бы уже вовсе не человек, его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено, у него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола: он никто, вот он кто. Отсутствие паспорта не может быть восполнено другими бумагами – справками, удостоверениями, дипломами, аттестатами; напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Невозможно и поселиться где бы то ни было, ибо нет документа, на котором можно оттиснуть соответствующий штамп. Могущество паспорта даёт себя знать в полной мере, когда паспорт отсутствует.

Однако паспорт паспорту рознь. Когда-то нужно было скрывать незаконнорожденность, марающий честь поступок, разорительные долги или дурную болезнь. Теперь надо скрывать пометку в паспорте. Она как глубоко в теле созревший гнойник, от которого время от времени сотрясают приступы лихорадки, но удалить его невозможно.

Сердце паспорта – его номер; венец всей длинной череды номеров, под которыми ты числишься в папках и картотеках различных ведомств. Государство шифров, империя номеров. Писатель спросил себя, когда это началось. Уже сто лет назад можно было сидеть, как Герман, в 17 номере Обуховской больницы,

носить на фуражке номер полка, одалживать у Федосей Федосеича дельце за № 368. Когда же мы окончательно запутались в цифровых тенётах? Номер метрического свидетельства, номер военного билета, номер ордера на арест, номер камеры, номер следственного дела, номер оперативного дела, номер и шифр комендантского лагпункта, шифр и номер справки об освобождении. Но не может быть, чтобы буквы и нумерации существовали сами по себе. Должен быть верховный номер. Это и есть номер паспорта.

Мысли проносятся мимо, как мусор на ветру; ты покоен, ты счастлив.

XXVII Соты вечного успокоения.

22 июня 1955

Опять-таки не назовёшь улицей просёлок, ещё не просохший после дождей; громахающий грузовик обдаёт прохожего грязью. На вокзале безлюдно. В гремучем полупустом вагоне сочинитель сидит у окна, ждёт, когда войдут контролёры, войдёт добровольный патруль, войдёт милиционер. В толпе пассажиров, неузнанный, не разоблачённый, он шагает по перрону Ярославского вокзала, сегодня, кстати, началась война. Он шествует по перрону, он семенит, догоняя мать, кругом колышется человеческое желе, в суматохе поспешной эвакуации, с баулами, с чемоданами, с швейной машиной они не могут отыскать свой вагон, теряют и нагоняют друг друга. Они стояли в просвете забитого людьми и вещами пульмана, ждали, искали глазами отца, и вот он протискивается, он успел прийти попрощаться. Но разговаривать невозможно, отец машет рукой. Гремят репродукторы. Над толпой, штурмующей поезда, раскатился хищно-радостный баритон. *Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...* Могучий хор. Ансамбль красноармейской песни и пляски. *Вылетают кони шляхом каменистым. Встретим мы по-сталински врага.* Солнце палит с небес, лето в разгаре. Какие там кони. Говорят, уже сдали Смоленск, моторизованное полчище катится к Москве, как океанский вал. *Не скосит нас саблей острой.* Где эти сабли... Отец стоит у вагона. Завтра скороспелое войско, именуемое народным ополчением, как во времена граждан на Минина и князя Пожарского, выступит в поход, через два месяца от этого ополчения ничего не останется.

Писатель... – но по какому праву ты величаешь себя писателем, не оттого ли, что история, как кто-то сказал, есть род литературы и, собственно, становится историей лишь после того, как она написана кем-то; не потому ли ты лезешь в писатели, что биография, подобно истории, начинается на бумаге, станет биографией лишь при условии, что твоя жизнь станет литературой? – писатель едет по узким ветвящимся переулкам и думает о том, что его жизнь – единственный материал, которым можно склеить распавшееся время. Соблазнительная идея. Трамвай выворачивает на главную улицу. А там уже показались башни и луковичи, он шагает вдоль крепостной стены, мимо пышно распустившихся деревьев, огромный монастырь нависает над ним из-за кирпичной ограды, снизу кажутся приплюснутыми его почерневшие главы. Поодаль высокая прямоугольная труба крематория и контора. Секретарь смерти протянул руку – где ваш паспорт, как же иначе, и с привычным трепетом посетитель извлекает новенький, в серых корочках, волчий билет. Человек-лемур нацепляет очки, разворачивает книгу судеб, слюнит палец, листает страницы, водит пальцем по строчкам.

Двадцать восьмой колумбарий. Сто тысяч тонн бананов из Колумбии. Сколько-то времени провести перед табличкой, где стоят две даты и пустой овал дожидается фотографии матери. Вспомнить фантики, марки, комнату-пенал, древнее пианино, портьеру, отгородившую кровать родителей. Бедные, они даже не знали,

где находится эта Колумбия. Теперь дальше. Мимо окошек с засохшими цветами, откуда выглядывают детские, юные, старые лица, с датами, с почернелыми буквами, – двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый – и ещё один, и ещё: вот он! Халдеи знали, пифагорейцы знали, мир построен из предвечных чисел. Под каким числом нам предписано покоиться в узком сосуде, за дощечкой поддельного мрамора? Не одному тебе знакомое, странно тревожащее чувство неживой жизни, которая обитает здесь, существует, не существуя, подглядывает, подслушивает, прячется там, среди кустов и холмиков по другую сторону аллеи.

Кое-где выпали таблички, в тесных нишах стоят почернелые вазы, и вот оно, наконец, в мутном овале уже покусанного алмазным зубом времени медальона жалкое, улыбающееся лицо Анны Яковлевны Тарнкаппе. Крест и надпись... ты читаешь дату её ухода. Ты стараешься вспомнить, отыскать этот день, как песчинку в песке. Где ты был, Адам? Что ты делал в тот день, что с тобой делали? Почуялось ли тебе, что за тысячу вёрст, в переулке у Красных Ворот, в комнате-келье с фотографиями, комодом, диваном, источающим запах её папирос, в эту минуту закрылись её глаза? Чтобы потом открыть их уже здесь, на фаянсовом медальоне. Умерла ли она на своём диване или за ней тоже пришли? Смерть приезжает ночью в машине, входит в подъезд, цокает подковками по ступеням, истоптанным ногами поколений. Слава Богу, этого не случилось, ведь тогда она не очутилась бы здесь. Не было бы никакого медальона, и вообще оказалось бы, что никакой Анны Яковлевны никогда не существовало. Писатель бредёт по пустынной аллее, перед ним бежит его короткая тень, слева стена колумбария, справа грибницы крестов и надгробий. Не дойдя до ворот, оборачивается.

Он сощурился от слепящего света, там кто-то стоит, новые посетители. Приставил руку к глазам: две женщины, старая и молодая, у Анны Яковлевны в гостях. Если не она сама собственной персоной. Помедлив, он возвращается.

Она сидит на скамейке.

«Представь себе, мне показалось...»

«Что показалось?»

«Что ты стоишь с Анной Яковлевной!»

Валентина оглядывает писателя. Совсем другое дело, теперь у него человеческий вид. Где ты живёшь? Зашёл бы хоть раз. Он пожал плечами. Работаешь? Писатель покачал головой, никуда не принимают. (Он особенно и не старался. Встаёт вопрос, на что он живёт). Тишина, они сидят против 33-го отсека, и жизнь, вечная неживая жизнь витает вокруг, прячется в листве. Не хочется ехать на вокзал, возвращаться в пустое жильё из этого солнечного царства. Помнишь, проговорил он, как ты однажды пришла, Анна Яковлевна болела. Ты стояла у окна, спиной к свету, и волосы светились, как нимб.

Нет, она не помнит.

«Ты училась в театральной студии».

«Было дело».

«А даму в бокале помнишь?»

«В бокале? Какую даму?»

«Картину».

«А-а, хи-хи...»

«Куда она делась?»

Она пожимает плечами, покачивает кудрями.

«Твой портрет».

«Скажешь ещё».

«Я это понял, – сказал писатель, – когда ты ушла».

«Но она же голая. Сколько тебе было лет?»

«Я смотрел на картину другими глазами. Я не видел наготы. Можешь мне поверить, – он усмехнулся, – я смотрел на неё и видел тебя. Давно было дело».

«Давно».

Ещё посидели; он спросил: а доктора Каценеленбогена она помнит?

Доктора помнит: толстый такой. Он ещё на неё заглядывался.

«Тоже, наверное, где-нибудь здесь».

Оба смотрят туда, где чернеет, белеет, улыбается медальон.

«Ты её любила?»

«Не знаю; не очень».

(Спрашивается, почему же она пришла).

«А она тебя?»

«Я думаю, — сказала племянница, — она была ведьма».

«Она была, — возразил писатель, — как бы это сказать... — и попытался восполнить недостаток слов слабым кивком, неопределённым мановеньем руки. — Одним словом...»

(Он знает, что Анна Яковлевна принадлежала к породе людей, вокруг которых совершаются чудеса. Это свойство она отчасти передала ему).

Ещё немного побыть перед тридцать третьим колумбарием.

Ей, однако, пора.

«Заходи, — сказала она, поднимаясь, — буду рада».

Писатель смотрит ей вслед. Блузка, под которой просвечивают бретельки бюстгальтера, тесная юбка, сужающаяся книзу, подрагивающие бёдра, мелко, быстро шагающие ноги в модных золотистых чулках.

XXVIII Сатурн

15 августа 1955

1

Назад, назад, моя история, к началу времен... Трижды бородастый Ной выпускал голубя из ковчега, и на третий раз не вернулся голубь. Вода сошла, сыновья разделили землю. Симу достался восток, Хаму — юг. Иафет же, самый младший, получил во владение ночные страны; там и осела славянская Русь вперемежку с разными племенами: чудью, мерей, муромой, весью, мордвой, печерой и прочими, до самого Варяжского моря.

И было земли немерено, таёжных лесов, болот, рек и пустошей глазом не охватишь, дикого зверя и рыбы — невпроворот, и всё это поделили между собой конунги и князья. Каждый правил из своей деревянной крепости, нанимал и кормил дружину, оружейников, сборщиков дани и прочих нужных людей, а кругом расселился народ: кто промышлял рыбной ловлей, кто охотился на зверя, кто сводил тайгу и распахивал землю, кто побирался и грабил на лесных дорогах. Поклонялись богам: Перуну — будущему Илье-пророку, Велесу — святому Власию, Яриле, который стал святым Юрием, и приносили жертвы плодами, телятами и людьми. Так понемногу основалось наше отечество.

Новые владетели пришли на смену старым, и раздвинулись границы могущественных княжеств, народишко между тем редел, хирел и вырождался, и пришлось завозить новых людей для работы. Не было больше ни чуди, ни мери, а был единый великий народ, называемый контингентом.

2

Великие открытия часто обгоняют своё время. Так произошло с изобретением колючей проволоки. Родина колючей проволоки, как считают, экзотический остров

Куба, по другим сведениям – Трансвааль: англичане во время войны с бурами сгоняли население в концентрационные лагеря. Однако в то время колючая проволока, крупнейшее техническое достижение нашей эпохи, ещё не нашла широкого применения.

Проволока из углеродистой стали, толщиной от 8 до 10 мм, изготавливается горячей прокаткой и волочением. Готовая продукция поставляется заказчику в виде мотков длиной до тысячи метров. Основным элементом проволоки является насадка, именуемая также бабочкой или касатиком. Устройство касатика вкратце может быть описано так: он состоит из двух отрезков проволоки с заострёнными концами, плотно намотанных на основной провод навстречу друг другу, так, чтобы концы длиной до 30 мм оставались свободными и торчали наружу. Различают два верхних конца, левый и правый, и соответственно два нижних. Касатики расположены на расстоянии 80 мм друг от друга. При необходимости по проволоке может быть пропущен ток.

Наружное ограждение из колючей проволоки в десять рядов протягивается между столбами, вбитыми в грунт через каждые пять метров, и дополнительно укрепляется двумя диагональными нитями. Внутреннее ограждение состоит из 5-7 ретей, которые крепятся на наклонных рейках над тыном, окружающим зону. На концах реек находятся лампы, образующие так называемое осветительное кольцо.

Необычайная ценность колючей проволоки доказана многолетней практикой её использования во всех климатических зонах. Колючая проволока вошла как обязательный поэтический элемент в лагерную мифологию и фольклор, воспета лагерными стихотворцами, упоминается в былинах и преданиях.

3

Часто бывает так, что новому изобретению дают старинное название. Польское *lary* известно с конца XVI столетия. Невозможно с точностью сказать, когда оно перекочевало в наш язык, где превратилось в термин; важно отметить, что, введённые в общенациональный обиход, нары представляют собой вполне современное сооружение, отнюдь не напоминающее старину. По имеющимся данным, нарами пользуются от 30 до 70 процентов населения страны. Но, в отличие от колючей проволоки, нары поставляют в готовом виде местная промышленность. Соответственно и породы дерева, из которых изготавливаются нары, могут быть различными в разных регионах. В лагерях, колониях и родственных им учреждениях средней полосы на постройку нар идёт сосна, в Заполярье и на островах Северного Ледовитого океана – карликовая сосна, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других районов – берёза, ель, пихта, лиственные породы. Использование искусственных материалов, а также спрессованных опилок, переработанного камыша и пр. для строительства нар себя не оправдало.

Различают два основных вида нар: сплошные, чаще используемые в тюрьмах, и двухэтажные – лагерные; ради экономии места здесь речь будет идти о втором виде нар, называемых вагонными (за пределами нашего описания остаются также редко применяемые трёхэтажные нары и земляночные полуярусные нары).

Нарокомплекс конструкции инженера, лауреата Сталинской премии Дымогарова (дымогаровская вагонка) состоит из четырёх лежащих мест – двух верхних и двух нижних. Места на нарах занимают по обычным правилам лагерной иерархии: почётными считаются нижние этажи. Возможно также использование мест под нарами.

Нары состоят из вертикальных брусьев с приступочкой для влезания на верхний этаж и дощатых настилов с подголовниками. На настил укладывается плоский матрас, набитый тряпками, на подголовник – тряпчатая подушка. С наружной

стороны лежащее место ограждено невысокой доской для предохранения спящего от падения. Фанерная бирка с фамилией, статьёй и сроком прибывает к ножному краю.

Хотя нары представляют собой горизонтальное устройство, ошибочно думать, что на нарах только спят. На них лежат, сидят, принимают пищу, выясняют взаимоотношения, играют в самодельные карты, прячут разнообразное имущество и так далее. На нарах *живут*.

4

Век стоит на раскоряченных лапах, слепой динозавр. Радуйся, о, радуйся забывчивости начальства. Ветер перемен утих. Благослови этот соломенный тюфяк, эти первые времена, шаги на воле, подобные первым шагам младенца. Ты живёшь двойной жизнью. Книжки лежат на столе, и в комнату просочилась луна.

Если бы (говорит Паскаль) сапожник каждую ночь видел во сне, что он король, он был бы не менее счастлив, чем король, которому еженощно снилось бы, что на самом деле он сапожник. Если во тьме тебя обступают лесные и болотистые края, а утром, проснувшись, видишь себя лежащим на тюфяке в комнате у хозяйки, то что это, собственно, значит: *на самом деле?* Два сна, два зеркала лицом друг к другу, и в одном отразилось одно, в другом другое; и во сне ты пробуждаешься от сна и вспоминаешь о возвращении, как вспоминают сон; на самом деле ты там, и ничего не изменилось. И всё так же сбивается с ног конвой, торопясь в казарму, спешит изо всех сил крысиное шествие серых бушлатов по шпалам, торопясь из рабочего оцепления в зону. Все так же подавальщики в столовой, с тремя этажами оловянных мисок на деревянных подносах, выкрикивают зычными голосами номера бригад, и тридцать глоток за длинным дощатым столом, от которого пахнет кислыми тряпками, орут: «Сюда!», тридцать рук зачёрпывают жидкую перловку, облизывают ложку и запихивают в валенок. Всё так же вдоль стен стоят с провалившимися лицами мисколизы, хватают миску из рук, допить, долизать остаток. Назавтра снова в предутренней тьме ты выходишь с бригадой из ворот, полукругом, хищно зевая, сидят на поджарых задах овчарки, ты расстёгиваешь бушлат, чтобы дать себя обыскать, обхлопать, облапать под мышками и между ног, ты стоишь в строю, ждешь хриплый возглас, команду конвоя, шагаешь в колонне по шпалам одноколейки.

Узкая загибающаяся насыпь, слишком короткое расстояние для мужского шага, если со шпалы на шпалу, слишком большое, если перешагивать через шпалу. Колонна по четыре в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, опустив головы в рыбьих ушанках, глядя под ноги, чтобы не споткнуться; впереди конвой, два стрелца с автоматами поперёк груди, — шире шаг! — позади конвой, замыкающая пара, поспешает, чтоб не отстать, а вокруг тонут в морозном тумане заснеженные поля скованных льдом болот, остатки штабелей под сизыми шапками снега, полуманные куртины, лиловые небеса. И медленно зреет рассвет.

XXIX Любовь

1955 или, что то же самое, 1952

...И, как бывало уже не раз, без повода, будто бы ни с того ни с сего, но на самом деле в силу тайного сцепления вещей, вспомнилась изумительная красота Вселенной, открылся мерцающий каплями ртути небесный ковш рукояткой вниз, направо в пустыне звёзд крупным бриллиантом сверкал Юпитер, левой и выше переливался голубоватый Сириус. Это было всё, что он мог назвать и опознать,

да ещё скромная Полярная звезда в вышине и семеро сестёр – Плеяды. Невдалеке темнела казарма, ближе к зоне располагались службы, магазин для вольнонаёмных, сарай пожарной охраны. И, наконец, зона: с угловой вышки вдоль увешанного лампочками тына, вдоль запретной полосы, по рядам колючей проволоки бил прожектор. Сторож в ватном бушлате, в растоптанных валенках, в каком-то тряпье вокруг шеи и на остриженной наголо голове, в ушанке с завязанными ушами расхаживал перед магазином, останавливался, задрал голову, оглядывал звёздную россыпь, хлопал себя по бокам, бил одна о другую ноги в негреющих валенках, изрыгал морозный пар. Сторож был бесконвойным, *малосрочником*, отсидевшим две трети срока, большинство же имело четвертной – двадцать пять и пять *по рогам*. Было около полуночи. Он научился угадывать время без часов. Он шагал, отходя всё дальше от магазина, возвращался, вновь отдалялся, чутко прислушивался, приглядывался. Вдалеке на угловой вышке спал стоя перед своим пулемётом караульный солдат-попка, огненный глаз прожектора струил свой луч поверх древнерусского тына. Донеслось нежное позванивание, побрякивание кольца на проволоке, овчарка, трусившая по ту сторону тына, остановилась – сторож тихо пощёлкивал языком – она узнала его и молча потрусилась обратно. Сторож постоял, подумал и двинулся, сперва медленно, потом всё быстрее и уверенней, скрипя валенками, обогнул казарму и погрузился в ночь. По глухой, еле видной во тьме таёжной дороге он шагал, не сбиваясь с пути, стало жарко от быстрой ходьбы, он расстегнул бушлат, развязал и стащил с головы ушанку – холодный пар окутал лоб и взмокший платок на голове. Он снова нахлобучил ушанку. Так прошло, может быть, полчаса, лес расступился. Путник съехал в овраг с оледеневшим ручьём под ковром снегов. За оврагом находилась деревня, полтора десятка угластых крыш; нигде ни огонька.

Ты взошёл на крыльцо, стряхнул с себя снег, оттопал с валенок. Никто не отозвался на тихий стук в дверь; тайный гость спрыгнул с крыльца, пробрался к окошку, немного погодя брякнул засов. Блестя во тьме заспанными глазами, женщина стояла, дрожа от холода, босая, в деревенской ночной рубаше, накинув на голову платок. Из сеней вступили в жарко натопленную избу, Маша чиркнула спичкой, коптилка стояла на столе, в заиндевелых окошках отразились их лица. Смуглый лик Богородицы в жестяном окладе метал тусклые отсветы, большая почерневшая печь отгородила горницу от кухни, на полатах спали дети, мальчик и девочка, в углу под иконой стояла деревянная кровать. Висела одежда на гвоздях, висели фотографии между окнами и плакат «Все на выборы», постукивал маятник размалёванных ходиков. Гость запаса гостинцем, бережно извлёк приношение из кармана в подкладке бушлата. Кровать ждала их. Долгая ночь оберегала до рассвета.

И медленно вращался вокруг неподвижной точки небесный купол, сиял Юпитер, медлила показаться голубая Венера, подкрадывался невидимый глазу Сатурн, планета-покровительница концлагерей. И, уже возвращаясь (было всё ещё темно), спеша по невидимой дороге, он услышал марширующие сапоги, увидел впереди две тёмных фигуры, это шагали навстречу два солдата; глядя под ноги, он прошёл мимо них. Они не сказали ни слова, не остановились, это был молчаливый сговор невольников. К кому они шли: к ней? Нет, разумеется; вся деревня – десяток баб – обслуживала казарму.

И оттого, что ты знал – она спит, утомлённая, запершись на все засовы, – невозможная мысль пришла тебе в голову: что всё, что с тобою случилось, было лишь предварением, было подстроено судьбой, чтобы в конце концов ты очутился в этом краю, под лиловым лучом окольцованной планеты лагерей, чтобы с риском быть пойманным брёл по лесной дороге, входил в тёплую избу и видел в полутьме блестящие глаза, обнимал сильное, жаркое тело, чтобы, изнемогая от счастья, понял, что всё – прах и тлен в сравнении с этой встречей.

Ты – или это был кто-то другой? – спросил писатель, поворачиваясь на своём ложе, и не мог найти ответа.

XXX У того, кто раньше умрёт, останется больше времени побыть среди мёртвых

1952, 1953

1

И вновь завершился круг, один из тех, подобных планетным орбитам, кругов его жизни, и уже невозможно было припомнить, как, когда он потерял Машу из виду; словно деревню окончательно погребло под снегом; но, как и прежде, старому лагернику не надо было вставать со всеми в утренней тьме, когда нарядчик стучит по нарам своей доской, на которой расписаны бригады и сколько народишку выходит к воротам. В этот час ты возвращался, предвкушая сладкий сон в опустевшей секции, зато вечером, когда барак наполнялся усталыми и возбуждёнными работягами, ты приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал тряпкой, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках ты стоял перед вахтой. Гремел засов, ты выходил, предъявив пропуск бесконвойного. По тропе в снегу брёл до угловой вышки, сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева, между сугробами находилась площадка, усыпанная щепками и корьём, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Сквозь ртутное мерцание звёзд, без усталости грохоча, дымя плотным белым дымом, шёл вперёд без огней и флагов опущённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и бараках, в посёлке, в казарме, в пожарном депо. Ток подавался на кольцо. Всё могло выйти из строя, но венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не смели померкнуть ни при какой погоде. Дровокол принимался за дело. Расчистить рельсы для вагонетки, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь – по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Становилось жарко, он сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, он довёз её до сарая, толкнулся в створы низкого входа, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый гляцевый кочегар висел грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Звонят с вахты – дежурный ругается. Кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывалил в сарае содержимое вагонетки. Проснись, приятель, – это был ты.

Или, вернее, тот, Другой, был тобою в тот год, нескончаемый, как год на Сатурне. В стране, где солнце – лиловой звездой, в те дни и ночи, когда в смутных известиях, нёсшихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в ночных толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда – бушла-

том и вислыми ватными штанами, человеческая речь – доисторическим матом, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный год; когда рассказывали о том, как старичок Председатель Верховного Совета, в очках и в бородке клинышком, крестьянский сын, народный староста, едри его в корень, лишь только доложат, что прибыл состав, канает на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружённых помилловками, то есть просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом наискосок, на каждом вагоне – резолюцию: *О т к а з а т ь*, и состав, как был, восемьдесят вагонов, катит обратно; когда рассказывали и расписывали, как маршал государственной безопасности, в пенсне на мясистом рубильнике, в погонах, как доски, с животом горой, докладывает, сколько кубов напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к большим счётам наподобие тех, какие стоят в первом классе, перебрасывает костяшки, щурится: мало! *Пущай сидят*.

А то еще ходил достоверный рассказ про то, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: *Благо всех вместе выше, чем благо каждого*. Мужик не понял и спрашивает снова: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И Ус ему будто бы ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

2

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Агрегат по-прежнему роко-тал в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель – не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Колун завяз в полене, было плохо видно. Колун ждал, когда дровокол наклонится над ним, и дождался – вырвался и саданул дровокола обухом в лицо. Писатель полетел навзничь. Милость судьбы: нагнись он чуть ниже, он был бы убит.

Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Писатель сидел на снегу. Горячие красные сопли свисали у него изо рта и носа. Несколько времени погодя он доплёлся до зоны и утром получил в санчасти освобождение, но положенных дней не хватило, пришлось ехать на больничку, с замотанной физиономией, топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли других, совсем уже немощных.

Лицо зажило, передние зубы были обломаны наполовину, и опять, невидимый, стоял над кромкой лесов мертвенно-бледный Сатурн. Новое приключение вторглось в ночные грёзы; вспомнилось, как бывает при слабом повороте калейдоскопа, любимой игрушки детства: сместились цветные стёклышки, явился другой узор, выстроилась другая картинка. Он был хозвозчиком.

После долгой дороги буханки плохо пропечённого хлеба, укрытые одеялом, пока он вез их для погрузколонны в 156-й квартал, потрескались, поломались, бригада с кулаками набросилась на возчика, расхватали куски, затем подошёл состав, с высоких штабелей на ветру грузчики в дымящихся от пота рубахах ска-тывали по лагам на платформы баланы авиасосны, шпальника, резонансной ели;

свисток паровоза возвестил об окончании смены, состав шёл в северную гавань, а там другие заключённые грузили лагерную продукцию на океанские пароходы – лес, всё ещё хранивший дурман тайги, плыл на волю, в чужие страны.

Возчик ночевал в опустевшем бараке, навалил на себя несколько одеял с соседних лежаков, не мог согреться; наутро, не дожидаясь рассвета, двинулся в обратный путь. Он чувствовал себя нездоровым, несколько раз останавливал лошадь, чтобы тут же, на дороге, спустить ватные штаны, и по возвращении едва успел распрячь, еле-еле успел добежать до барака.

Отхожее место представляло собой холодное полутёмное помещение в конце коридора между секциями; на дощатом помосте, на корточках, всегда кто-нибудь, кряхтя, справлял пахучую полужидкую нужду. Отдохнув немного, он слез с нар и поплёлся снова, вскоре дело дошло до того, что приходилось то и дело выбираться из секции, карабкаться на помост; казалось, он извергнет из себя весь кишечник, вместо этого вылетал кровавый плевок; так прошли день и ночь.

Назавтра он уже не вставал, спустя сутки, под вечер был отвезён на станцию, конвой стоял у колёс, те, кого вместе с писателем отправляли на больничку, втащили его в вагон. В третьем часу ночи – пол всё ещё качался под ним, колёса постукивали на стыках – писатель умер.

Так он попал на тот свет.

Светлым он не был, этот потусторонний мир, и состоял из одной комнаты, сумеречный свет сочился из двух окон, было холодно. Голый, как все, новичок дрожал на койке под тонким саваном. Слава Богу, прекратились спазмы, измученный кишечник обрёл покой. Исчезло время. Вошёл санитар, бородатый мужик в белом, талдычил что-то; наконец, дошло. Это был загробный мир заключённых, людей с похоронными формулярами вместо паспортов, и апостол Пётр, само собой, был тоже с формуляром. Пётр сказал, что не стоило так суетиться, и бояться не стоило, ибо здесь всё то же самое. Сроков здесь не бывает. О статье никто не спрашивает. Кто хлебал баланду там, будет жрать её и здесь. Кто сюда попал, никогда отсюда не выйдет. И к лучшему.

XXXI Жизнь – осколок бутылочного стекла под луной

Ещё сколько-то лет тому назад

1

Чтобы попасть внутрь, надо было пройти через стеклянную дверь, за которой клевал носом сторож-швейцар в шапке, надвинутой на брови, в пальто с крысиным воротником и валенках, олицетворение атараксии, этого идеала древних мудрецов; его не волновала ни погода, ни поэзия, он грезил о какой-нибудь зелёной речке на Смоленщине, где теперь оборванные женщины бродили между печными трубами сожжённой деревни, среди зарастающих травой и бурьяном окопов и ключев ржавой колючей проволоки. В тёмной раздевалке стояли пустые вешалки – никто не раздевался; с двух сторон парадную лестницу сторожили колонны, выкрашенные под серый мрамор, – тому, кто не каждый день обедал и по большей части питался морковным чаем и хлебом, колонны эти напоминали ливерную колбасу или плёнку молока на остывающем кофе. Наверху, с площадки, где раздваивалась лестница, мраморный кумир в парике взирал на девочек и юнцов, сияло позолотой незабываемое: *Держайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...*

Удивительно, как до последних мелочей, с филигранной точностью всё это отпечатала полусонная бредящая память. Не поднимаясь, мимо аппетитных колонн поворачивали налево. В узком коридоре висели плакаты, объявления, пожелтелые

правила пожарной безопасности, кучками теснился народ, стихотворцы, кто в шинели с гражданскими пуговицами, кто в коротком полурубеяческом пальтеце, глядя в одну точку, рубили кулаком, читали стихи. Другие смотрели вниз, сдвинув брови, расставив ноги, это были критики, готовые вынести приговор.

До войны было детство, смутная и нереальная пора, её стыдились, от неё открещивались, и, право, не было худшего оскорбления, чем напоминание о детстве; после войны остался голый мир, холодный и неудобный город, населённый поэтами; ничего не было важнее и нужнее стихов, все читали друг другу стихи, грезили о стихах, шатаясь по тусклым улицам, бормотали короткие строчки, похожие на обрубки конечностей. Сильные, но неясные ощущения, беспредметное вожделение, с которым не знали что делать, искавшее на ком остановиться, и боль, исходящую непонятно откуда, и ожидание чего-то – всё это можно было выразить только в короткой фразе, на конце этой фразы болталась приблизительная рифма.

Длинные периоды казались порождением лицемерно-болтливой довоенной мира. Теперь над всем господствовала кованая строка. Чтение напоминало прыжки на костылях. Это был марш инвалидов. С кровавых полей – на Парнас. Короткая фраза выражала краткость прожитой жизни. В этой фразе, как огонёк в коптилке, жил образ, родившийся из удачно найденного слова. Здесь ценили метафору. Здесь можно было стать знаменитым благодаря единственному неожиданному образу, он был патентом на талант. Его хватало на целое стихотворение. Он заменял мысль.

Растворились двери, и народ ввалился в клубную комнату; как всегда, не хватает стульев. В углу у рояля поминутно поправляет очки девушка в звании секретаря, в пальто, съезжающем с узких плеч. Искрится в тусклом свете затканное изморозью полукруглое окошко под потолком. Меж тем по опустевшему коридору, в шубе, потёртой шапке и фетровых ботах шествует знаменитый поэт, старик с нависшими, загибающимися кверху, как усы, бровями. Расцепив крючки шубы, усаживается за стол.

Заседание клуба молодых поэтов началось.

2

Было что-то отрадное, утолявшее горечь, было оправдание длинной и бесполезной жизни старого виршеслагателя в этом собрании устремлённых на него блестящих глаз. Маленькая поэтесса, стоя у стола, лепетала о безответной любви, её сменил, отстранил двадцатилетний трубноголосый ветеран.

Эта молодёжь не могла себе представить, что можно жить в дальних воспоминаниях, как в мутно-светящемся водоёме, откуда внешний мир различим как бы в тумане.

Старик склонил бритый, лоснящийся череп, сдвинул усоподобные брови, застыл с сосредоточенно-недовольным выражением, как у настройщика перед расстроенным инструментом; слушал и не слушал. Он был усатым гимназистом в южном приморском городе, где чавкали арбузами, лузгали семечки и смахивали с губ шелуху, гуляя с барышнями по бульвару. Он ораторствовал на митинге, прятал под шинелью символическое красное полотнище, причёсывал пятернёй мокрые волосы, ссорился с отцом, заседал в комитетах, вдруг всё кончилось, он очутился в холодном северном городе, где ветер свистел по прямым пустынным улицам от реки, блестящей по ночам, как олово, и вдали на сумрачном небе рисовался собор и шпиль Петропавловской крепости. Он печатал свои стихи на обёрточной бумаге, жил с голодной подругой и близнецами в огромной пустой комнате с окнами на набережную, и сумрак дня сменяли вечерние сумерки, а к полуночи небо

разгоралось металлическим сиянием, и он вставал и подходил к окну, слагал стихи, пылал неугасимой верой и заседал на собраниях футуро-группы «Рёв Революции»; однажды к ним постучались, это была девушка-землячка без пристанища, на лестнице стоял её товарищ, жили коммуной, в большой комнате было две кровати, и когда родился ещё один ребёнок, оба, смеясь, объявили себя отцами. Никого не осталось в живых, уцелел он один.

3

Трудненько ему придётся, думал руководитель поэтической студии, прислушиваясь к декламации; это были совсем не те оды, что печатались в журналах, — злые и грубые, такие же, как их автор, который там, в местах, откуда он явился, выплёвывал из худого рта циничную брань и лихое отчаянье, и издёвку, как теперь он выплёвывал стихи. У поэта были маленькие, близко поставленные глаза, бесформенный нос, точно продавленный посередине чьим-то могучим кулаком, кадык танцевал на его гусиной шее, в углах рта пузырилась слюна. Он утирал её свободной рукой. Другая рука рубила воздух, над лбом подпрыгивал клочок волос, охрипшим голосом, напирая на «о», поэт кричал о варварской жизни в окопах, о беспросветном дожде, о подмокших сухарях, об атаке, о рукопашной схватке, а после — рубил он кулаком — мы хлестали ледяную водку и выковыривали засохшую кровь из-под ногтей, — и все взглянули на его руку, — и руководитель ещё гуще сдвинул брови, — и всё это, думал ты через много лет, лёжа на соломенном тюфяке, на окраине городка, о котором прежде даже не слышал, всё это нужно каким-то образом впустить в роман, не оставить втуне, ибо на всём почил тусклый слюдяной отблеск времени, ставшего вечностью. *Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо...* Это была пора, когда грубая мужественность стихов ещё не успела превратиться в кокетство, это были люди, которые безропотно умирали жестокой и животной смертью на Кюстринском плацдарме, в слепящих струях прожекторов на Зеловских высотах, это было время, когда...

4

Это было время девушек. Взгляд натёкался на них на каждом шагу, ухо ловило смех, болтовню, обрывки загадочных реплик, девушки наводнили город и сны, все были одинаковы, и все были разными, в метро, на тротуарах, по двое, по трое, в облаке одеколона, прелестные, низкорослые, с локонами на плечах, с пышным коком над лбом, над подведёнными чёрным карандашом бровями, в туго перетянутых ремнём травянистых гимнастёрках с погонами солдат и сержантов, в плоских синих беретах, приколотых к затылку, в синих прямых юбках до колен и гремучих сапогах, девушки в перешитых платьях, в блузках, под которыми просвечивал лифчик на бретельках, просвечивали ватные подкладные плечики, в чулках со стрелками, в неуклюжих плоских туфлях-танкетках на микропоре, девушки в порхающих юбочках, в задранных кверху шляпках, марширующие туда-сюда перед кинотеатрами, перед подъездами «Метрополя» и «Националя», по улице Горького, где гуляют английские офицеры в тёмно-зелёных шинелях, где шагает бок о бок со своим двойником в стекле витрин двухметровый красавец-негр, девушки, скрывавшие и выставывавшие напоказ коленки, круглый зад и маленькие груди, смуглые огненноглазые девушки-попрошайки под цветастыми платками, предлагающие любовь в полутёмных подъездах, на лестничных клетках, на скамейках пустых заброшенных парков, девушки, неожиданно ставшие взрослыми, как никто, чувствующие внезапно наступившее время — их время...

Спящий повернулся на тюфяке. Вышли из клуба мимо дремлющего смоленского швейцара. Мимо тёмного монумента, мимо мёртвых, раскинувших голые ветви деревьев – и незнакомый город под лунной, с блестящими обледенелыми тротуарами, с длинными чёрными тенями, с тёмными окнами спящих домов, открыл им свои могильные объятия. Они шли, все трое, уцепившись друг за друга, чтобы не поскользнуться, повернули за угол и остановились перед витриной манекенов: мёртвые люди в фуражках и шинелях отдавали им честь. Они побрели дальше, оба, и между ними та, которую звали Наташа, – если это была Наташа, – лунный свет и морозный воздух изменили её черты. Но когда ты снова хотел подхватить её под руку, подруга, та, что шагала с другой стороны, недовольная, покосилась, у неё было сосредоточенно-ненавидящее лицо, и чёрная коса выбилась из-под пальто. Остановились перед подъездом, она схватила Наташу, втокнула в тёмный подъезд, ты остался один на скользком тротуаре, дёргал за ручку, дверь не поддавалась, ты искал звонок, вывеску невозможно было прочесть, зато рядом находились ворота, дворник сидел на табуретке. Подворотню освещала тусклая лампа в проволочной сетке. Дворник потребовал пропуск. Расстегнул бушлат, ты – вынул свой пропуск бесконвойного. Сержант молча кивнул и опустил голову, погружаясь в дрему. Двор был в снегу, по узкой протоптанной дорожке я добрался до двери, в полутьме, крадучись, чтобы их не спугнуть, двинулся вверх по лестнице. Так и есть – они были наверху, на площадке верхнего этажа. «Ты простудишь её!» – сказал я. Ибо знал, что Наташа, если это была она, была хрупкой и болезненной. Она стояла, раскинув руки, у стены, рядом с окном в лунном сиянии, умирая от стыда, с закрытыми глазами, без пальто, с высоко поднятым платьем, так что я видел её белеющий живот и тень внизу, и ноги в чулках с подвязками; и та, другая, что-то делала с нею.

XXXII Трое. Чёрный ферзь

1955, 1948, 1946

Теперь этот дальний, казавшийся неважным, полузабытый и снова всплывший эпизод требовал прояснения: неизвестно, настигает ли прошлое виновников, но оно всегда настигает жертву. Удивительно, думал писатель, что ты занялся отгадыванием загадки теперь, когда всё уже давно позади; стоит ли её вообще раскапывать?

Тогда, в тюрьме, когда весь день глаз надзирателя приглядывал за тобой сквозь глазок, чтобы ты не спал, не прилёг, а вечером, после отбоя, едва только ты укладывался, как тотчас вставлялся и скрежетал ключ в замке и желудочный шёпот поднимал тебя с койки, и сапоги дежурного вели арестанта длинными гулками коридорами на допрос и приводили назад на рассвете, и в конце концов от бессонных ночей ты едва не слетел с катушек, – тогда ещё можно было догадываться, что к чему. Но, получив своё, ты об этом больше не думал.

И вот опять воскресает эпоха китайских теней, опять за каждым углом тебя подстерегает предательство, встречает, смотрит преданными глазами умной собаки. Да, вот так и приходишь к позднему пониманию – это была сеть, паутина, каждый мог в ней запутаться и увязнуть, в ожидании, когда подползёт некто и воткнёт в тебя своё жало. – То была подлинная начинка времени. – От этих мыслей никуда уже не уйдёшь.

Тебя предупредили, ты попытался скрыться, но не ясно ли, что несчастный свидетель – с каким сладострастием тебе зачитывали его показания! – не ясно

ли, что он был лишь украшением. Это следовало из того, что показания были сделаны в последние дни, совсем немного оставалось до той ночи, когда должны были за тобой прийти. Старуха в платке была права, та, что предупредила и потонула в этом тумане, где теперь он брёл с протянутыми руками. Кто же она была, эта тётка, искавшая репетитора для мнимого внука и, должно быть, рисковавшая многим? Поразительно, что такие люди всё ещё существовали. Да, она оказалась права, они пришли. Что им сказала мать? Но, кажется, мама тоже успела уехать. Ах, теперь это не так важно. Партийный активист, инвалид Отечественной войны, бедняга, пойманный на крючок, разумеется, был формальным свидетелем. Зачем-то им нужны эти свидетели.

Следствию всё известно. Органы не ошибаются.

Но тогда зачем вся эта многомесячная канитель, допросы, протоколы. Сцапали – и в лагерь. И не надо содержать всю эту многоголовую сволочь – следователей, начальников и начальников над начальниками.

Всё известно – откуда? А вот откуда: во всяком «деле» должен существовать секретный осведомитель.

Мы напоролись на него, шаря в тумане.

Но где доказательства? В обществе, где подозревать можно каждого, нужны доказательства. Между тем они навсегда похоронены в «деле». Не в том деле, которое для виду называлось следственным, а в другом, где подшиты доносы. Их миллионы, этих тайных папок. Никто никогда их не увидит.

И всё же есть, есть, есть доказательство. Писатель сидит в своей комнатке с тёмным окном и щелястым полом, лампа горит на столе, улики налицо. Нужно было только уметь их видеть; вот этого тебе, приятель, как раз и не хватало.

Аглая, Достоевское имя. Подруга с чёрной косой... Наташа и Глаша. Что-то тут было неладно. Какой-то дымок повеял. Догадывалась ли об этом сама Наташа? Отвечала ли взаимностью? В конце концов, тень однополой любви всегда крадётся за дружбой юных девушек; вопрос, созревает ли эта привязанность до чего-то определённого или рассеивается, как туман на восходе солнца. Если же ничего такого не было, то и гипотеза доносительства рушится. И всё-таки на допросах, после того, как из Тьмутаракани его доставили прямо на Лубянку, в эти изматывающие ночи, когда лейтенант листал дело, – сама его пухлая толщина должна была произвести впечатление – листал, читал, качал головой, издавал невнятные звуки, что-то подчёркивал, когда, похлопывая ладонью по столу, он называл студентов, – а вот такого знаешь? а эту? – сыпал именами, словно твоё преступление совершалось у всех на глазах, когда, порывшись, добыл фотографию Наташи – девочка ничего... – подмигнул, – небось ухлёстывал за ней, ну и как? *Не дала?* – словом, когда казалось, что, как в игре «холодно – горячо», он вот-вот обожжётся, вот-вот назовёт другое имя, – оно, *это* имя, единственное, как раз и не было упомянуто. И ни разу не всплыло во всё время следствия, словно никакой Глаши в природе не существовало.

Заседание клуба юных поэтов закрылось, оттепель последних дней сменили новые заморозки, обледенелый тротуар блестел в тускло-туманном свете фонарей, ей пришлось уцепиться за подругу, чтобы не поскользнуться, хотя, собственно, это было обязанностью мужчины – поддерживать Наташу. Но кавалер плёлся отдельно, а они шли вдвоём. У соперницы были тёмно-блестящие, тяжёлые волосы под меховым беретом, трагически-тёмный и блестящий взгляд, круглое лицо с румянцем во всю щеку, с чуть пробившимися усиками, навязчиво полная грудь. Обогнули памятник, чью уродливость скрадывала шапка снега, брели вдоль чугунной ограды и дальше, свернув направо, мимо витрины Военторга – фуражки на никелированных подставках, целлулоидные люди в мундирах, мёртвое эхо войны, – и навстречу из мглы ползут заиндевевшие троллейбусы на мягких лапах. Девушка прячет руки в пушистую муфту, мелко ступает, щебечет милую ерунду, и та, другая,

темноокая, молчаливая, с грудью, которую не скрадывало пальто, крепко держит Наташу, словно боясь упустить, – означало ли это, что она боялась соперника? Припоминаешь сейчас все мелкие происшествия этого вечера, движения, взгляды – с какой гордостью, с каким неприкрытым наслаждением она шагала, прижимая к себе подругу, – и поражаешься собственной слепоте.

Где трое соберутся во имя Моё, там Я среди них.

Я, око госбезопасности.

Подумаем о мотивах. Что вдохновляет потомков Искарриота? Комсомольский долг. Карьера. Деньги. Страх. И всё же (думаешь ты) тут было другое, был личный, тайный, горячий мотив; что же именно? Ревность?.. Почему бы и нет? C'est le mot¹.

Но если эта гипотеза правильна, если *слово найдено*, значит, были основания ревновать? Значит, ей казалось, что Наташа, слабовольная, податливая Наташа, колеблясь между двумя, склонялась к тебе? Было ли это на самом деле? Поди проверь.

Он был зол. На неё, на них обоих, на щебетанье Наташи, что-то стремительно ускользало, близился переулочек прощания, и непременно получится так, что он так и не дождётся, когда уйдёт Аглая, и они всё ещё будут стоять перед подъездом её дома, обсуждать свои бабьи дела, словно забыв о нём; зато всё, о чём ты ораторствовал по дороге, о Зощенко и Ахматовой, об идиотской партии, которая собирается выращивать литературу в цветочных горшках, – все эти давно уплывшие нечистоты времени – всё, слово в слово, окажется в протоколах, где именно так и будет названо: «издевательские насмешки».

И самое ужасное – не только над докладом секретаря ЦК тов. Жданова, не только! Но и «в адрес одного из руководителей советского государства», таково было кодовое наименование вождя в этих бумагах. Всё это могли услышать только два человека. То, что это может быть *она*, должна быть только она, темноглазая ведьма, вероятно, приходило в голову уже тогда, весной сорок девятого во Внутренней тюрьме, но о том, что всё это означало и какого рода была эта девичья привязанность, он всё-таки не догадывался.

И как было не подвернуться этой возможности. Сказать себе: ведь это же мой долг. Помочь разоблачить. Всякая попытка поставить под сомнение партийный документ есть вражеский выпад, идеологическая диверсия. Здесь есть своя логика. Он подумал, что так можно дойти до оправдания всего этого абсурда. Но это означает остаться внутри абсурда. Как уютно жить внутри абсурда!

Этот режим отлит из чугуна, он твёрд и неколебим. Но хрупок. Значит, всякий, кто посягает... Всякого, кто посягает. *Не стройте из себя целку*. Не изображайте невинность. Сказано: *там Я среди них*. Я – глаза и уши. Но где же был тот, кому эти уши несли свою дань, где тот, чьё имя, как имя Всевышнего, нельзя называть, чей лик ужасен? О его существовании мы не ведали. А между тем он спокойно сидел за двойной дверью в правом крыле дома на Моховой, что-то листал, набирал номер-код телефона, скромно-невзрачный, словно инсект, покачиваясь, как в гамаке, посреди своей сети, слабо поблескивающей в оловянном свете луны.

Но Наташа! Ты забыл звук её голоса, теперь снова вспомнил; снова представил себе её хрупкость, её ужимки, нечто кукольно-целлулоидное в её облике; теперь она – словно экспонат среди прочих; её душа тебя несколько не занимает. Оставляясь вершиной этого треугольника, она вовсе не была главным действующим лицом. Она и не хотела быть главной. Она была в меру капризной, в меру цивилизованной, настолько же умницей, насколько и дурочкой, глупышкой, воспитанной в этой роли и всё ещё не готовой сменить её на другое амплуа; на улице прятала руки в муфту, прятала носик в пушистый воротник; вовсе не желала учиться и, может

¹ Вот отгадка (фр.)

быть, держалась на курсе лишь благодаря влиятельным родителям; хотела походить на Ольгу Пушкина, на Наташу Толстого, намекала на дворянское происхождение; гладко причёсывалась, но оставляла завитки волос вокруг лба; носила длинные косы и бант на затылке, должно быть, бант завязывала бабушка; хотела быть как Дина Дурбин, хотела быть «девушкой моей мечты», что ей и удалось, тратила время на пустяки или то, что должно было выглядеть пустяками; вся её жизнь была пустяком, но также и стилизацией под легкомыслие; ибо она никогда не упускала из виду простого и главного – жить в уютных комнатах, вкусно кушать, удачно выскочить замуж. Такой была Наташа.

Она была влюблена – не в тебя, о, нет! – в себя, в собственное тело со всеми его прелестными подробностями, и то, что она попала в сети иной привязанности, в сущности, не должно было её удивлять, если бы не страх. Она боялась Аглаи, боялась тяжёлого взгляда этих траурных глаз, мерцающего из угла комнаты, как костёр на горизонте, ловила этот безмолвный сигнал, всё ещё принимая его за призыв эгоистичной дружбы; ты заметил этот взгляд, когда единственный раз был у неё в гостях. Дикая застенчивость приковала тебя к дивану, ты попал в другой мир, ты не смел произнести ни слова, да так и просидел, не вставая, весь вечер. Комнату заполнила незнакомая шикарная молодёжь, впрочем, это была не комната, а нечто неправдоподобное, отдельная квартира, пожилая женщина в белом фартучке разносила тарелки, роскошное картофельное пюре с мясом, за роялем сидел студент консерватории, гений с длинными волосами, играл «На тройке» Чайковского. Никто из них не догадывался, что в этой пьесе изображен ухаб, на который взбирается лошадь, затем широкий раскат саней вбок и бег с колокольчиком по зимней дороге, и снова ухаб, и снова бег – уж колокольчик-то не могли не услышать – и широкая распевная мелодия, снежная равнина, и далёкая, тонущая в морозном тумане русская тройка. Чтобы представить себе эту картину, нужно было пожить во время войны в эвакуации, за тысячу вёрст от Москвы.

Нет, не Наташа с её слабым, кружащим голову излучением (это головокружение он и принял за любовь) была героиней этого сюжета. Чем больше он размышляет, вновь и вновь расставляет фигуры на шахматной доске, тем яснее становится, кто был главной фигурой. Он встаёт и выходит из дома. Городишко, сто первый километр, спит, в вышине сияет луна. Они выходят. Трое выходят на площадь, начался снегопад. Белые хлопья сыплются вокруг искусственных планет. Та, что идёт справа, крепко держит под руку подругу, ждёт, когда, наконец, распроцается и уйдёт третий лишний. И вот, наконец, свернули с Арбата в Большой Афанасьевский переулочек, дом Наташи, остановились перед подъездом, словно для того, чтобы принять решение, и ты принял решение, ты сказал себе, хватит, пора кончать со всей этой тоской и морокой, плюнуть на них обоих; обозлённый, ты чуть было не сказал это вслух. Как вдруг Наташа проворковала, не хочу спать, погуляем ещё немного. Внезапно он понял: это был крик о помощи.

Она боялась Глаши, боялась её чёрного, страстного взгляда, быть может, слегка наигранного; боялась тёмных подъездов, и поцелуев, и дерзких объятий, когда вдруг прижимаются всем телом, грудью, животом, бёдрами. Страх девственницы – это была брешь в крепостной стене, над которой развевался лесбийский флаг. Но вот что удивительно (писатель всё ещё стоит на крыльце): он вдруг понимает, что сам хотел бы обнять – кого же? Наташу? – о нет. Ту, другую, румяную и черноволосую, излучавшую чувственность, словно волны инфракрасного света.

Мы можем прожить много лет, не поняв своего чувства, давно угасшего, до тех пор, пока память, совершив круг, не вернётся к далёким временам, чтобы расставить шахматные фигуры так, как они стояли. Она, она, думал писатель, напоила нас отравой неутолённого вожделения. Любовь была закована в неписанный этикет, в плотный лифчик, в жёсткий, как панцирь, пояс с резинками для чулок.

Вот кто был средоточием неразрешившегося романа втроём. Арест разрешил его. Вспомнилось, что Аглая носила фамилию матери; до революции это означало бы – внебрачный ребёнок, прочерк в графе «отец». Теперь это означало, что отец «репрессирован». Да, можно прожить много лет, прежде чем станет ясной коренная двусмысленность нашего существования: чёрная девушка была посланницей ада. Таков был метафизический смысл её явления. Земной же был тот, что необходим крючок, чтобы выудить жертву. Пропавший отец, вот кто этот крючок, не так уж трудно догадаться – отец, о котором старались не вспоминать и о котором напомнили, на который её подцепили. Прижали к стенке и предложили стучать.

XXXIII Ещё один. Сеть

Тогда же

Но тут же он подумал, что эта гипотеза – ведь что ни говори, это была всего лишь гипотеза, вдобавок с романтическим привкусом, – что она не всё объясняет. Не все «факты». Как всякий, кто угодил в эту паутину, он сомневался и в фактах; как все, жившие в этом государстве, понимал, что заподозрить стукача можно в каждом. Вся жизнь была зыбкой, неверной, двусмысленной, люди появлялись из тумана, чтобы затем вновь раствориться в густой белёсой мгле. Откуда взялся Серёжа?

И этот тоже как бы перестал существовать после того, как ты провалился в люк и крышка захлопнулась, после того, как ты сам перестал существовать, после того, как круги на воде сомкнулись над твоей головой и ты оказался в подводном царстве, где люди с рыбьими глазами, в жёлтых плавниках погон, бесшумно шныряли по коридорам, и фамилия Серёжи на допросах и в протоколах никогда не упоминалась. Не было никакого Серёжи.

Он подумал, что одно другому не мешает, силовые линии скрестились: Аглая, чёрный ферзь, с одной стороны, а с другой – слон, в шахматном просторечии – офицер. Правда, только один раз, если не изменяет память, он пришёл в университет в военной форме: сапоги, гимнастёрка, ремень с портупеей, погоны с продольной полосой.

Силовые линии скрестились, как два луча прожекторов противовоздушной обороны, – и сочинитель хроники вспомнил, это было за несколько дней перед эвакуацией: крохотный самолёт врага в тёмном небе над Большим Козловским переулком.

Сочинитель сказал себе, что, пожалуй, только теперь может оценить должным образом внешность Серёжи. В самом деле, это была какая-то очень характерная внешность, как если бы этих людей специально подбирали: маленькие, словно постоянно прищуренные глаза, правильное розовато-гладкое лицо, лишённое индивидуальных черт, ничего не выражающее, даже когда он рассказывал анекдоты, острил, цитировал Ильфа и Петрова. Эта стёртость и была его особым выражением. Это был *стиль*. Надо было уметь читать эти лица, думал писатель. Но не потому ли он вспоминает теперь выразительно-невывразительную физиономию друга, что, сам того не замечая, копит улики.

Обыкновенно Серёжа приходил в университет в новеньком, с иголки, костюме, должно быть, пошитом по заказу; длинный по моде пиджак, галстук, отутюженные брюки – всё прекрасно сидело на нём; и это в нищие послевоенные годы; не иначе как сын высокопоставленных родителей. Он был студентом таинственного военного института иностранных языков, учил английский, никто толком не знал, что это был за институт, и даже не приходило в голову спросить, кого он,

собственно, готовит. И сейчас писателю казалось, что, подружившись с ним, Серёжа проходил, так сказать, производственную практику.

И тот тайный, кто сидел за двойной дверью в конце коридора в административном крыле, и кто-то там в институте военных языков, и мальчик в новеньком, с иголки костюме, сын важных родителей, — были *коллеги*, вот в чём дело.

Откуда он всплыл? Знакомство произошло всё в той же поэтической студии. Был ещё один парень, некий Миша Китайгородский: в детстве жили с Серёжей в Кривоколенном переулке, на одной лестничной площадке, и в школе сидели на одной парте. После войны Серёжа с родителями переселился на улицу Чехова, и дом был особый, посторонних туда не пускали, и к Серёже нельзя было больше ходить в гости. Руководитель клуба молодых стихотворцев похвалил Мишу. Вместе с Мишей на заседания клуба приходил закадычный друг. Потом этот Миша куда-то пропал, больше не появлялся, зато Серёжа, хоть и не писал стихов, стал завсегдаем клуба, и как-то так получилось, что вы сблизились.

О том, что Миша был арестован за «разговорчики», услышали каким-то образом, прошёл шёпоток, слушок; Серёжа об этом знал, но помалкивал, как и вообще полагалось молчать в таких случаях; но память об исчезнувшем сблизила вас. Всё как-то выстраивается, думал писатель, шахматная партия разыгрывается сама собой по собственным правилам. Не было бы этого Миши, не было бы и Серёжи. Миша исчез, а Серёжа был его другом. Серёжа остался, потому что исчез Миша. Серёжа приходил на факультет, на третий этаж, туда, где окна выходят на площадь и крепость с зубчатой стеной, допоздна бродили по городу, входили в Филипповский ресторан на улице Горького. Серёжа говорил, что продал словарь Вебстера, и был при деньгах. Это были головокружительные вечера. Снаружи в окнах, задёрнутых тюлевыми занавесками, горели красные неоновые вывески, в вестибюле встречал швейцар в серебряных галунах, волны тепла, роскошного уюта окатывали, окутывали входящих, в тусклом тумане, в волшебном сиянии люстр, среди говора, женского смеха, неслышного бега официантов усаживались за столик с крахмальной скатертью, подходил надменный метрдотель, подавальщица в наколке, в кружевном передничке приносит розовый графинчик, холодную телятину, заливное из судака а-ля... теперь уже не вспомнишь, как это называлось, не сказать, чтобы очень уж аппетитное, но ужасно аристократическое. Серёжа щурился, смотрел на бёдра официантки, на эстраде брэнчал и ухал оркестр, и конферансье, похожий на дворецкого в американском фильме «Сестра его дворецкого», похожий на графа Данило из оперетты «Весёлая вдова» — *па-айду к Максиму я, там ждут меня друзья!* — похожий на Эдвина из оперетты «Сильва» — *помнишь ли ты, как мы с тобой встречались*, — шикарный конферансье объявлял жирным переливчатым баритоном:

«Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях...»

И называл какое-то имя, очевидно, знаменитое, простирая ладонь в угол, где сидел с каменным лицом этот знаменитый, а напротив него, с серебристой лисой на спинке стула, вся в кудряшках белокурая красавица, точь-в-точь как Людмила Целиковская. И вообще здесь все были похожи на кого-то. Оркестр грянул заказанное, истинно русское, любимое, от которого хотелось вскочить и пройтись гоголем. На эстраде, рядом со спиной и фалдами дирижёра уже стоял наготове дородный певец со сверкающей лысиной, в крахмальной манишке с бабочкой, именуемой «собачья радость». И —

Вдоль по Пите-ерской. По Тверской-Ямской, да эх, ы!

Серёжа разливал водку. Люстра вращалась, переливаясь огнями. Начиналась увлекательная беседа, писатель спешил поделиться своим открытием. Серёжа кивал, говорил, что и он догадался. Открытие состояло в том, что мы живём в царстве обмана и лжи. Самая счастливая в мире страна на самом деле самая обездоленная, величайший стратег и полководец никакой не полководец, а деспот

и трус, который прячется в Кремле, в нашей стране фашизм, что и подтверждается сходством с немцами: у них фюрер, у нас вождь, у них партия, и у нас партия – наш-рулевой. И всё такое прочее.

XXXIV Утрение утехи. Ничтожество, или частное лицо

10 октября 1956

Тёмным утром, когда казалось, что день так и не наступит, когда тусклые огни отражались в лужах и угрюмые пешеходы сталкивались зонтами, человеческая каша съезжала по эскалаторам, вдавливалась в вагоны и колыхалась в подземных туннелях навстречу летучим огням, – утром в понедельник, в комнате-келье баронессы Тарнкаппе нагая девушка тщетно старается выбраться из стеклянной неволи, тусклой белизной отсвечивает исполосованное временем зеркало, и стена над диваном увешана фотографиями баснословной эпохи. *Veuillez avoir l'obligeance...* Мальчик ёрзает на диване.

Тёмным осенним утром, в свинцовых лучах Сатурна, когда кажется, что день никогда не наступит, в доме на углу Большого Козловского переуллка, в комнатке покойной Анны Яковлевны висит на стуле, валяется на полу рубаха мужчины, бюстгальтер и кружевные трусики женщины; двое дремлют после предутренних объятий, он, повернувшись к стене, она с приоткрытым ртом, в путанице волос на подушке, над краем раскладного дивана.

Он проснулся окончательно, теперь и он лежит на спине. Счастливый любовник стряхнул с себя лохмотья сна. Женщина по-прежнему посапывает. Скосив глаза, он видит её плечо и левую грудь, слегка соскользнувшую вниз. Что сулит этот день? Или чем он грозит. Оставаться по-прежнему в подвешенном состоянии, приезжать, возвращаться и снова приезжать в квартиру, где новые жильцы вот-вот должны вселиться в бывшую комнату родителей. Ночевать у Вали в ожидании, когда донесут соседи, нагрянут мусорá, – или всё-таки зацепиться, получить какой-никакой штамп в паспорте. Проклятье труда, о, проклятье труда, – кто из нас не давал себе клятву никогда не работать, «если выйду когда-нибудь на волю», кто не твердил себе: нет уж, буду лапу сосать, с голоду подыхать, но работать ни-ни, и никто меня не заставит. Увы, проклятье тащилось за ним, как тень. Получить прописку можно, если числишься на работе, а поступить на работу, если прописан.

Прописан-то он прописан, но где?

«Дай взгляну ещё раз».

Она натянула повыше одеяло. Писатель перевалился через Валентину, зашлёпал в угол, вернулся с предательской книжечкой в сером дермантине. Сумерки одели в серое его тело, он был худ, широкоплеч, с впалым животом, чёрные волосы, начинаясь от пупка, осеняли его пол. Женщина смотрит на тебя. Точнее, смотрит на *него*.

«Слушай-ка... Ты что, еврей?»

«Мусульманин».

«Нет, серьёзно».

«Словно первый раз видишь».

«Хотела спросить».

Он пожимает плечами. «С этой точки зрения, еврей».

«А я и не знала».

«Мой отец был половинкой. Вероятно, бабушка».

«Что бабушка?»

«Настояла на том, чтобы...»

«Говорят, евреи...»

«М-м?»

«Говорят, женщинам нравится».

«Что нравится?»

«Ну, когда член голый».

«Тебе тоже?»

«Может, и нравится».

Ого! он растёт. Божественный гриб растёт. Мужчина нависает, разбросанные ноги, как щупальцы, обхватывают его ягодицы. Тяжело дыша, любовники перекатываются на ложе, и, оказавшись наверху, женщина превращает победу мужчины в свой триумф, в свою победу.

Они лёжат рядом. Серый день возвращается в комнату. Серая книжечка валяется на полу.

Две вещи определяют место человека на земле: паспорт и детородный член. Две инстанции решают твою судьбу – чиновник и женщина.

Признаться ли себе в том, что только *это* у него и есть?

Валентина шарит голой рукой, нащупывает книжечку.

В чём дело, паспорт как паспорт.

Не совсем. Федот, да не тот.

«Вот», – сказал он.

Загадочная графа «На основании каких документов выдан...»

На основании справки №... и Положения о...

«Ну и что?»

«А то, что в твоём паспорте, например, такой пометки нет. Она означает: вышел из заключения. Я ходил к юристу. Хотел узнать, что это за Положение».

«И что он сказал?»

«Ничего. Это такая контора адвокатов на пенсии. Старые волки. Работают на общественных началах, можно получить консультацию бесплатно. Они там все сидят в одной комнате. Я говорю: вот я вернулся, хочу узнать, что мне положено, что не положено. Он посмотрел на меня и сказал: пойдёте, я вас провожу. Вышли в коридор, он говорит: я не могу ответить на ваш вопрос. Не все законы подлежат разглашению. Это Положение секретное».

«Правильно, – сказала Валентина. – Если каждый будет знать... Нам пора, давай одеваться. Слава Богу, что хоть...».

«Что – слава Богу?»

«Что хоть национальность – русский».

Тени жильцов уже копошатся на кухне. Чайник вскипел. Она вернулась и рассказывает:

«Ведьма эта, плоскодонка. Тощая, как щепка. Кто это у вас там ночует, посторонних к себе пускаете, вот придут проверять... Я говорю, а твоё какое собачье дело».

«Но они в самом деле могут проверить. Может, она уже написала».

«Пускай пишет. Начальник меня знает».

Начальник милиции её знает, и тот, к кому они собрались, её тоже знает; так-то оно так, а всё же. Отовсюду внимательные глаза следят за тобой. В толпе равнодушных граждан ты словно инвалид на тележке с колёсиками. Вон там впереди маячит синяя фуражка, ждёт, когда ты подъедешь.

Не попадайся на глаза начальству. Одиннадцатая заповедь, которую русский народ прибавил к Декалогу Моисея. Звенят подковки сапог. Мильтон марширует навстречу. Переберись на другую сторону улицы. Нырни в переулок. Исчезни, испарись. Поздно, он догоняет тебя. Внезапно задребезжал звонок в коридоре: они стоят на лестнице. Звонок! Ты что, не слышишь? Они пришли за мной.

«Да нет там никого...»

Она одевается. Наклонившись, так что её круглые плоды нависают во всей красе, продевает в шёлковые трусы одну полную ногу за другой, хозяйственно заправляет груди в бюстгальтер.

«А я говорю: звонят».

«Ну, звонят, кто-нибудь откроет».

«Говорю тебе, один звонок, это к нам».

Спрятаться в сортире? Соседи шастают в коридоре. Где такой-то? Вон там – пальцем на дверь уборной.

Вздыхнув, она накинула на себя что-то, вышла в коридор и вернулась.

Она лично руководит его экипировкой. Скромно, но прилично. Ни в коем случае не бросаться в глаза, но так, чтобы люди видели, что порядочный человек. Хорошо бы ещё что-нибудь нацепить. Что-нибудь патриотическое. Роемся в деревянном блюде с брошками, клипсами, бусами. Вот это будет в самый раз. Алый эмалевый значок «40 лет ВЛКСМ» красуется у писателя на лацкане пиджака.

«Теперь уже поздно».

«Что поздно?»

«Поздно вступать».

Он думает, что этот значок носят только старые комсомольцы. Он никогда не состоял в комсомоле.

«Почему?»

Он пожимает плечами. Так получилось. В эвакуации никакой комсомольской организации не было, и вообще обо всём этом забыли во время войны. В университете вступать было неудобно – когда все давно уже комсомольцы. Да и зачем?

«Призрачная организация», – сказал он.

«Ты так думаешь? – Она усмехнулась. – А вот сейчас увидишь».

Что-то похожее на солнце проглядывает в прорехах серовато-молочных облаков, добрались до бывшей Волоколамской заставы, оттуда троллейбусом, и вон оно, видное издали, бетонно-стеклянное, с уходящими ввысь рядами окон, с огромными буквами над крышей во всю длину фасада. Вслед за спутницей писатель вступил в просторный вестибюль.

Что-то есть в его внешности, неуверенной походке, притягивающее бдительный взгляд грозного швейцара с лицом мопса. Мимо, мимо... Презрительные девицы с наклеенными ресницами в низких креслах за столиками чёрного стекла, папироса между двумя пальцами, высоко закинутые ноги, коленки в апельсиновых чулках. То ли кого-то поджидают, то ли так положено – чтобы в креслах полулежали модные красотки. Племянница – но теперь она уже не была племянница, она превратилась в таинственную незнакомку, в столичную штучку, в девушку из высших сфер – племянница в светлом габардиновом плаще с пояском, подчеркнувшим бёдра и грудь, в шёлковом платочке вокруг шеи, на цокающих каблучках, показав мимходом красную служебную книжечку отеля «Комсомольская юность», втолкнула писателя в лифт, и оба отразились в зеркалах, бесшумно, тайно поплыли наверх, бесшумно остановились. Светлый коридор, ковровая дорожка и ряды дверей с узорными бляхами.

Костяшкой пальчика с полированным коготком: тук-тук.

Ещё раз – тук-тук.

«Алексей Фомич, а мы к вам!»

Каблучками в трёхкомнатные хоромы: цок-цок.

Алексей Фомич кажется розовое молодёжное лицо. Он только что принял душ, мокрые волосы, пёстрая шёлковая пижама, щегольская сорочка лимонного цвета, просторные пижамные штаны и меховые шлёпанцы.

«А-а, Валенька... заходи, заходи».

И, должно быть, думает писатель, могучий, как у коня, полновесный орган между крепкими волосатыми ногами.

Однако... какие у неё знакомства.

Она выпархивает из ванной с пушистым полотенцем на вытянутых руках – Валентина здесь как дома. Алексей Фомич вытирает полотенцем крепкий затылок. «А это, Алексей Фомич, я вам говорила...»

«Прости, Валюша, запамятовал».

«Я вам говорила... насчёт...»

«А! этот. Как же, вспоминаю».

«На вас вся надежда...»

«Чайку? Кофейку? У меня полчаса времени... давай по-быстрому».

«Всё-то вы заняты, нельзя так много работать...»

Дверь неслышно отворилась, въехал столик. Мальчик в курточке и картонной каскетке, тщательно причёсанный, скромно-смазливый, проворно расставляет рюмки, чашки, тарелочки с закусками, ловко орудует штопором. Уселись; так в чём дело-то.

«Я вам уже говорила...»

Она вздыхает. Есть от чего вздохнуть.

«У него...»

«Короче. Когда освободился?»

«Алексей Фомич, за вас».

Пригубить рюмочку. Заодно налили и просителю.

«Время, время! У меня совещание в президиуме».

«Чтобы вы были по-прежнему молодым, красивым...»

«У тебя что, отгул?»

«Я сегодня в ночную смену...»

«Угу. Статья? Тири-рири-ри... – Он напеваает, оглядывает трапезу. – Небось пятьдесят восьмая?»

Масло туда-сюда, словно точит нож о булочку. Вилкой листок голландского сыра – шлёп. Сверху ломоть отменной докторской колбасы.

«Алексей Фомич, мальчишкой был. Сболтнул что-то там».

«Тири-ри. – Искоса, писателю: – Небось прокламации писал! В организации состоял! Чего молчишь-то, язык проглотил?»

«Нет», – сказал писатель.

«Боишься сказать, что ли?»

«Ничего не писал и нигде не состоял».

«Все вы так. Каждый из себя невинную жертву корчит. Ладно, кто старое помянет... Пouchили тебя маленько, тоже полезно. Ты теперь свободный полноправный гражданин».

«Да ведь в том-то всё и дело, Алексей Фомич, полноправный-то он полноправный...»

«Знаю, знаю... Ничего коньячок, а? Ладно, всё понял. Обещать не обещаю. Посмотрим... Попробуем. Паспорт у тебя с собой?»

Оба возвращались в квартиру возле Красных Ворот. А ты, спросил он.

«Что – я?»

«Какая у тебя должность?»

«Много будешь знать. Какая должность... Горничная. Обыкновенная горничная».

«Это я понял, – сказал писатель. – Только ведь туда, я думаю, просто так не попадёшь».

«Правильно думаешь».

«Как же ты...»

«Как попала? Вот так и попала: по знакомству; а ты как думал? Без блата теперь ни шагу. Само собой, проверка документов, врачебная комиссия, куча всяких справок. Одна анкета – десять страниц. Ну, и конкурс, конечно. Никогда не думала, что пройду. Сто баб на одно место, ужас».

XXXV Интермедия: личная жизнь Валентины

Октябрь или ноябрь

В полдень века золотушное солнце слабо отсвечивает в окнах верхних этажей. Войдём в подворотню. Здесь всё то же. Разве только исчезли пожарные лестницы, никто больше не лезет на крышу, не носится по двору, не играет в «классики», в «колдунчики», в «двенадцать палочек». Двор пуст. Мальчики тридцатых годов лежат в полях под Москвой, в калмыцких степях, в прусских болотах. Тебе, парень, повезло: твоя очередь приблизилась, когда наступил мир, твоё место на кладбищах войны пустует.

Писатель спрашивает себя, что осталось от девушки в бокале. Наши детские увлечения, детская очарованность, детская любовь – если это была любовь – не только запоминаются на всю жизнь, но проецируются на других женщин, участвуют, сознаём мы это или нет, в том особом виде творчества, которое называется любовью. В первые минуты, в то утро, когда он явился с вокзала, ему показалось, что она всё та же. Это была иллюзия. Девушка-русалка давно уже выбралась из своей стихии, превратилась в обычную женщину. Вопрос, который он задал, был, собственно, вопрос, любит ли он её по-прежнему; вопрос, который и сама она задавала себе в иные минуты, когда, пресыщенные друг другом, они погружались в отчуждённое молчание, когда мало-помалу перед ней открылась истина о нём, перед ним – истина о ней. Человек, который приезжал к Валентине, чтобы остаться на ночь, которого она понемногу поддерживала, подкармливала, который почти уже перебрался к ней, – молчал, когда нужно было что-то сказать, ни слова о чувствах, ни единого словечка благодарности; человек с выжженными проплешинами в душе наподобие полей чёрного праха и обгорелых пней, которые оставляют за собой лагерные бригады, вгрызаясь в тайгу. А женщина, с которой связали его одиночество и чувственность, – кем была она, кем стала за эти годы?

При входе во двор налево, в первом этаже находится широкое трёхстворчатое окно, в детстве именовавшееся венецианским, – может быть, потому, что никто не бывал в Венеции, и никогда не будет, – досюда никогда не доходит солнце: комната Анны Яковлевны. Окно задёрнуто занавеской.

Она стоит перед зеркалом: дуэль глаз, клоунада лениво-бесстыдных телодвижений. Из опрокинутой комнаты на Валю взирает призрак полунагой женщины, чья молодость всё ещё продолжается, да, да, всем назло продолжается и притягивает взгляды. Рассматриванье себя, а точнее сказать, пожирание себя в волшебном стекле – ни с чем не сравнимое переживание; всякий раз открываешь себя заново. У неё свободных полдня, она только что поднялась. В копне нечёсаных волос, оторвавшись от своего отражения, она присела на корточки перед комодом; её колени блестят, сорочка сползла с плеча. Незачем тащиться на кухню, для этих вещей имеется спиртовка. Она поставила её на пол. Отупелая, без мыслей, она сидит на своём ложе.

Ей показалось, мелькнула тень за окном, вскочив, она заглядывает за край гардины, видит угол двора и освещённый солнцем вверху брандмауэр. Еле слышно клокочет вода в стерилизаторе. Умелые пальцы надпиливают крошечной пилкой горлышко ампулы, щелчок – сосок отлетает, волшебный сок насасывается в стеклянный цилиндр. Теперь стянуть жгутом левую руку повыше локтя, короткий, нежный прокол, струйка крови вползает в «баян», зубами ослабить жгут, поршень вперёд. Ласковая смерть вливается в меня.

Отбросив одеяло – жарко, – я лежу на спине, жду, сейчас «двинусь»... Ничто так точно не передаёт наши ощущения, как этот язык, этот нежный, бесстыдный код посвящённых, нас много, мы узнаём друг друга по этим словечкам. Вот оно!

Уже забирает. Уже возвестило о себе серебряными звоночками, мимолётным головокружением, покалыванием в пальцах, в паху, в затылке. Время растягивается, утро далеко позади, и ясно до слёз, до последних уголков памяти, что прежняя жизнь была жалкой, скудной, никчёмной – какое-то полусуществование, и только это расправляет скомканную душу, открывает глаза, поднимает на крыльях. Только это делает тебя человеком, и не просто человеком – женщиной. И я смеюсь от счастья, и медленно, величаво красавица поднимает ресницы. Комната, как была, так и осталась, но всё кругом наполнилось смыслом и ожиданием. Взглянула на часы – всё ещё длится полдень. У неё бездна свободного времени.

Она снова стоит перед зеркалом – там усмеваются, подмигивают, срам какой, надо же, наконец, причесаться. Бросив на столик щётку с клочками волос, она принимается за лицо, протирает пахучим лосьоном лоб, подбородок, проводит ваткой под глазами, где карандаш? – поправляет дуги бровей. Для кого она украшает себя? Господи, да ни для кого. Она почти упирается носом в стекло, колдует с тушью для ресниц, перебирает металлические, деревянные, пластмассовые патроны с помадой, тронула губы пламенно-оранжевым – стёрла, – тёмным, пурпурным, как кровь, – снова стёрла, провела губным блеском. Она полна любви к себе.

И оживает стекло, разгорается тусклым серебряным пламенем, медленно отступает та, другая, окружённая сиянием, кивает, зовёт, улыбается уголками бледно-блестящих губ. Происходит то, что всегда происходит: она понимает, что это – игра, но грань игры и действительности исчезла; если она играет сама с собой, то и та, в хрустальном стекле, играет с нею. Покачать головой, погрозить ей пальцем. Сбросить всё с себя, как те нежные и наглые, в маленьком смотровом зале, где показывают трофейные фильмы, что ж, и нам есть что показать.

Она осталась в лакированных туфельках на высоких каблуках, выгода которых очевидна: женщина становится гибче, стройней, зад и бёдра круглей и выше, взгляд обтекает их. С лицом покончено, с ним уже достаточно повозились, напоследок острый взгляд в расширенные наркотиком зрачки, но долго его не выдержишь.

Она поворачивается так и сяк, разглядывает себя сбоку, от затылка к изгибу поясицы и полукруглой линии в меру пышных ягодич, от лебединой шеи к соскам невысоких грудей, вдоль опущенных мраморных рук к ладоням, к узким алым ногтям в углублениях длинных пальцев с простеньким бирюзовым колечком, приносящим счастье, с платиновым перстнем, наделённым мрачной магической силой, – подарок могущественного Алексея Фомича. Глубоко, страстно дышит её отражение, любясь собой, она поднимает руки, её ладони открыты, она покачивается, как в танце, балансирует, словно идёт по канату в лиловом сиянии юпитеров, и та, вторая, в зеркале, жадно следит: дойдёт или не дойдёт? Канат качается под ней, она переставляет узкие стопы, трется друг о друга внутренние поверхности бёдер, и сладостное, всякий раз новое ощущение заливают плясунью, заливают тёмный дышащий зал. Вдруг шорох, скрип! – этого ещё не хватало – она спрыгивает с каната, бросается к дверям. Дверь приоткрыта. То ли сама собой отворилась, то ли кто-то прячется в коридоре. Кто-то подглядывает за ней. Это бывает. Ей говорили, всё зависит от дозы, но надо убедиться. Подхватив что-то, прикрыв грудь, она высовывается, стоит сундук, горит чахлая лампочка, двери жильцов закрыты. Она оборачивается и видит свою союзницу и соперницу в чёрно-серебряном стекле. Одеяло сползло. Валентина лежит на диване, на смятой простыне, слёзы текут по щекам, она оплакивает свою долю, уходящую молодость, и не знает, был ли кто-нибудь в коридоре, отомкнул ли кто её дверь, запертую на ключ, или всё это бред, яд, лишнее деление на стеклянном цилиндре шприца. Сколько-то времени проходит. Ей пора на дежурство в отель.

XXXVI Уступка философствованию, которое никуда не ведёт

Полдень 21 февраля 1957

Подведём итоги, сказал он. Феерическая поездка с Анной Яковлевной в Колонный зал окончилась ничем. Вечный двигатель так и не был изобретён. Девушка навек осталась в бокале. Война, конец детства. Университет... Время поэтических проб, вздыханий, ожиданий, и снова жизнь насмеялась над тобой. Памятный разговор в Круглой аудитории, бегство из Москвы и конец юности. Где во всём этом смысл, где связь вещей? Подведем итоги; литература – это итог.

Любовь к пустыньке Наташе ушла в песок. – Слишком поздно, приятель, мы догадались, что одними чувствами не отделаешься. – Сны объяснили, в чём дело, с грубой наглядностью. – Было, может быть, что-то трогательное, что-то подлинное в этом танце влюблённости. Но она и была создана для влюблённости, больше ни для чего. Представить себе, чтобы при каком-нибудь необыкновенном стечении обстоятельств, она «отдалась», так же невозможно, как невозможно предположить, чтобы он нашёл в себе нужную решимость. – Самое слово «половой акт» резало слух. – Но если бы это случилось, если то, что демонстрировал театр сновидений, однажды осуществилось бы наяву, что было бы? Любовь, прошу прощения, вытекла бы вместе с семенем. – И, однако, парадокс в том, что, называя вещи «своими именами», мы избираем самый лёгкий путь, мы не постигаем истину – мы проскакиваем сквозь неё, как пуля сквозь яблочко мишени.

Сопя, кашляя, сочинитель сидит в своей комнатёнке за дощатым столом. Да, сочинитель, бумагомаратель, графоман: пусть лучше так, чем называться «писателем», надутое, фальшивое, лживое слово. Пузо вперёд, в зубах декоративная трубка. *Пи-ссатель сраный*. Слышите ли вы это змеиное «с-с»? Похоже, мы дожили до той поры, когда выражение *советский писатель* стало эвфемизмом проституции. И так, на чём мы остановились... Вжиться в минувшее. Восстановить настроение тех лет. Сделать прошлое настоящим. Сочинитель не читал Августина. Но он постиг: литература – это вчерашняя вечность. Не назвать ли так всё сочинение? И так, вернёмся к тем временам, *revenons à nos moutons*², словечко Анны Яковлевны. Её уже не было в живых...

21 февраля, продолжение

Он помнил, как он кипел ненавистью к вертлявым, неуловимым существам: за их лицемерие, за их уклончивость, за то, что невозможно было понять, где кончается искренность и начинается театр, где граница между невинностью и притворством, и не есть ли это одно и то же; он ненавидел их за то, что они притворялись, будто ни о чём таком не подозревают, и притворялись, что притворяются, – на самом же деле были циничны, расчётливы, знали всё наизусть. О, эта желторотость. Ведь ему даже в голову не приходило, что женщина, будь ей восемнадцать лет или все сорок (что, по тогдашним твоим понятиям, было бы безнадежной старостью), вовсе не видит оскорбления в том, что её «желают», напротив, обидно и оскорбительно почувствовать, что с тобой не желают больше возиться. Не приходила в голову та простая истина, что обожание может льстить, забавлять, но в конце концов надоест.

В каждой ужимке и в каждом движении тела скрывалась двусмысленность, отворачиваясь, тебе на самом деле подставляли себя, и наоборот, «нет» означало «да», «да» значило «нет». Была ли в этом какая-то логика, были ли они по-своему правы? Они словно заранее знали, что стоит переступить границу, стоит только

² Вернёмся к началу (фр.)

«дать» – да, именно так, цинически, они выражались, эти якобы наивные существа, и не только мысленно – наверняка пользовались этим словечком в разговорах между собой, – стоит однажды уступить, и любовь захлебнётся в своём утолении. Кто же не знает, что образ невинной девочки есть изобретение мужчины. Драгоценнейшее, может быть, изобретение, но – артефакт! И все же предположение, будто вся эта тактика подчинена расчёту, остаётся всего лишь предположением.

Укоряя других в цинизме, сам становишься циником.

Правда двулика.

Вжиться в ту далёкую жизнь.

Человек с повреждённым паспортом поднимает голову. Ему показалось, что кто-то скребётся в дверь. Оставьте меня в покое! Писатель был явно не в духе – оттого ли, что не мог собраться с мыслями, в буквальном смысле собрать их, как подбирают бусы, раскатившиеся на полу, или не мог сосредоточиться оттого, что находился не в духе, а на дворе – гнилая бессолнечная весна.

Смысл в том, чтобы отыскать смысл. Собрать и нанизать эти бусы на нитку. Он озирает свои бумаги, и тут ему начинает казаться, что на первый случай, по крайней мере, существует ответ. Он ещё не совсем постиг, каков он, этот ответ, но как-то отлегло от сердца, пала активность желёз, вырабатывающих плохое настроение. Рахитичный луч упал из окошка на пол, протянулся до стола, проглянуло солнце.

Ближе к вечеру

Ему приходит в голову забавная мысль. Он думает, что эта потребность нащупать стержень, преодолеть удручающий хаос жизни, убедить себя в том, что *всё недаром* и за кажущейся бессмысленностью существования прячется некий умысел, – что это? не скрывается ли в этой жажде обрести единство, уловить тайный смысл некий наследственный недуг: так заявляет о себе капля еврейской ветхозаветной крови, быть может, ещё сохранившаяся в нём. Он усмехнулся. Микрокосм его жизни вдруг предстал ему как отражение макрокосма страны. Может быть, в этом-то и весь смысл? Или, по крайней мере, оправдание его жизни. Типично иудейская идея.

Страна Россия, думал он, что за страна! Полная чаша. Всего в избытке. Но никому не дано насладиться красотой её природы, величием рек, изумительной архитектурой городов, широтой, простором, волей. Всё тонет в хаосе. Ничего не удаётся. История оборачивается кровавым абсурдом. Вот откуда эта мечта выломаться из истории. На минуту ему показалось, что душа страны, осознающая себя – где? в чём? – разумеется, в литературе, – что это его собственная душа.

Её вечное «не то» – это твоё собственное «не то».

Да, ты мог упрекать себя, что у тебя нет характера, нет воли, ты ничего не в силах добиться; все надежды, все начинания пошли прахом; ты был прав: из тебя ничего не получилось. Это оттого, что ты живёшь, чтобы стать литературой. Ты тот самый, сраный писатель. Как только я принимаюсь о чём-то рассказывать, происходит литература. И я успокаиваюсь. Испарения гнусного века для меня не опасны, я вооружён противогазом. Я неуязвим: меня нет. И не стучитесь ко мне.

Ему становится почти весело.

Напиши-ка о том, как некто собирается рассказать о своём времени, но время ненавидит таких, как он, ибо ненавидит всякую независимость, всякую самостоятельность, хотя бы она была всего лишь упорством, с которым ты отстаиваешь своё существование. Напиши роман о сером, неинтересном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя – *Некто*. Только так ведь, не правда ли, можно себя назвать. Только такой персонаж может стать героем нашего времени. Напиши о человеке, чья бесцветность оправдана тем,

что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и если, наконец, он взялся за перо, он остаётся каким он себя ощущает: песчинкой в песочных часах истории. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там – вихрь увлёл тебя за собой, скажи спасибо судьбе, слава злодейское государство за то, что ты уцелел.

Он хватается за вставочку, школьное перо: быть может, эти заметки «по поводу» столкнул с места его работу. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. Написать о том, что роман не даётся? Не означает ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками – то ли прощаются, то ли зовут к себе?

Вот почему, между прочим, – «фрагменты». Потому что эта эпоха похожа на отбивную – кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И роман о ней может быть только обрывками. Связное повествование – это, господа, былая роскошь, достояние других времён, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект.

О чём и «повествует».

Но тут опять. Едва лишь нам удалось нанизать бусы, как нитка выскользывает из пальцев, жемчужные шарики рассыпаются. Кому это – *нам*? Кто говорит? Стать рассказчиком или остаться безличной точкой зрения, ничьим взглядом? *Revenons au commencement*³.

Где-то в Старой Москве обитает старая дама из «бывших». На дворе тридцатые годы, глухое безмузыкальное время. Нужно, чтобы оно зазвучало; так переключают на музыку скучный, бездарный текст. Так расчёрчивают нотный стан, но где же мелодия? Нужна тема. Что-то должно происходить. Старухе необходим собеседник, лучше всего ребёнок, он-то и представляет собой, в первом приближении, повествующую инстанцию. Мы пришли к необходимости персонального рассказчика. Двигаться дальше по проторённому пути, превратить повествователя в персонаж? Твоё «я» существует в двух лицах. Ты говоришь с самим собой, но это значит, что ты преобразуешь себя в Другого. Марсель – это Другой, не Пруст. Роман растёт и мужает в воспоминаниях, воспоминание же оказывается, как в ловушке, внутри чего-то большого – внутри романа. Это роман распоряжается и тобой, и твоим двойником. Роман – это и есть то, что некогда называлось *сверх-Я*. Роман – всесильный наркотик, «бан», чудодей.

Важно не то, что он способен удвоить существование, открыть для тебя твоё другое Я, о коем доселе ты не подозревал, – важно, что он убеждает тебя в том, что Другой существует на самом деле. Считается, что триггер отпирает запертые камеры сознания. Открывает ли он новые пласты действительности?

Слоистость твоего «я» есть не что иное, как слоистость действительности.

Ночь на 22 февраля

Здесь, как и всюду, проставлена дата. Заметьте, однако, что вмешательство хронологии насилует подлинную жизнь. Коварство так называемого исторического мышления, силки, которые расставляет нам линейная повествовательность. Было то-то, потом случилось то-то, и получилось то-то. И выходит какое-то подобие осмысленности. На самом деле мы не живём в хронологически упорядоченном времени, хоть и стыдимся в этом признаться. Долой хронологию!

Прошлое – как повороты детского калейдоскопа; вопрос в том, кто перебрасывает эти цветные стёклышки, из которых при каждом повороте складывается новый узор, кто же это великое и безрассудное Дитя, которое крутит трубку калейдоскопа.

³ Вернёмся к началу (фр.)

Но не значит ли это (спросил он себя), что мы тянемся к литературе как области, где прошлое не противостоит настоящему, где время воспоминаний неприметно переходит в сновидческое время, *le temps onirique*, столь же легитимное, как и всякое другое, и в котором, как матрёшка в матрёшке, в свою очередь содержалось другое сновидение; и не в этом ли преодолении линейного времени новое и высшее оправдание литературы? Задав себе этот головоломный вопрос, сложив руки на столе, сочинитель опустил на них тяжёлую голову.

Он спал несколько минут.

Сон, нечто всплывшее из колышущейся бездонной массы бессловесного, промытое в чистых струях сознания, чтобы превратиться в послание, в притчу, — сон застал его не на соломенном ложе, но где-то на дальней линии метрополитена, был поздний час, поезд всё ещё стоял на станции, ты вошёл в пустой освещённый вагон. Тотчас в твоём мозгу ожило другое видение: ты брёл вдоль отсыревших стен туннеля, цеплялся за кабельную проводку, ты был там, среди врагов, и вместе с ними спасал свою шкуру, тускло поблескивали рельсы, что-то выступило из мрака, лобовое стекло, мертвые чаши фар. Машинист спал перед пультом управления, уронив голову, это был поезд мертвецов. А снаружи грохотала артиллерия, рушились остатки погибающего города.

Но вот прозвучал голос, предупреждавший об отправлении, в эту минуту на перрон вбежал запоздалый пассажир, бросился к вагону, двери захлопнулись. Пассажир дёргал за ручку застрявшего портфеля, делал отчаянные знаки, видимо, просил тебя помочь раздвинуть двери, наконец, они разошлись, снова сомкнулись, и перрон вместе с пассажиром поехал назад.

Ты сидел у окна, поглядывал на своё тёмное отражение в стекле, перечёркнутое несущимися огнями, и думал о том, что сны дешифруются не наяву, а в романе, что вопрос о том, какое время реальней, онирическое или реальное, отнюдь не решён и что следовало бы сдать портфель в бюро находок. Но поезд летел не останавливаясь, это была дальняя линия с большими расстояниями между станциями. Пока, наконец, не дошло до сознания, что станция была конечной, а куда едем дальше, неизвестно. Тем лучше: будет время познакомиться с содержимым портфеля. Отщёлкнув замок, ты нашёл там толстую рукопись, принял за чтение, а поезд по-прежнему шёл, не замедляя хода, и вагон раскачивался и громыхал на стыках.

Писатель почувствовал себя плагиатором. Он лежал на тюфяке и должен был признать, что не только присвоил чей-то труд, но присвоил чужую судьбу. Чужой образ, безымянная тень сидит за столом и смотрит на него тёмными глазницами, смотрит с укоризной. И, уже просыпаясь, с необычайной ясностью он постиг, что тот, опоздавший, так и не успевший вскочить в вагон, был он, а в вагоне сидел другой, тот, кто собирался сдать портфель в бюро находок, но передумал, — да и поезд больше не останавливался.

Но и это был сон: и комната, и тюфяк, на котором он уснул не раздеваясь и увидел себя подбежавшим к последнему поезду; очнувшись, он вспомнил, что война всё ещё не кончилась, сообразил, что он заблудился в горящем Берлине, подобно тому как заблудился в своём романе, и странствует в лабиринте подземных путей, и заглядывает в стёкла вагонов застрявшего поезда. О, это было вечное повторение, борозда в мозгу, по которой проносилось его воображение. Он стряхнул с себя этот морок. Стало ясно, что вся его жизнь на воле была долгим и (как это бывает, когда спят тревожно) абсурдно-логичным сном, правильным, но основанным на ложных посылах, наподобие бреда у некоторых душевнобольных. Ложной посылкой было освобождение. Он лежал, но не в хижине Швабры Анисимовны или как там звали полусумасшедшую хозяйку, а на нижних нарах, что было большим преимуществом, так как то и дело, едва успев вернуться, приходилось опять бежать в сортир. Там он сидел, уцепившись за что-то, на короточках на до-

щатом помосте с круглыми дырами, тужился, стараясь выдавить из себя весь свой кишечник, но выходил лишь плевков кровавой слизи, и так продолжалось день и ночь, двое или трое суток, он потерял счёт дням, не мог идти пешком с партией больных, его везли на подводе, это был долгий марш ходячих и лежачих от зоны до станции, в темноте влачился следом за ними усталый конвой, тебя втащили в вагон, где за решёткой тамбура сидели у железной печки два других конвоира, везли свой народ по лагерьной ветке до станции с древним раскольничьим именем Колевец, на больничку. Там он и умер от токсической дизентерии и был свезён на поля захоронения, и некий голос шепнул ему: сучий потрох, ты и на том свете будешь жить в лагере. А в барачной секции, в тумбочке между нарами осталась лежать его толстая рукопись, неужто мы успели написать её ещё там? Задача, следовательно, состоит в том, чтобы вынести её как-нибудь за зону, а там и на волю.

Кого-то надо просить. Тут он спохватился, что всё ещё едет. Пустой вагон гремит на стыках, огни туннеля несутся за тёмным стёклом, где смутно маячит его отражение, два солдата в зелёных бушлатах, в шапках поддельного меха со звёздочкой качаются в тамбуре перед погасшей печкой. Да, сказал он себе, хронология в самом деле есть мнимость.

XXXVII Всё, что не разрешено, – запрещено

22 февраля 1957

Кто-то дёргал за ручку. Это не могли быть *они*. Скорее какой-нибудь сосед... подосланный стукач. Кто-то пытался к нему проникнуть.

Хрустнула ржавыми суставами дверь. Явился некто. Она стоит на пороге. Оба уставились друг на друга. Наконец, она спросила: «Ты кто?»

Что он мог ответить?

«Я здесь живу».

«Что ты тут делаешь?»

Писатель скосил глаза на бумаги, на книжку, пожал плечами. Она приблизилась.

«Что ты читаешь?»

«Книгу, – сказал он. – Вот. Ты ведь умеешь читать?»

Подумав, она ответила:

«Это не по-русски».

Есть такая страна, объяснил он, Франция.

«Ты приехал оттуда?»

«В некотором смысле – да».

«Как тебя зовут?»

«А тебя?»

«Не скажу».

«Ну и я не скажу».

Помолчали.

«Швабра Анисимовна – твоя бабушка?»

Да, так, кажется, звали сумасшедшую старуху. Не ответив, девочка повернулась и выбежала из комнаты, писатель снова пожал плечами.

Через минуту она вернулась с огромным ломтём хлеба, намазанного повидлом. Оба стали есть, откусывая по очереди.

«Вытри руки, – сказал писатель, когда хлеб был доеден. – И на платье накапала. Нельзя быть такой неаккуратной».

Он добавил:

«Что же ты стоишь?»

Снова молчание, девочка ёрзает на табуретке, устраиваясь поудобней.

«А я тебя ждала».

«Вот как. Почему?»

«Потому что ждала». Ответ, не лишённый логики.

«Разве ты меня знала?»

«Я знала, что ты вернёшься».

«По правде сказать, – заметил писатель, – я в этом не был уверен».

«В чём?»

Он был непонятлив, ей пришлось повторить вопрос: в чём же он не был уверен?

«Что я вернусь».

«Понимаю. Ты хочешь снова туда уехать».

«Как тебе сказать...»

Ему хотелось ответить – да, уехать, но не «туда», а прочь, назад в детство. Но разве это так трудно? Дух тридцатых годов витает в комнате с топчаном и щелястым полом, и вы оба ровесники.

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi⁴.

Листаешь пожухлый томик, принадлежавший Анне Яковлевне. Та самая книжка, которую разглядывал милиционер на вокзале, вместе с тобой она тянула лагерный срок. А должно быть, когда-то мерцала золотыми буквами на корешке, за стеклом, в дубовом шкафу, в сгоревшем особняке Тарнкаппе.

«А это что?» – девочка показала на бумаги.

«Это секрет».

«Почему?»

«Если об этом узнают, мне снова придётся уехать».

Твои акции повысились. У собеседницы заблестели глаза.

«Ну хорошо, – сказал писатель, – пусть это будет наш общий секрет. Клянёшься, что никому не скажешь?»

Она усердно кивает.

«Всеми страшными клятвами».

Она поклялась всеми страшными клятвами.

«Теперь походи посмотри, не подслушивает ли кто».

Девочка сползла с табуретки. На цыпочках приблизилась к двери, выглянула в сени.

«Бдительность, – изрёк писатель, подняв палец. – Бдительность прежде всего».

Он перебирал исписанные листы.

Решительно ничего необыкновенного не произошло в этот бледный, анемичный день, в позднюю пору обветшалой зимы. Но ты чувствуешь: настал исторический час. Писатель, у которого появился хотя бы один слушатель, – это уже совсем не то, что писатель без слушателей и читателей. Разоблачить себя, свой тайный порок, стукнуть себя в грудь, объявить всенародно – хотя бы народ был представлен семилетней девчушкой, – чем ты, собственно говоря, занимаешься.

Как если бы он оставил своё переодетое «я» в костюмерной, стёр с лица грим, вышел на подмостки, и все увидели, кто он такой на самом деле. Как если бы не умеющего плавать посадили в утлую лодчонку без весёл; как если бы слушатель, которому ты доверился, осыпал тебя похвалами. И – побежал докладывать.

Всё, на что нет специального разрешения, запрещается. Если что-нибудь не запрещено, это не значит, что разрешено. Всё, что делается самовольно, есть преступление.

⁴ Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну. (Пруст, «По направлению к Свану». Пер. Н. Любимова)

Впрочем, если бы это не было преступлением, не стоило бы писать. Оригинальная логика, не правда ли?

Он всё ещё перебирает листки.

«Здесь эпитафия, но мы его не будем читать...»

Он откашлялся.

Некогда в тридевятом царстве... – остановился и взглянул на девочку.

«Это такая сказка?»

«Отчасти».

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. В те времена уже никаких ворот не существовало. Не было деревьев на Садовом кольце, смутно помнится Сухарева башня, слышатся звонки трамвая на Мясницкой, маячит керосиновая лавка на углу проезда. От особняка, где родился Лермонтов, не осталось следа.

«Ну как?» – спросил он. Ответа не было, девочка сучила ногами, ёрзала на своей табуретке, упираясь ладонями в деревянные рёбра. Сейчас, подумал он, спрыгнет и убежит.

«Как тебе эта проза?»

Зато в переулке за последние сто лет, кажется, ничего не менялось. Поэтому не следует удивляться, если история, о которой однажды тебе поведала Анна Яковлевна...

«Мне?» – спросила девочка.

Он помотал головой.

«А кому?»

«Не знаю. Дальше будет видно».

Поэтому не следует удивляться случаю, который произошёл... случаю, о котором...

Поэтому не приходится удивляться...

Писатель испустил тяжёлый вздох.

«Нет, – сказал он угасшим голосом, – это невозможно».

Схватил вставку и вперился в исписанный лист.

«Понимаешь, так писать не-воз-мо-жно!»

«А как?»

«Гм».

Не дождавшись внятного ответа, она спросила, кто это.

«Анна Яковлевна? Была такая... дальше всё становится ясно. Она живёт в коммунальной квартире. То есть её уже давно нет!»

«Кого нет?» Дети не устают задавать вопрос за вопросом. Этого требует ритуал беседы.

Писатель отшвырнул перо, взбил поредевшие волосы на голове, воззрился на девочку.

«В этом всё дело: она одновременно здесь и там».

«Где – там?»

Неужели непонятно: там, в другом времени. Ему стало легче при упоминании об Анне Яковлевне. Он даже немного развалился, если допустить, что можно развалиться, сидя на табурете.

«Вообще-то всё так и было, – сказал он. – За исключением того, что выдуманно».

Значит, спросила девочка, это сказка?

«В некотором роде, да. Но я говорю тебе, что если не считать того, что я придумал, всё остальное правда. Мне было тогда немного больше, чем тебе. И вот теперь мне кажется, что, например, этот визит, ночью, когда он приехал на извозчике, мнимый, а может, и действительный родственник, я тебе сейчас прочту, – вот это, мне кажется, как раз не фантазия».

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le recontrions avant de mourir, ou que nous ne le recontrions pas⁵.

«Если ты будешь слушать внимательно, — торжественно сказал писатель, — я посвящу этот роман тебе».

XXXVIII Легка на помине

Всё ещё 22 февраля

Он прислушался, что-то вновь происходило за дверью. «Подслушивают, — прошептал он, — я так и знал».

Это был скрип колёс.

«О, — воскликнул жилец, — вот это да! Вот так номер».

Кресло-каталка застряло в дверях, ворочалось так и сяк, наконец, удалось протиснуться. Доктор медицины Арон Каценеленбоген, пятясь, вкатил кресло спинкой вперёд, развернул, сморщенное личико показалось из-за подлокотников, сильно состарившаяся Анна Яковлевна, подняв ветхую аристократическую ручку, приветствовала жильца.

Что касается доктора, то он выглядел по-прежнему импозантно, однако заметно похудел.

«Всё бывает, — молвила Анна Яковлевна, отвечая на безмолвный вопрос писателя, — представь себе: всё бывает. Даже то, чего не бывает...»

Она поглаживала тощую седовласую обезьянку у себя на коленях.

«Не так-то просто было тебя разыскать, — заметил доктор. — Забраться в такую дыру — это надо уметь».

«Но я вижу, ты не забыл язык, это меня радует», — поглядывая на стол, сказала Анна Яковлевна.

«Это ваша книга...»

«Можешь оставить её у себя. Она мне не нужна. Кто эта девочка, — твоя дочь?»

Девочки след простыл. Может быть, оттого, что она родилась, когда вас давно уже не было на свете, думает писатель. Может быть, это просто несовместимость времён.

«Да, мы не виделись тысячу лет. Как ты жил эти годы? — Она озидала убогое жильё, покачивала маленькой лысеющей головой. — Кажется, ты не слишком преуспел в жизни... или я ошибаюсь? Господа, помогите мне выбраться».

Вдвоём подхватили старушку, усадили на табурет, где перед этим сидела юная слушательница. Доктор Каценеленбоген опустился в освободившуюся каталку. Подняв остатки некогда соболиных бровей, Анна Яковлевна поглядывает на стол, на исписанные и исчерканные страницы.

На ней длинное тёмное платье, вязаная кофта, она встряхивает перед ухом спичечным коробком, как бывало, и, конечно, ни одной спички не осталось; доктор, приподнявшись, протягивает ей факел зажигалки. Запах бензина, дивный аромат дешёвых папирос. Мальчик ёрзает на диване, убедительная просьба не

⁵ Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его — напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от неё получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдём ли мы эту вещь при жизни или так и не найдём — это чистая случайность. (Пруст, «По направлению к Свану»)

забираться с ногами! Всю зиму снег свозили с переулка во двор, снег стоит горой в венецианском окне, в комнате бело, и в углу за комодом нагая дама никак не может выбраться из бокала.

Дым тонкой струйкой вытекает из увядших уст Анны Яковлевны. Чёрный дым вылетает толчками из прямоугольной трубы крематория. Кто это изготавливает такие скверные папиросы?

«Дукат, – сказал писатель, – по-моему, фабрика существует до сих пор».

«Странно. Ведь дукат – это от слова *ducatum*. Ты куришь?»

«В лагере курил. Махру».

«*Qu'est-ce que c'est que cette махра?*»

«Махорка», – пояснил доктор Каценеленбоген.

«Ну, рассказывай, я хочу знать».

Что рассказывать? О чём? Писатель пожимает плечами.

«Когда вы вернулись?»

«Я один вернулся. Сбежал из эвакуации».

«Да, да, конечно... память, память стала никуда», – кричит Анна Яковлевна и кивает сморщенной старушечьей головой.

«А мама в конце войны».

И так как за этим должен последовать другой вопрос, он объясняет: Донской монастырь. Недалеко от...

«От меня, – сказала Анна Яковлевна, – можешь не стесняться. А твой отец?»

«Мой отец пропал без вести. Зимой сорок первого».

«Да, да, – вздыхает она. – Страшная зима. Не правда ли, доктор?»

«Вы правы, дорогая, – сказал доктор Каценеленбоген. – Зима была ужасная. Хотя лично я до неё не дожил».

«Немцы всё ещё в России?»

Доктор Каценеленбоген дипломатично кашлянул.

«Э! э! э! – вскричала Анна Яковлевна. – Софи! Не смей!.. Она не выносит папиросного дыма».

Совершив в воздухе дугу, голая и тощая, того особенного цвета, который напоминает покрытый плесенью шоколад, обезьянка плюхнулась на стол.

«Софи, назад!» – громыхнул доктор, но было поздно. Раскорячившись на столе, высоко подняв загнутый кренделем хвост, Софи выдавила из себя комок и ещё один комок.

«Ужас, – пробормотала Анна Яковлевна, – что за воспитание...»

«Софи! и тебе не стыдно?» – внушительно сказал доктор Каценеленбоген.

«Для библиотеки», – пропищала Софи, показывая чёрной лапкой на запачканную, поруганную рукопись.

«Какой ещё библиотеки?»

«В Козловском переулке, в уборной».

«Боже мой, откуда ты знаешь о Козловском переулке, тебя ещё не было на свете...»

«Ничего, я сейчас уберу», – бормотал писатель.

Он явился с железным совком для выгребания золы из печки, молча стряхивал жёлто-коричневые колбаски с рукописей.

«Поди прочь, не хочу с тобой разговаривать», – говорила Анна Яковлевна. Обезьянка снова сидела у неё на коленях. – Я тебя больше не люблю...»

Наступило неловкое молчание.

«О-о... моя спина. Не могу сидеть на этих табуретках. Доктор, отчего у меня болит спина?»

«Это позвоночник. Возрастные изменения».

«И вы ничего не предпринимаете!»

Доктор Каценеленбоген ограничился неопределённым жестом.

«Вообще, что это за манера сваливать всё на возраст. Я была не такой уж старой!»

Удивительные вещи происходят, а впрочем, так и бывает, когда после долгой разлуки ужасаешься, до чего изменился человек, а потом видишь, что он всё такой же. Доктор, конечно, сильно сдал за эти годы, но вот прошло каких-нибудь четверть часа, и перед тобою прежний доктор Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района, величественный, массивный, с перстнем на пальце, с собственной практикой, которую он сумел сохранить в почти уже построенном обществе социализма, и вывеской у входа в прекрасный старый дом на Чистых прудах.

Сопя, доктор тянет губы к мясистому носу, приподнимает седую бровь.

Анна Яковлевна:

«Прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Что присутствие врача – само по себе терапевтическое мероприятие. Mon Dieu! сколько можно повторять одно и то же».

Экс-баронесса вновь покоится в кресле; правда, это уже не верное старое кресло из комнатки-кельки в Большом Козловском. Анна Яковлевна восседает в инвалидном кресле-каталке.

«Совсем дырявая память! – вздыхает она. – Я ведь знала, помнила, как вы с мамой вернулись из эвакуации... (Писатель не возражает). А ты, если не ошибаюсь, поступил в университет?»

«Не ошибаетесь».

«Не хочу мучать тебя бестактными вопросами, ты уж прости меня. Ты, кажется, снова уехал... надолго?»

«Уехал... на северо-восток».

Доктор Каценеленбоген заметил, что пребывание в здоровом северном климате имеет свою положительную сторону.

«Это верно», – сказал писатель.

Анна Яковлевна спрашивает, отчего он не живёт в их квартире, и снова ничего не остаётся, как в ответ пожать плечами.

«Извини мою назойливость, я не совсем понимаю. Но меня интересует. Чем ты всё-таки занимаешься? На что ты живёшь?»

«Я занимаюсь... – пробормотал он, – вы же видите». (Кивок в сторону стола).

«Je m'y attendais... я так и подумала. Удаётся что-нибудь зарабатывать?»

«Для этого надо печататься».

«Я могу похлопотать, – сказал доктор Каценеленбоген. – У меня сохранились кое-какие связи».

Писатель поблагодарил. Анна Яковлевна возразила:

«Дорогой мой, вы меня просто изумляете. Какие связи?! В вашем положении... я хочу сказать, в *нашем* положении».

Она умоляюще взглянула на писателя, украдкой постучала пальцем по лбу.

«Что касается заработка, – продолжал он, – я работаю. Или, вернее, работал. Она меня устроила».

«Эта женщина?»

«Ну да. Ваша племянница».

«Мой Бог, какая она мне племянница. Седьмая вода на киселе... Скажи мне... (понижив голос) ты с ней в близких отношениях?»

«В общем, да».

Доктор Каценеленбоген изобразил на лице понимающую мину.

«Она тебя любит? Почему ты на ней не женишься?»

«Дорогая, почему молодой человек непременно должен...»

«Доктор, молчите. Я знаю, что вы хотите сказать».

«О женитьбе не может быть речи, – сказал писатель. – Мы принадлежим к разным этапам общества».

«Но ты выражаешься прямо как в старорежимные времена! Что ты хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Но ты её любишь?»

Писатель взглянул на Анну Яковлевну ничего не выражающим взглядом, посмотрел на рукопись со следами безобразия. Вопрос застыл на сморщенном личике Анны Яковлевны. Доктор Каценеленбоген обнаружил в нагрудном кармане своего пиджака сигару и занялся раскуриванием.

«Я не могу любить, – помолчав, сказал писатель. – Это свойство во мне убито».

«Что ты говоришь! Человек не может существовать без любви».

«Очень даже может».

«Я бы хотела знать, что ты пишешь: рассказы, романы?»

«В этом роде».

«В моё время считалось, что романов без любви не бывает. Слово роман, собственно, и означало любовную связь. Как можно писать роман и не иметь представления о том, что такое любовь! – Писатель молчал. – Что же вас связывает?»

«Что связывает... – Он усмехнулся. – Вероятно, постель».

«Немаловажный фактор», – заметил, выпуская дым, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, не пытайтесь изображать из себя циника. Вам это совершенно не к лицу!»

«А также благодарность, – продолжал писатель. – Она приняла во мне большое участие. Не оттолкнула меня. Вам, может быть, неизвестно, что значит вернуться оттуда... Люди шарахались от меня, как от привидения. А она... И кроме того... вы спрашиваете, что нас связывает...»

«О! – и Анна Яковлевна всплеснула руками, сокрушённо закивала, – я так и знала! Подтверждаются мои самые худшие предположения. Вы слышите, доктор, они вместе курят опиум!»

«Нет, – сказал писатель, – не опиум. Теперь опиум не курят».

«А что же курят?»

«Ничего. Теперь колются».

«Колются, чем? Ах, впрочем, всё равно... Доктор! Вы медик, и вы молчите?»

Доктор Каценеленбоген отложил в сторону сигару.

«Я бы хотел взглянуть, – проговорил он. – Ну-ка, засучи рукав, живо. М-да. Совершенно верно. Именно так. Часто?»

«Нет, не часто», – сказал писатель.

«Что касается Валентины, от неё всего можно ждать, – со вздохом сказала Анна Яковлевна. – До чего мы дожили. Так что же это за работа, которая даёт тебе возможность проживать в этой избе?»

«Возможность проживать мне предоставляет милиция», – ответил писатель.

«Позволю себе заметить, – вставил доктор, – что нам с трудом удалось тебя разыскать».

«Я посудомой. Мою посуду».

Он попытался объяснить, что в столице развёрнуто большое строительство. Помнит ли Анна Яковлевна, где находилась Калужская застава? Так вот, ещё дальше. Там огромная гостиница. Горы посуды с остатками яств.

«Представляю себе, что это за яства. Значит, это она тебя устроила? Вероятно, она там занимает высокую должность».

«Горничная».

«Как! – удивилась Анна Яковлевна. – Я не понимаю. Ты говоришь, вы принадлежите к разным социальным слоям. Если она всего-навсего горничная, обыкновенная femme de chambre... разве расстояние между вами так уж велико?»

«Простите, Анна Яковлевна, – сказал писатель. – Je craindrais d'offenser vos oreilles»⁶.

«Но я хочу всё знать о тебе. Валентина меня не интересует. Если я спрашиваю, то лишь потому, что ты связан с ней...»

«Мы всё хотим знать», – сказал доктор Каценеленбоген.

«В обязанности горничной входит обслуживание гостей».

«Угу. Обслуживание? – задумчиво переспросила Анна Яковлевна и опустила глаза на уснувшую обезьянку, которая была удивительно похожа на Анну Яковлевну. – Должна сказать, что в моё время в борделях подвизались более привлекательные девушки... Да, но... ты сказал, что работал».

«Я так сказал?»

Анна Яковлевна переглянулась с доктором.

«А сейчас?»

«Сейчас не работаю».

«Понимаю. Ты узнал, кто она такая, и уволился».

«Не совсем так. Дело в том, что её покровитель... одним словом, там произошла неприятная история, меня стали тягать, и я подумал, что мне лучше уйти».

Анна Яковлевна тяжело вздыхает. Я устала, говорит она. Анна Яковлевна оглядела писателя. Ни тени осуждения в её взоре, лишь горечь и сострадание.

«Как же ты опустил, бедный мой мальчик...» – пробормотала она.

Писатель лежал на топчане, эх, думал он, какая глупость. Надо было расспросить её как следует. Уточнить подробности, которые так нужны. Откуда взялась эта картина – голая девушка в бокале. Что стало с соседями, куда они делись. Что произошло с самой Анной Яковлевной. Тысяча вопросов.

Дым её папироски всё ещё стелился в воздухе. Витал аромат докторской сигары. Всё забывается. Он дал ей просто так исчезнуть.

Однако... не для того ли она явилась, чтобы напомнить?

Он встал, засунул руки в карманы холстинных штанов, взад-вперёд он расхаживает по своей mesure⁷, уставясь в щербатый пол. Встряхнуть жестяную лампу, есть ли ещё керосин. Писатель сидит за столом, отупело перелистывает бумаги.

XXXIX Вдвоём и смуглая Венера

Назад (путаница, вызванная более серьёзными причинами, нежели забывчивость)

31 декабря 1956

У всех пациентов независимо от вида употребляемого снадобья наблюдались аффективные нарушения. В течение длительного времени у них преобладал неустойчивый, часто сниженный фон настроения. У большинства отмечались повышенная возбудимость, истероподобные формы реагирования, эмоциональная лабильность. Периодически возникало чувство враждебности и агрессивности к окружающим.

«Ну и что?» – спросила она.

⁶ Боюсь, что это не для ваших ушей (фр.)

⁷ халупе (фр.)

У 61% больных в разные периоды возникал страх перед будущим из-за отсутствия уверенности в том, что они смогут удержаться перед соблазном очередного употребления препарата, страх покончить с собой – вскрыть вены, повеситься, выпрыгнуть из окна.

«Тут первый этаж, тут не выпрыгнешь».

«Есть другие способы».

«Ты что, струсил? Небось там уже пробовал».

«Там? – Он усмехнулся. – Ты не представляешь себе, что – там».

Она напевает:

Новый год, порядки новые... Колючей проволокой лагерь оцеплён.

«Ого. Это ты откуда набралась?»

«Ниоткуда».

«У тебя есть эта пластинка?»

Она напевает знаменитое танго: «Брызги шампанского».

«Была. *Кругом глядят на нас глаза суровые.* Ля-ля, ля-ля, тара-тата, тара-тата. Не пробовал, так попробуй. Надо же когда-нибудь».

«Ты так думаешь?»

«Я так думаю. Я что тебе скажу – вся жизнь становится другой. Потом поймёшь, без этого жизнь не в жизнь. А насчёт здоровья – это всё больше разговоры. Мало ли что там написано. Они тебе наговорят».

«Кто это, они».

«Вот я: что я, больная, что ли. Я себе сейчас сделаю, ты посмотришь. А потом тебе. Дурачок, я же тебя люблю, если бы не любила, никогда бы не узнал. Разве по мне что-нибудь видно? Здоровью не вредит, это только так запугивают».

«Всё ясно», – сказал писатель.

«Да хотя бы и вредило – что нам терять? Всё равно до старости не доживём. Эх, милый. Да если б не штоф...»

«Штоф».

«Ну да. Он там живёт, он живой, а ты не знал? Спит в ампуле, всё равно как ребёнок в материнной утробе. Ты его впусти в кровь, он проснётся. Если бы не он, я бы давно уже лапти откинула, ручкой махнула бы всем вам».

«Кому – вам».

«Мужикам. Давно бы себя порешила».

«Откуда это у тебя».

«Оттуда. Нечего спрашивать. Откуда у всех. Чего это я разболталась. Давай... Главное соблюдать стерильность. А то занесёшь какую-нибудь заразу. Чужим шприцом ни в коем случае, и свой никому не давать. Можно просто в бедро, поглубже. Но самое лучшее вот так. Сначала прокипятить. Потом жгут. Баян обязательно сполоснуть, дистиллированной водой, я специально в аптеке покупаю».

«Баян?»

«Да что ты, первый раз, что ли, слышишь. Вот; во-о-от... Теперь подождать немного. Сейчас начнёт забирать. Сперва как будто съезжаешь куда-то».

«На тот свет».

«Скажешь ещё».

Она молчит, медленно дышит.

«Да на том свете, если уж на то пошло, лучше, чем на этом. Когда-нибудь увидим. А потом поднимаешься. Выше и выше. О-о... Ну, давай. Вместе, так вместе. А насчёт того-этого...»

«Насчёт чего».

«Ладно притворяться-то. Не понимаешь, что ли? Насчёт того, что стоять не будет. Это всё сказки».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Ну давай, не ленись. Засучи рукав. От дозы зависит. Если свою дозу знаешь, то ничего не будет, даже наоборот. Ещё как захочется. Ты меня ещё не распробовал как следует. Небеса увидишь, в раю побываешь. А если просто так хочешь расслабиться, успокоиться, то надо немного увеличить. А вообще с дозами осторожней. Можно и до галиков доколоться. До галлюцинаций. Со мной однажды было, как-нибудь расскажу. Смех один... Бери жгут. Сам, сам. Ну, у тебя веняк хороший. Протереть; вот спирт. Ваткой, говорю, протри. Теперь смотри, берёшь пилку. Ампулу надпилишь вот здесь, где узко, потом просто щёлкнуть пальцем, раз! Теперь насосать».

«Это нам известно».

«Ну и прекрасно. Медленно, не торопись. Нам спешить некуда. Там всё равно раньше одиннадцати не начнётся. Теперь, как только кровь появится, распусти жгут. Толкай поршень, пальчиком, до конца, до конца-а-а, чтоб ни капли не пропало. А теперь быстро вынуть, и ваткой. Руку согни в локте. Сперва станет тепло в животе. Чувешь? Ещё подождать... пока врубишься в кайф. Тут, милый, целая наука. Голову только не надо терять. А то, хочешь, ежа как-нибудь попробуем».

«Ежа?»

«ЛСД. Психоделик. Самая сейчас модная штука. В другом мире окажешься».

«Ты пробовала».

«Было дело».

«И что же?»

«Да так, не понравилось. И опасно, стегануться можно в два счёта».

«Нам пора».

«Куда? А, успеется».

Здравый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грёзах. Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине – самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Но нельзя отрицать, что, подобно тому как реальный мир входит в нашу духовную жизнь, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, – так и женщина входит в наши грезы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

«Была такая. Мулатка по имени Жанна Дюваль».

«Мулатка?»

«Ну да. Белый отец и чёрная мать. Или наоборот. Чёрт её знает, откуда она явилась. С островов».

«Чёрные, они горячие».

«Глаза, как угли. Полуведьма, полубогиня. Приучила его к гашишу. Лживая, невежественная».

Она мрачнеет.

«Ты хочешь сказать, как я?»

Он разводит руками.

«Нет, ты скажи правду».

«Валя, – промолвил он укоризненно. – Приди в себя».

«Покажи книжку. Господи, а это ещё откуда?»

«Ниоткуда. Это книжка Анны Яковлевны. Бодлер... был такой поэт».

«Опять эта Анна Яковлевна. Вечная Анна Яковлевна».

Итак, вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиной с орех, со странным запахом. Вот источник счастья! Оно умещается в чайной ложке. Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Впоследствии слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, принизит вашу личность; но кара еще так далека! Чем же вы рискуете?

«Ну как, забирает? Погляди на себя в зеркало».

«Ух ты».

«Чешется? Ничего, пройдёт. Ты лучше приляг. Я говорю, голову не надо терять. И меру знать. А то загудишь. Подвинься маленько. Ничего не будем делать, полежим просто вдвоём... Я тогда совсем девчонкой была».

«Когда?»

«Когда тебя взяли. У меня ведь никого нет. Отца вовсе не было, фамилию его ношу, а кто он был? Сделал своё дело и сбежал. Может, на фронте убили. С матерью тоже, знаешь, большой любви не было. Ну вот. Уговорил меня кто-то поступить в театральную студию, была такая при Еврейском театре».

«Ты разве еврейка?»

«Да какая там еврейка. Мне сказали, там и русских берут. Я, по правде сказать, евреев на дух не переношу. А вот так получилось. Я в школе в драмкружке была. У нас там был руководитель, артист или кто он там, он меня чуть было – ну, в общем...»

«Чуть было».

«Ну да. Он ко мне и так и сяк. Потом потерял терпение и говорит: почему ты мне не даёшь? А я только смеюсь. Женитесь, говорю, на мне, тогда и е...те сколько хотите».

Молчание.

«Мне вообще в жизни везёт. Ну, и внешность, конечно, играет роль».

«А я?» – спросил писатель.

«Что – ты?»

«Я тоже на тебе не женился».

Она усмехнулась. «Куда тебе. – Помолчав: – Милый, когда ж это было. Это я тебе про старые времена рассказываю. Ты другое дело. Я ведь тебя люблю...»

«А тех не любила?»

«Ну, это по-разному. Любила, не любила, тебе-то что».

«Ты говоришь, поступила в еврейскую студию».

«Ну да; была уверена, что не возьмут. И, представь, прошла по конкурсу. Прочитала что-то там, потом ещё этюд. Как ты, например, будешь себя вести в парикмахерской. Ну вот; а месяца через два, только начались занятия, всю эту лавочку прикрыли, кого-то там арестовали, уж не знаю, чем они там занимались. А другим просто под зад, и катись, вообще весь театр разогнали. Я, можно сказать, на улице очутилась. Домой возвращаться не могу. Какой у меня дом. Мамаша с кем-то там связалась».

«Ты что-то путаешь. Еврейский театр, на Малой Бронной, – ведь его разогнали уже после войны».

«А я что говорю?».

«Ты была в театральной студии, когда я тебя первый раз увидел. Анна Яковлевна была больна. Я хорошо помню. Ты стояла спиной к окну».

«Ну и что?»

«А то, что это было ещё до войны».

«Сам ты путаешь. Это тебя забирает, вот ты и несёшь. Анна Яковлевна... А чего Анна Яковлевна. Она ведь мне никакая не родня. Мне мама говорила: разыщи Анну Яковлевну. Будто бы бабка у них в услужении была. Моя бабка».

«У кого?»

«У них – у фон-баронов. Ну вот; что я рассказать хотела. Осталась, можно сказать, у разбитого корыта. Да ещё с пузом. То есть ещё не с пузом, но уже».

«Вот как».

«Я там в студии сдуру связалась с одним. Короче, хоть в петлю лезь. Если б не Алексей Фомич, не знаю, что бы со мной было. Он меня, можно сказать, подобрал».

«А ребёнок?»

«Не было никакого ребёнка, освободилась, и всё. Он тогда ещё не был таким большим начальником».

«Алексей Фомич?»

«Век буду ему благодарна, Бога за него молить. Господи, ты что думаешь, я с ним живу? Ну, бывает иногда, пожалеешь его по-бабьи. У него семья, на Урале где-то там. Я уж не знаю, что там у них, жену он не любит, вот и ездит в Москву то и дело. Говорит, что из-за меня приезжает. Он даже мне предложение сделал, говорит, брошу всё... Он вообще-то большая шишка, ну и связи, конечно, сам понимаешь».

«Что же ты?»

«Не знаю. Не судьба, наверное».

«Но ты с ним живёшь?»

«Да не живу я. Это не считается. Не люблю я его как мужчину. Ну, пожалеешь иногда».

«Это когда ты бываешь на дежурстве?»

«Всё тебе надо знать».

«Чем же он тебе не угодил?»

«Чем, чем. Чем мужик может не угодить? Не получается у нас с ним. Только-только разожгусь, а уж он спустил».

«Это оттого, что он тебя любит».

«Может, слишком любит».

«Постой, — сказал писатель, — там кто-то стоит. Дай-ка я погляжу...»

«Лежи. Не обращай внимания»

«Это он за нами приехал?»

«Я говорю, не обращай внимания. Как настроение?»

«Превосходное. Много там будет народу?»

«Не знаю. Много. Сколько сейчас времени? Хватит валяться. Я тебе новый галстук купила».

«Алексей Фомич знает?»

«Что я колюсь? Знает, а как же».

«Я не об этом. Что мы с тобой... Ещё приревнует».

«Ну и пусть ревнует. Что я хотела рассказать. Был у меня один в студии».

«Тот самый?»

«Который?.. Нет, не он... Вообще-то ко мне многие клеились. Ты как, ничего? Сейчас расскажу, и поедем. Я гордая была. Мальчик был один. Нежный такой, как куколка. Нежный и грустный. Вот мы раз сидим у него, отец был какая-то важная птица, отдельная квартира, всё такое, у него была своя комната. Сидим, он говорит: хочешь попробовать. Я думала, он меня сейчас раздевать начнёт. А может, он и в самом деле думал, что я под балдой ему отдамся. Делаю вид, что ничего не понимаю. Я тебя научу, говорит, это так приятно. Если бы не наркотик, я бы руки на себя наложил. Что ж так, говорю. А вот так. Я удивилась, с чего бы это, — такая жизнь, дом — полная чаша, мощные родители, ни в чём нет отказа. У них и дача была, и прислуга. Кругом, говорю, люди голодают. Инвалиды с протянутой рукой, ты сходи — я говорю — как-нибудь на вокзал. Или к «Метрополю», там девчонки продаются за кусок туалетного мыла. И знаешь, что он мне ответил? Я без двух вещей не могу жить. Без каких это вещей? Без этого и без тебя. Он совсем ничего не умел. Я у него первая была».

*Viens sur mon coeur, âme cruelle et sourde,
Tigre adoré, monsieur aux airs indolents;
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants
Dans l'épaisseur de ta crinière lourde;*

*Dans tes jupons remplis de ton parfume
Ensevelir ma tête endolorie,
Et respirer, comme une fleur flétrie,
Le doux relent de mon amour défunt.*

*Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!
Dans un sommeil aussi doux que la mort,
J'étalerai mes baisers sans remord
Sur ton beau corps poli comme le cuivre.*

*Pour engloutir mes sanglots apaisés
Rien ne me vaut l'abîme de ta couche;
L'oubli puissant habite sur ta bouche,
Et le Léthé coule dans tes baisers.*

*A mon destin, désormais mon délice,
J'obéirai comme un prédestiné;
Martyr docile, innocent condamné,
Dont la ferveur attise le supplice,*

*Je sucerais, pour noyer ma rancoeur,
Le népenthès et la bonne ciguë
Aux bouts charmants de cette gorge aiguë,
Qui n'a jamais emprisonné de coeur.⁸*

⁸ Сюда, на грудь, любимая тигрица,
Чудовище в обличье красоты!
Хотят мои дрожащие персты
В твою густую гриву погрузиться.

В твоих душистых юбках, у колен,
Дай мне укрыться головой усталой
И пить дыханьем, как цветок завялый,
Любви моей умершей сладкий тлен.

Я сна хочу, хочу я сна – не жизни!
Во сне глубоком и, как смерть, благом
Я расточу на теле дорогом
Лобзания, глухие к укоризне.

Подавленные жалобы мои
Твоя постель, как бездна, заглушает,
В твоих устах забвенью обитает,
В объятиях – летейские струи.

Мою, услодой ставшую мне, участь,
Как обреченный, я принять хочу,
Страдалец кроткий, преданный бичу
И множасий усердно казни жгучесть.

И, чтобы смыть всю горечь без следа,
Вберу я яд цикуты благосклонной
С концов пьянящих груди заостренной,
Не заключавшей сердца никогда.

(Бодлер, «Цветы Зла», пер. А.Эфрон).

«Нам пора».
«Куда?» – спросил писатель.
«Как куда? На бал!»

XL Эротическая мобилизация. Встреча Нового года в гостинице «Комсомольская юность»

31 декабря 1956, 22 часа

Один и тот же мотив тонет и возвращается в сумятице звуков, в смене лет; если бы можно было отстоять эту иллюзию музыкальной структуры, придать своей жизни вид продуманной композиции! Но ведь и в самом деле всё повторяется. Некогда столь же ослепительной, в роскошном платье предстала глазам ребёнка ветхая Анна Яковлевна, собираясь на бал в Колонном зале московского Дворянского собрания. Наркотик превратил Валентину в царицу ночи. Чёрный омут глаз вбирал в себя свет огней, гасил волю всякого, кто заглядывал в них ненароком. В ушах дрожали хрустальные подвески, траурное ожерелье спускалось до ямки ключиц, мерцали фальшивые камни на худых пальцах, с неизъяснимо женственной, томной грацией нагие руки поднялись к затылку ощупать узел волос. Под тонкой завесой дышала её грудь, под платьем угадывались нервно подрагивающие бёдра, лениво покачивалась узкая спина, слегка откинутаая назад, угадывалось всё её тело и манило к себе, в прохладную тьму. Валентина была похожа на восставшую из могилы красавицу.

Сбросить шубку на руки мопсообразного швейцара и, вперяясь в пространство чёрными опрокинутыми глазами, постукивая серебряными каблучками, через убранный еловыми гирляндами вестибюль – к зеркалам лифта. Уже отсижена торжественная часть в конференц-зале перед длинным столом президиума с лобастым гипсовым бюстом в глубине эстрады; прослушан доклад, отхлопаны здравицы. Праздник перекочевал на шестой этаж. И вот они входят.

На столах, на свисающих до полу крахмальных скатертях ждут когорты бутылок, кувшины с разноцветными соками, судки с заливными яствами, подносы с бутербродами, холмы мандаринов, сыры, хлебы и винограды; в сторонке скромно толпятся рюмки, бокалы, высятся горки тарелок; словом, нечто новое, современное, называемое модным словом «шведский стол», – каждый подходи со своей тарелкой и набирай что хочешь, сколько хочешь.

Ах, всё это подождёт. Хватануть рюмку хрустальной, как слеза, экспортной какой-то «Посольской», откусить от бутербродов с балычком, с икоркой, утереть пальчики снежной салфеткой, и – туда, в зал, где за шёлковыми гардинами, за чёрными запотевшими окнами тьма и россыпь огней великого города, в зал, сотрясаемый inferнальным весельем, бряцаньем какофонического оркестра, звериным воем и плачем истекающего липкой спермой саксофона. Кавалеры облапили дам – тело расцветает, как сад, – животы прижались к мужчинам, и всё это сосредоточено движется, топчется, колыхается вокруг огромной разряженной ёлки. Как вдруг смолкает музыка, гаснет люстра под потолком, полутьма наполняется шорохом ног, крутится бисерный шар, цветные огни летают по потолку, шныряют по волосам, по лицам, и над толпой взвиваются, раскручиваясь, ленты серпантина. Пары сливаются в поцелуях, в жадных объятьях. Но не успеваает что-то произойти, как снова вспыхивает освещение. Танго: ходуном ходят пиджаки мужчин с могучими подкладными плечами и бёдра женщин, качают коромыслом сцеплённых рук слившиеся в экстазе пары. Торжествует низкопоклонство перед Западом.

Впрочем, это был стремительно устаревающий танец – вчерашний день. Нечто сверхсовременное явилось; всё тот же обольстительный, растленный Запад. Три

гитариста в лазоревых одеяниях, в чёлках до глаз, согнувшись над плоскими, похожими на крышки стульчаков инструментами, вытряхивали бряцающие звуки, пристукивали носками узких заграничных туфель, изрыгали неразличимые слова, а сзади длиннокудрый мальчик в серьгах и кольцах, сидя на возвышении перед агрегатом медных тарелок, свистулук, больших и маленьких барабанов, неустанно работал руками и ногами, отбивал ритм.

В те времена стали распространяться особого рода радения. Поначалу их приняли за некоторую особую молодёжную субкультуру, это была ошибка. На самом деле их нельзя было назвать ни культурой, ни антикультурой, скорее они могли напомнить ритуальные оргии аборигенов тропических стран или сцены священного массового помешательства эпохи клонящихся к закату Средних веков. Речь шла о приобщении индивидуума к народной душе. Речь шла о новой соборности. Речь шла о коллективной истерии. Казалось, век двух мировых войн, неслыханных разрушений, кровожадных режимов, концентрационных лагерей отменил суверенную личность. Народился массовый человек. Новое поколение чужло запах обугленных тел, который источали гигантские крематории прошлого. Массовый человек жаждал забвения. Он искал вырваться из расчерченного и распланированного мира, бежать от кошмарных видений истории в рай безволия, погрузиться в водоворот грохочущей музыки и африканских ритмов. Были построены огромные, похожие на ангары, капища, где в ночном, лиловом и серебряном сиянии, в мелькающих огнях, на эстрадах, сжигаемые внутренним огнём, одержимые священным недугом, подпрыгивали жрецы нового культа. Гривастые исполнители, похожие на павианов, в ритуальных лохмотьях, в амулетах на шерстистой груди, извивались, сгибались и разгибались, метались на помосте, терзали струны и потрясали крышками от стульчаков, полуголые певицы, увешанные побрякушками, исторгали истошное пение, с фаллосом-микрофоном у рта, как бы готовясь обхватить его жадными губами; над всем господствовал ритм. А внизу бесновалась толпа.

Вот почему не было неожиданностью, когда культовым певцом популярнейшего поп-ансамбля стал крупный гамадрил, иначе плащеносный павиан *Papio hamadryas*. Пластинки с его записями разошлись миллионным тиражом. Гамадрил был лауреатом всемирных конкурсов, он придерживался левых взглядов и свой огромный капитал завещал для благородных целей усовершенствования обезьяньих питомников и освобождения палестинского народа. В дальнейшем сольные и коллективные выступления собакоголовых приматов, с их хрипылыми, завораживающими голосами, развитым чувством ритма и способностью много часов подряд, с не доступной человеку изобретательностью выполнять ритуальные телодвижения, концерты певцов-шаманов, виртуозно владеющих струнными и электронными приспособлениями, распространились широко по миру и составили серьёзную конкуренцию человеческим исполнителям. Однако это произошло позже, а у нас на календаре всё ещё пятидесятые годы.

Ночь. Выше нас только чёрное небо и огромные, на подпорках, раскалённые буквы над крышей гостиницы. Внизу, едва различимый, прочерчен цепочкой мертвенных фонарей широкий новый проспект. Ползёт, светится жёлтыми окнами последний троллейбус, бегут одинокие автомобили. Струится песок в космических часах, течёт неслышное время...

Внезапно в гром и дребезг праздника вторгается репродуктор, и толпа в панике устремляется к столам. Голос главного диктора, тот самый нестареющий голос, некогда вещавший стране о победах, повергший в трепет сообщением о болезни вождя, декламирует новогоднее обращение к советскому народу. Официанты с деревянными лицами срывают станиолевую обёртку с чёрных запотевших бутылей. Доносятся клаксоны автомобилей с Красной площади. Торжественный перезвон, мерный бой курантов. Хлопают пробки, брызги пены орошают крахмальную ска-

терть, туалеты дам и костюмы мужчин. С Новым годом! С новым счастьем! За нашего дорогого! Всеми любимого!.. Иосифа Виссарио...
Какой тебе Иосиф Виссарионович? Иосиф Виссарионич уже, так сказать, того. На небеси, тс-кать. За нашего дорогого Никиту Сергеевича! Нет уж, давайте, девушки, дружно, до дна.

Визг, хохот, и снова хлопанье пробок, и вот уже, сколько-то времени погода, через час, через два – кто знает, не остановилось ли время вместе с последним ударом башенных часов, с умолкнувшей мелодией гимна, да и не всё ли нам равно, – с атласного дивана, где некто облепленный разудалыми, раскрасневшимися, утомлённо-возбуждёнными женщинами, пьяный, как зюзя, красивый, как гусар, полулежит, высоко забросив модную туфлю, закинув коверкотовую брючину за другую брючину, третий или четвёртый секретарь какого-то там забайкальского обкома, – а в общем-то хрен знает кто, – помавает огромным бокалом – немного погода с атласного лежака раздаётся сперва нестройное, а затем всё дружнее, а там и с других диванов, с ковров и подоконников, нежно-бабье, мужественно-молодецкое пение.

Из-за острова на стрежень! На простор речной волны!

Ражий детина, могучий, полуголый, огненноглазый, в смоляных усах, в заломленной папаше, – легендарный Стёпка Разин поднимает на голых мускулистых руках трепещущую персидскую княжну.

И за борт её бросает! В набежавшую волну!

Что-то от удалой казацкой вольницы появляется в мужчинах, а женщины все как одна – персиянки.

Тоненькие голоса:

Саша, ты помнишь наши встречи? В приморском парке на берегу!

С другого дивана, мужественно-блудливо:

Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая...

Откуда-то появился баянист – маленький, коренастый, в красной рубахе с расшитым воротом, в высоких, чуть ли не до пупа, сапогах, разворачивает дугой во всю ширь свой скрежещущий инструмент.

Маэстро, врежь! Брызги шампанского!

Сапогами – топ, топ, топ.

Новый год, порядки новые, колючей проволокой лагерь окружён. Кругом глядят на нас глаза суровые!

Мать вашу за ногу – это ещё что.

А чего – народная песня. Самая модная.

Народная народной рознь; я бы не советовал.

Ладно, чего там. А вот я вам спою. Маэстро, гоп со смыком!

Гоп со смыком, это буду я. Граждане, послушайте меня.

Эх, путь-дорожка! Фронтовая!

Ленинград, и Харьков, и Москва, ха-ха, знают всё искусство воровства, ха-ха!

Красная рубаха, чубчик прыгает над мокрым лбом.

Чёрный ворон около ворот. Часовые делают обход. Звонко в бубен бьёт цыганка, ветер воеет над Таганкой. Буря над Лефортовым поёт!

Ночь. В большом зале на эстраде осиротевшие инструменты лежат на стульях, лазорево-серебряные пиджаки висят на спинках, изнурённые музыканты с лицами, как маринованные овощи, подкрепляются за кулисами, трясут папиросный пепел на пёстрые рубахи. В уборной поодиночке – «баяном» – в вену.

Хор, рыдая:

Вспомни про блатную старину. Оставляю корешам жену.

«Во дают».

«Начальство, дери их в доску».

«А ты знаешь, сколько получает первый секретарь».

«Им получать не надо, сколько хочешь, столько и бери».

«Ну, не скажи».

«А я тебе говорю».

Ревела буря, дождь шумел. Во мраке молнии блистали. И бескрайними полями. Лесами, степями. Всё глядят вослед за нами черножо-о-пых глаза!

XLI Эротическая мобилизация. Чем кончилось

4 часа утра

«А, и ты тут... Где Валюха? Валенька! иди сюда».

И снова гаснет свет. Мерцает из зала разноцветными огоньками ёлка. Пары лежат в обнимку. Иных развезло.

«Ну как, весело? Такая, брат, жизнь пошла. Пей, веселись. После лагеря-то, а?..»

«Алексей Фомич, всё благодаря вам».

«Что-то я притомился. Пошли ко мне, отдохнём маленько. И бутылку прихвати, вон ту. Чёрную бери, мартель. Ать, два!»

«Алексей Фомич, кабы не вы...»

«Ладно, слышали. Потопали... И ты тоже. Ну как, понравилось?»

В лифте:

«Я вам, дети мои, вот что скажу: надо быть человеком. Кругом одно зверьё, вот что я вам скажу. Зазеваешься, глотку перегрызут».

«Прилягте, Алексей Фомич. Сейчас вам расстелю».

«Сперва выпить. Такая, говорю, селяви...»

«Алексей Фомич... может, хватит? Лучше отдохните. А мы тут возле вас посидим».

«Я сказал, выпить».

«Батюшки, а я и закуски не взяла. Сейчас сбегаю».

«Стоп. Обойдётся. Ну, давай... чтобы мы все были здоровы».

«За вас».

«Я что хочу сказать. Ты не смотри, что они такие. Я-то их знаю, сам сколько лет на ответственной работе... В этой среде, понятно? Зверьё, одно зверьё. А надо быть человеком. Вот так. Иди ко мне, Валюха».

«Алексей Фомич, вам бы лучше отдохнуть».

«Иди ко мне, говорю».

«Неудобно как-то...»

«Чего неудобно? Запри дверь. Дверь, говорю, запереть».

«Ну, я пошёл», — сказал писатель.

«Оставаться здесь».

«Да как же, Алексей Фомич...»

«Чего — Алексей Фомич! Твою мать... Как прописку пробивать, помощь, понимаешь, оказать, на работу устроить, так Алексей Фомич. А вот чужих баб еть! Пуцай тут сидит. Пуцай смотрит».

«Может, мы лучше пойдём... Алексей Фомич, это всё неправда».

«Чего неправда? Ты ему даёшь? Я всё знаю. У меня своя разведка. Ты всем даёшь. Стели постель. Я лечь хочу».

«Сейчас всё будет Алексей Фомич. Две минуты. Только подушку взбить. Вам помочь раздеться? Мы сейчас уйдём...»

«Ку-да? Ни с места. Пуцай сидит и смотрит. А ты иди сюда. Ко мне! Снимай тряпки».

«Алексей Фомич, миленький...»

«Это мои тряпки. Снимай всё, сука. Я вот тебе сейчас покажу. И ему будет полезно, будет знать, как бабу ублажать надо. По-настоящему... Всё с себя снимай. Одеяло прочь».

«Да как же, Алексей...»

«Я не смотрю», – угрюмо сказал писатель.

Там что-то происходило. Там сопел и ворчал комсомольский руководитель Алексей Фомич.

«Во-от. Шире ноги, паскуда! Давай, давай, давай... О-о!»

«Ну... ну...» – лепетала женщина. Словно тяжёлый воз поднимался в гору.

«Ыхы, ыхы, ыхы! Ы!.. ы».

И всё стихло. Успокоилось тяжкое дыхание мужчины. Несколько мгновений ещё дёргалось грузное тело.

Валентина выбралась из постели.

«Слушай. Что с ним?»

«Не знаю».

«Алексей Фомич! А? Алёша. Алёшенька!»

«Он умер», – сказал писатель.

«Что?!»

«Отдал концы, вот что».

«Слушай, что делать-то?.. Беда-то какая... беги за врачом. Или нет, лучше я сама... Слушай меня: мы скажем, ему стало плохо, я отвела его в номер, он тут и помер. Я стала звать на помощь, тут ты прибежал... Скажешь, как раз шёл по коридору. Ты свидетель, понял? Ты здесь сиди, я побегу в санчасть... Или нет, ты лучше уходи, я сама. Позвоню сейчас отсюда», – бормотала она, вытирала рубашкой у себя внизу, не знала, куда её деть, в спешке одевалась, слезы и краска текли у неё по лицу.

Теперь веселье бушевало на всех этажах.

Окончание следует

МОНСЕНЬОР ДРАНАЯ МОШНА

Рассказ

Ленка похожа на Синди Кроуфорд. Не только волоокостью и высоким ростом. Не только обволакивающей пластикой и голосом. Ах, да боже мой, при чем тут Синди!

У Ленки от природы есть потрясающее свойство: при виде ее статусные мужики начинают пускать слюни, теряют дар речи и буквально вопят вытаращенными глазами: «Я не знаю, что это, но я это хочу!» И ХОТЯТ! Магия. Счастья это Ленке не принесло, потому что Ленка хочет чего-то другого, чем ее обожатели.

Она приезжает ко мне, когда не ладит с очередным мэном. Или когда ладит. Потому что когда ладит, надо тоже время от времени переключаться. Ленка – аэродинамическая труба. Я просчитываю срок, за который очередной поклонник вылетит из ее жизни, после первой пары фраз рассказа – просто по скачущему темпу и восторженной интонации. Ленка не глупа, вовсе нет. И не безразлична. Ничуть. Просто она постоянно притягивает крутых мужиков, те быстро делают предложение и тогда она их ... оттягивает. Потому что Ленка хочет покоя. А это редкость.

Вообще-то моя подруга – бывший член сборной России по баскетболу. Метр восемьдесят, хорошо сложена, объехала всю страну и не только, всегда умеет быть собой и моментально адаптируется в любой команде. Легкий человек. В перерывах между спортивными подвигами она успела закончить школу и экономический вуз, так что и с головой у нее тоже все в порядке.

Кстати о голове: у Ленки неправильные черты лица, большой рот, большие голубые глаза, прямые русые волосы до плеч и всегда стильная одежда. «Могу сказать только тебе, – хвастается подруга на очередной встрече, – эту маечку я отхватила за пять баксов на распродаже. Просто увидела и купила. Ну, своим девочкам я говорю, что это Карден за две штуки». Я не спрашиваю, верят ли девочки. На Ленке этот фиолетовый шедевр на лямках сидит именно как Карден за две штуки, так что девочкам Ленка говорит даже большую правду, чем мне. Потому что как вещь сидит, столько она и стоит.

На Ленке все дорожает в момент. Магия. Жаль, что она не работает моделью – с ее плеча вмиг бы все расхватили. Только вопрос, что на других Ленкины тряпки могут сесть как ... вороны на заборе. Так что «свои девочки», встречающиеся с ней по делам, безусловно видят перед собой королеву. Им повезло. А я любитель искусства и поэтических впечатлений. Мне нравятся растрепанные ржавые листья на ветру, внезапная рябь на озере и свежие шутки о смысле жизни. И Ленке, как ни странно, тоже нравится именно это. Поэтому со мной она становится собой. «Стильная вещь за пять баксов – это дважды стильная вещь!» – кричу я, Ленка жмет на газ, и мы едем смотреть осенний лес ослепительной красоты. Она отлично водит. А я обожаю кататься.

Я зарабатываю на жизнь бизнес-тренингами – учу менеджеров творческим техникам работы и общения. На один из моих курсов Ленка пришла учиться: ей,

при ее-то данных, приспичило развивать коммуникативные навыки. Я тогда вошла в зал, увидела волоокую красавицу и сразу подумала: вот с ней я бы хотела общаться. Вообще я с клиентами не дружу, это правилами этикета не рекомендуется, и по жизни неинтересно: бизнес, которому я их учу, занимает всю их жизнь и очень небольшую часть моей, так что у нас мало общих интересов. По сути, меня больше всего волнует поэзия жизни, про которую большинство деловых людей вспоминают разве что перед смертью. За годы моей работы с менеджерами Ленка – исключение из правил первое и последнее. К ней тянет.

Эта Ленкина волшебная притягательность стоила ей спортивной карьеры. Обычные мужики от нее просто тихо уходят в астрал и ни на что уже в этой жизни не надеются. Крутых мэнов в начале ее карьеры в нашей стране еще не было, а за бугром наших спортсменок в те предперестроечные годы блюли как зеницу ока. И вот, когда Ленкины дела в лыжном спорте пошли в гору, собственный тренер стал подбивать под нее клинья. У парня ничего не вышло, потому что Ленку надо завоевывать личным стилем, которого в российской системе мужику наработать было негде. Откуда стиль у Ленки – непонятно. Может, ее прабабка была итальянской королевой.

Короче, тренер выразил свои чувства в виде, который на языке закона называется сексуальный домогательство, Ленка по доброте душевной стала спрашивать, не переволновался ли он, – может, чем помочь. Ее подружки-спортсменки покатались со смеху и безжалостно обсмеяли незадачливого кавалера. Мужик оказался неотходчив, стал Ленку терроризировать. Через какое-то время стало ясно, что плетью обуха не перешибешь, – и Ленка волей-неволей ушла из большого спорта.

Дело было в начале 1990-х, в стране полным ходом шла Перестройка. Мужчины разделились на огромные массы утопивших надежды в реках палёной водки и небольшие группки бойцов за свой шанс в жизни – шестисотый мерс, малиновый пиджак с золотыми цепями и мальчиков кровавых в глазах. Рядом по пустым магазинам в поисках пропитания для семей рыскали толпы плохо одетых женщин, мечта о принце, который их отсюда и увезет. А тут как раз в страну нагрянула куча иностранцев в поисках экстрима и в надежде сделать капитал на обширном советском рынке, который наконец постигла окончательная победа социализма.

Впавшая в некоторый транс от прекращения круглосуточных тренировок, Ленка отоспалась и пошла в приличный супермаркет за едой, которую все еще могла себе позволить на оставшиеся от прошлой жизни деньги. И тут ее мельком увидел богатый сорокалетний итальянец-коммерсант. И «пропал».

Итальянец с музыкальным именем Джованни владел мебельным бизнесом, разговорным русским языком и достаточной смекалкой, чтобы с первого взгляда понять, что перед ним брильянт. Он бросил все свои кошёлки и споренько поволокся за Ленкой. Познакомился прямо на улице, вручил сияющую золотом визитку, позвал в Метрополь, напел про виллу на Сицилии (что оказалось чистой правдой) и счастливую жизнь настоящей синьоры (что оказалось полной лажей). Затем потребовал знакомства с родителями, обаял их за полчаса до потери сознания, а уж когда по завершении визита Ленкина мама обнаружила идеальную совместимость этого Джованни-Козерога с Ленкой, родившейся под знаком Девы, вопрос был решен: Ленка вышла замуж и уехала в Италию.

На Сицилии синьор устроил медовую неделю в роскошной постели, пару раз свозил молодую по красивым набережным и культурным местам, а потом запер в особняк с прислугой и надолго уехал по делам, ибо бизнес требовал внимания. Пока Джованни увеличивал капитал, время от времени навещая супругу, смышленная и контактная Ленка выучила основы итальянского, познакомилась с местным обществом и вскоре обнаружила, что мужчины острова воспринимают ее либо как проститутку, либо как диковинную вещь при муже. А сицилийские жены – увы!

– имеют крайне узкий кругозор, ограниченный детьми, домом и сплетнями про то, кто сколько заработал и кто с кем спит.

Ленка, не склонная к сплетням, но привыкшая к постоянной активности и переменам, решила завести хотя бы ребенка, о чем и сообщила Джованни после его возвращения. Благоверный оказался категорически против, объявил, что это его ужасно обременит, разразился тирадой о радостях жизни для себя и уехал не прощаясь в надежде, что к очередному возвращению жена выкинет эту дурь из головы. Ленка в ответ налегла на итальянский и подготовила убедительную речь в пользу младенца на почти чистом сицилийском.

Через полгода она снова подкатила к мужу с планами рожать, в результате чего итальянская логика напрочь разошлась с русской, супруги поссорились, и муж привел в дом падре, вместе с которым попытался убедить Ленку в ее порочности. Порочность состояла в русском происхождении и идее перечить супругу. Для религиозных дискуссий Ленка в то время итальянским владела все еще недостаточно, поэтому она затихла, дождалась отъезда мужа, искала работу – безнадежно.

Синьора смирилась, поскучала, вспомнила про тренажерный зал, занялась покупкой новых нарядов, завела молодого любовника и за этими занятиями дождалась получения итальянского гражданства. В надежде, что новый статус что-то изменит в ее правах, Ленка еще раз попробовала наладить семейную жизнь и честно сварганить Джованни младенца, в результате чего окончательно поругалась с благоверным, матом выперла надоевшего нотациями падре и решила вернуться домой. Наняла адвоката, подала на развод и уехала в Москву.

Дома она попала в руки расстроенных родителей, пару лет помоталась в Италию на процессы, сделала адвоката любовником, потом просто другом и на третий год твердо уяснила себе, что развод будет стоить ей всех имеющихся сил. Дело в том, что по итальянскому законодательству муж должен Ленке кой-чего из своего немалого имущества, да еще половину своих доходов отныне и до тех пор, пока она не выйдет замуж. В сумме эти деньги стали бы для Ленки очень неплохим капиталом, учитывая, что сицилиец хорошо зарабатывал «белыми» лирами со своего весьма большого бизнеса.

Но бизнесмен тоже оказался не промах. Ему ребенок-то казался обременительным, а тут он посчитал свои убытки и решил Ленке ни лиры не отдать. Итальянская судебная система потакала Джованни просто потому, что он был коренной итальянец с деньгами и связями, а Ленка – итальянка только по мужу, без крутых связей и своих капиталов. Супруг нанял лучшего адвоката, на первом же слушании зашелся в падучей насчет плохой репутации русских девушек и – о, донна миа! – в кулуарах пообещал жене, что она уйдет от него еще более нищей, чем была до брака.

Я познакомилась с Ленкой, когда она пять лет как разводилась, потому что адвокат сделал на Ленкином разводе себе такое имя, которое окупало ее расходы на процессы. Синьора жила в России, меняла статусных любовников раз в месяц, по легкости характера сохраняя со всеми отличные отношения до, во время и после романов. Для жизни она держала небольшой посреднический бизнес – что-то для русских в Италии, что-то для итальянцев в России. Ленка успешно использовала натренированное спортом и мужем упорство для пробивания заслонов, которые ставили клиентам русские и итальянские чиновники. Благодарные клиенты боготворили волоокую красавицу с чистым итальянским выговором, помогавшую им получить желаемые связи и преодолеть межкультурные препоны, и вскоре Ленка выстроила под Москвой двухэтажную дачку.

По ходу дела контактная русская синьора искренне и без подвоха подружилась с итальянским консулом, регулярно моталась в Италию по делу и без, на намеки

кавалеров «про замуж» отвечала «а я уже там», про все проблемы, кроме развода с сицилийцем, говорила «говно вопрос!» и решала их с итальянским изяществом.

Мы с ней подружились легко и незаметно. Обычно я схожусь с людьми на почве творческих проектов, так что сначала даже удивлялась, как это у меня завелось столь бесцельное знакомство. Волшебным образом все дела, которые мы с Ленкой задумывали, не складывались. И столь же волшебным образом это ничуть не портило наши отношения, состоявшие из поездок по Подмосквовью и трепа о том, о сем, а всего больше – о Ленкиных поклонниках.

Нет-нет, это не «Секс в большом городе». Там у девушек все время были проблемы. У нас с Ленкой проблем не было. У нас были истории. Прелестные необременительные миниатюры легкого человеческого сумасшествия, никогда не длящиеся дольше того срока, за который мужчина успевает подумать о женитьбе. Я в те годы вопрос о браке решила отрицательно, так что если бой-френд начинал глядеть слишком серьезно, я говорила, как Васильева в «Дуэнье»: «А вот этого не надо. Вот этого я не люблю».

Ленкины романы были похожи на легкий трепет тюлевой занавески летним днем. Страдать Ленка, как и я, не любит. Мужчин, как и я, любит. Но если я к тем годам держалась своей дорожки вне зависимости от того, совпадала она с планами знакомых мужчин или нет, то Ленкин путь представлял собой лабиринт с привидениями. Итальянский брак создал у нее иммунитет к мечтам о семье, но не научил отличать то, что привиделось, от того, что есть на самом деле. Так что она трепетала, потом удивлялась, потом расстраивалась, потом уставала. И наконец при намеке на брак ее романтические отношения загадочным и крайне разнообразным образом рушились, превращаясь, впрочем, во вполне теплые воспоминания. Тогда во время очередной нашей с Ленкой встречи я слышала: «Ах, ты помнишь того владельца банка? Так вот, представляешь...» Ленка отработывала романтику за двоих, а я живо представляла все в красках и хохотала до слез. Обещанное такое общение вполне устраивало.

Со временем Ленкины рассказы про личную жизнь бизнесменов, политиков и прочих деловых людей я все-таки превратила в творческий проект: стала изучать семейную психологию. И через годик срок, характер и стиль их пребывания в качестве статусных кавалеров синьоры предсказывала, как профессиональная гадалка.

Как-то Ленка прикатила ко мне и сказала: «Я все поняла. Я их распределила по пользе дела». «В смысле?» – спросила я. «Ну, очень просто, банкир для кредитов, юрист для консультаций, дипломат для деловых контактов...»

- И директор мебельного концерна – для мебели. А консул?
- Консул всегда был для души. Он такой милый!
- Отлично. И давно ты так живешь?
- Неделю, – сказала Ленка и погрустнела.
- Не вижу оптимизма в лице. Решение твое вроде потрясает разумностью, но чего-то тебе, дорогая, явно не хватает.
- Мужского внимания, – Ленка вздохнула, – у меня теперь не осталось никаких иллюзий. Я про них все себе расписала и поняла.
- Ну, зато теперь ты можешь не трепыхаться.
- Теперь я знаю, почему ты не трепыхаешься. Для бизнеса страсти вредны, а в личных отношениях я отдаю больше, чем получаю. Мужчины всегда успевают лучше меня позаботиться о своем удобстве.
- Ну, что ж, одной заботой меньше: теперь с дядьками, которые ищут удобств, у тебя будет очень симметричная и справедливая стратегия. Хотя и без романтического флера.
- Ох...

Я порадовалась за Ленку – хоть и с грустью – подруга растет над собой. И тут меня вдруг «пробило»:

– Послушай, синьора, а почему ты вдруг созрела для такой разумной жизни?

– А мне позвонил мой адвокат и сообщил последний финт бывшего мужа. Наконь ремень, тогда расскажу.

Я ненавижу ремни безопасности, но у Ленки в глазах зажглись такие чертики, что я даже потянулась к металлической бляшке.

– Не надо. Я же знаю, что ты их не любишь. А в наших с тобой отношениях главное – никакого насилия и сплошная свобода. Ну, так слушай. Позвонил мой адвокат и сказал: «Дорогая, сядь на стул – дело передается в Ватикан».

– Джованни стал мебельным Папой Римским?

– Нет, что ты. Он требует признать брак незаконным, потому что я не родила ему ребенка!

– Гад. Он же сам не хотел детей. Ну да, для суда это неважно. Важно другое. Дорогая, надеюсь, ты сохранила простыни с доказательством твоей невинности? И платье, залитое... мmmm... мужними слюнями?

– Нет. Я сохранила свидетельство о браке. А он теперь запудрил мозги Ватикану историей о том, что я лишила его продолжения рода. Для суда в Ватикане мне нужен монсеньор.

– Это такой специальный мужик для срочного зачатия?

– Нет, это специальный дедушка для моей защиты. В Ватикане стороны представляют не адвокаты, а монсеньоры. И мой благоверный себе уже нашел одного. И в этом вся загвоздка.

– А что, он нашел монсеньора дьявола? О, содрогайтесь, стены Ватикана!

– Стены будут содрогаться. Причем как только я начну отвечать на вопросы. Понимаешь, там, в суде, мне нужно будет сказать: «Уважаемый монсеньор такой-то, я честная девушка»... ну, и рассказать ему, почему это так. А фамилия монсеньора моего мужа... ммм... как бы тебе сказать – его фамилия состоит из двух частей. Ну, вроде как у нас Козлодоев.

– Его монсеньор – Козлодоев?

– Хуже. Его монсеньор имеет фамилию «Драная Мошна». И это не шутка.

– Класс! Я хочу это видеть: «Монсеньор Драная Мошна, я честная девушка, хотя Вам этого и не понять!» И в сторону судьи, заламывая руки: «Ах, не виноватая я, вы ж видите – у меня муж с Драной Мошной!»

Ленка захохотала так, что чуть не съехала с дороги.

– А знаешь, что самое гениальное? Слушание – сегодня!

– Что?! А почему ж ты здесь?

– А мне муж прислал неверную дату, гад!

– А адвокат?

– Он сам хочет выступать: у него карьера горит!

– И что теперь?

– Теперь? Теперь мой горячий итальянец и не менее горячий адвокат обсуждают мою честность в стенах Ватикана с Драной Мошной!

Наш хохот прервал звонок. Ленка шепнула: «Адвокат», – и стала слушать. Через минуту она положила мобильник с ошарашенным выражением лица:

– Мы выиграли.

– Как?

– Помнишь падре, вместе с которым муж меня терзал на Сицилии? Он дал показания, что я хотела ребенка.

– Почему? Падре недоплатили?

– Нет. Падре, как говорит мой адвокат, принадлежит к другой религиозной... ммм... ветви, чем Драная Мошна.

– Поэтому падре был с Мошной предельно честен, рассказывая о тебе.

– Хуже. Он был предельно честен, рассказывая о моем муже. И о его Мошне. Эти набожные люди схватились прямо в зале суда по какому-то религиозному вопросу, и теперь...

– ...Ватикан имеет новый свежий апокриф от Драной Мошны, падре – двух смертельных врагов в лице твоего мужа и его монсеньора, а ты – пожизненное обеспечение!

– Не пожизненное. А до момента, пока я не выйду замуж!

– И когда ты собираешься?

– Вообще-то нет. Хотя если б было что-то стоящее. Ну, ты понимаешь...

– Ну да, выйти замуж за стоящее, чтобы вместо капитала бывшего мужа обрести перспективу нового развода.

– О, мамма миа, Катерина! Что ты говоришь!

– А что, разве это невероятно?

– Но мне все-таки хочется семейного счастья!

– Семь лет судов, жизнь в аэродинамической трубе, нервы, ожидания, наконец, победный развод – и все к черту... Конечно, к черту деньги! Замуж, блин, как только наступила свобода! Скорее замуж! Как же тебе, однако, не хватает семейного счастья!

Ленка было насупилась, но потом не выдержала и опять расхохоталась, а я открыла окно и запела:

– Посмотри, пока свободна: начинается ослепительная золотая осень! Почувствуй звонкий воздух, запах грибов, ощущение, что что-то забылось... ах, неважно! Гляди, какие облака! Какой оранжевый куст и красная ветка рябины, отраженная в луже! Смотри, смотри, какая рябь на озере и восхитительный привкус уходящего прошлого!

– Уговорила! Полетели – где мое помело? К черту!

Мы сменили тему.

Вскоре Ленка познакомилась с очередным статусным мэном и впервые в жизни решила, что он ей подходит. Три недели знойный топ-менеджер строительного концерна Юрочка не решался соблазнить красавицу, потом, наконец, пал и оказался человеком старомодных взглядов, то есть немедленно предложил жениться.

Ленка, которой предложения такие были не впервой, сказала «посмотрим» и через неделю приехала ко мне рассказывать про прелести «мармеладно-цветочного периода». Она осторожничала, ожидая «вылета» кавалера из аэродинамической трубы, однако молодой человек стабильно проявлял джентельменские качества. У него был всего один недостаток: он дико ревновал Ленку к ее многочисленным воздыхателям, статусным знакомым и крутым связям. Он ненавидел ее телефон. Но в остальном – розовые розы и шоколад. Так что Ленка смягчилась, переехала к Юрочке и вскоре... расписалась, поставив крест на деньгах бывшего мужа и отгрохав роскошную свадьбу на деньги нового.

Через месяц она позвонила и сказала: «Я купила машину. Поехали – обновим завтра утром! Ничего, что так внезапно?» – «Наоборот, хорошо – пора проветриться», – обрадовалась я.

Я ждала ее на краю тротуара холодным и прозрачным октябрьским днем. Даже в Москве не было смога – остатки золотой осени были видны за версту, всплесками отцветали последние клумбы, земля представляла собой разноцветный шуршащий ковёр. Пока я любовалась, тихо подъехала серебряная литая машинка, затененное окно плавно опустилось и я увидела... девушку Джеймса Бонда. Такая красавица в черных очках приковывала взгляд. Я залюбовалась: это была... «Садись, дорогая», – сказала незнакомка, и я наконец узнала Ленку.

– Дорогая, ослепительно! Ты, новая машина – просто красота!

Ленка сняла очки. Глаза красные, под правым – фингал.

– Это Юрочка?

– Да. Он потребовал, чтоб я бросила работу. Ну, вообще-то мне уже давно хотелось чего-то другого, я продала свою фирму, но решила искать работу в компании. Пока искала, сидела дома, так Юркин папа-алкоголик замучил меня капризами, а Юрка встал на его сторону. Мы начали ругаться... Сегодня утром я сказала, что ужо окончательно – и вот...

– Лена, если б ты видела себя со стороны! Ты мечта любого миллионера! Брось все это, отпусти Юрку к чертовой матери. Подожди, пока фингал пройдет, сними очки – толпа бизнесменов сбежит, выберешь себе нормального мужика!

– А что такое нормальный мужик, а? Ты его видела? Как это выглядит?

Мне стало ужасно ее жалко. Вообще-то я в последнее время очень хорошо себя чувствовала в своем танке, полном творческих проектов и лишенном личных переживаний. Но ради Ленки в таком состоянии я готова была приоткрыть люк и высунуться над башней.

– Поедем за город, хорошо? А я пока подумаю и попробую что-нибудь тебе рассказать.

– Уже едем. Знаешь, нам вполне достаточно просто побыть вместе. Я рада тебя видеть.

– Я тоже рада тебя видеть. Даже с фингалом.

Ленка снова надела очки и спокойно повела машину, плавно вырuling в наши любимые места – вон, вон из города. Я сидела, представляла себе, как тихо приоткрываю изнутри люк башни танка и вслушивалась в свои ощущения. Мы выехали на шоссе, машина почти полетела на юг. Я слушала свои чувства, как музыку, и понимала, что когда ощущение созреет, слово скажется само.

– Знаешь, мне нравятся редкие и странные люди. Их немного, родственных душ. Впрочем, у меня вообще небольшая емкость на близких. Вот забудь про бизнес и представь: ты идешь по дорожке в лесу, смотришь и слушаешь. И ничего не делаешь больше. А потом выходишь на луг и чувствуешь – что-то будет! И тут появляется радуга.

– А ведь знаешь, радуга видна всем, кто вовремя задирает голову после дождя.

– Именно. Вот я думаю, Ленка, что нам нужны отношения, похожие на радугу. И чтобы они возникли, нужно прислушиваться к лесу, в котором идешь, и к себе. И тогда в какой-то момент – только не спеш! – дождь и солнце обязательно совпадут, и будет радуга. Тогда стоит просто задрать голову. И увидеть того, кто тоже задирает голову вместе с тобой.

– Найти своего по радуге? Красиво, но непонятно. А что будет радугой?

– То, что ты любишь. То, что ты любишь всем сердцем. Конечно, такое совпадение надо заслужить. Но если не любить всем сердцем, то совпасть невозможно. А если любишь, то как грибник: просто со временем почувствуешь, где твои лисички.

– Да, помню, в детстве мы с папой ходили по грибы. Сначала я не понимала, где что растет, а потом сама шла в ту сторону, куда указывали понятные тебе знаки леса. Их много. Присматриваешься. Приближаешься. Шуршишь палочкой в листе или траве – нет, не то, но чувствуешь, что – где-то здесь они, рядом. Проходишь еще немного. Потом отпускаешь все мысли и ничего не делаешь, будто просто гуляешь. И тогда – вот он!

– Да, вот он! Только его еще надо срезать, донести, сварить и съесть.

– Перестань, что за ассоциации!

– Самые прямые – самые точные!

Нам самим стало смешно от того, куда нас сегодня завели разговоры, но вдруг Ленка снова заволновалась:

– А нужно ли что-то выиграть у тех, кто тоже ходит, слушает, задирает голову и тоже ищет? Ведь я там не одна, в этом лесу...

– Верно, не одна. Хотя ты тоже гриб, и еще какой.

– И все-таки?

– Ну, впрямую, наверное, нет. Но хороший грибник идет в лес рано поутру, бродит там, где нехожено, имеет свои заветные места и секреты. Я в детстве собирала белые в Эстонии с велосипеда: едешь утром по дороге вдоль озера и наметанным глазом видишь шляпку. Вчера вечером этот борovich еще не вылез на поверхность – или вылез мало, и его не заметили. А сейчас он – твой!

Ленка инстинктивно взгляделась в край шоссе, а я рассмеялась. Синьора резонно парировала:

– Мужчина, конечно, не белый гриб, но он же может голосовать на шоссе?!

– О да! Именно так: вчера еще не было, а тут – вылез! Кстати, знаешь, мы с тобой, наверное, никогда не переживали из-за несложившихся деловых проектов, потому что общаемся по радуге. И если гриб не нашелся – неважно, бизнес-проект это, деньги или еще какие-то планы – просто идем дальше. Похоже?

– Да, очень.

– Что же нам теперь – лесников искать?

– Лучше музыкантов – или поэтов. А, вот, поняла: ищем радужных людей! Ну, и мужиков в том числе. А вообще – не в профессии дело. Интерес к жизни – это не профессия. Человек творческой профессии может быть полностью омертвлен скукой. Дело во внутренней радуге. Не знаю, как объяснить. Просто посмотри на лес вон там, на опушке. И, кстати, включи радио.

По радио запели итальянцы, а я вдруг поняла, что мы с подружкой вышли на новый этап. Ленка теперь, вероятно, перестанет влипать в восторженные быстротечные романы и смешные разочарования. А я вылезла из танка. Ох, как же тут небезопасно, на равнине. Зато я могу хоть кому-то объяснить, чего хочу, не рискуя нарваться на палец, крутящийся у виска.

После той встречи Ленка стремительно развелась и пошла работать в ювелирный концерт. Она довольно быстро обжилась там под восторженные, но безнадежные всхлипы окружающих мужчин. Новый Ленкин шеф едва доставал ей до плеча и был снабжен бдительной супругой, контролировавшей его пристрастия к спиртному, женщинам и деньгам не хуже Ленкиного сицилийца. «Как думаешь, у твоего босса есть монсенюр?» – спросила я, когда мы поехали с ней кататься по заснеженному Подмосквью. «Слава Богу, что у нас нет Ватикана, а у шефа столько капиталов, что даже в случае развода хватит на всех!» – расхохоталась русская итальянка.

Она еще полгода поработала, радуясь своей свободой, как ребенок, а к лету поехала в Швейцарию – организовывать корпоративный праздник компании. Через день после отъезда Ленка позвонила мне и запела в трубку:

– Катерина, какая я счастливая! Я встретила такого мужчину! Приезжай кататься!

– Какая у него профессия?

– Барон! И он играет на флейте!

– Ну, тогда я беру губную гармошку и еду! Встречай!

– Я серьезно тебя жду в любое время. У барона полно гостевых комнат.

– Не сомневаюсь. Тем более для твоих критичных подруг.

– А я ему не сказала, что ты критичная. Я сказала, что мне нужно твое благословение.

– О Боже! Ленка, ты уже можешь давать благословение любому барону сама!

– Но тогда ты не приедешь подстраховать меня с ним!

– Как барона не страхуй....

– Катерина! Я еще не видела здесь радуги – здесь все время солнце!

– Фонтан найди – около него всегда радуга.

– Точно! Все, я пошла искать фонтан, а ты собирайся. Договорились?

– А у барона нет случайно монсенюра по фамилии Драная Мошна?

– Здесь вообще нет монсенюров! И потом, я не собираюсь никуда спешить!

– Ну, это радует. Впрочем, мы с тобой можем теперь в сторону таких неприятностей вообще не ходить: интуиция-то у нас теперь в порядке... надеюсь?

– Я стараюсь!

– Ладно. Позвоню, как только разгребу дела.

– Я пришлю тебе фотки Женевского озера, чтоб ты поняла, что рискуешь потерять.

Ленка знала, что мне слать для мотивации: я обожаю озера. Само собой, что она прислала фото с радугой. Ну и куда ж мне было деваться? Завтра вылетаю.

2006

КАТЕРИНА

Рассказ

БАБА КАТЯ

Катерина Соломоновна Клюдт. Да, именно так: Соломоновна. Когда баба Катя, как звали ее внуки и соседи по дому, представлялась незнакомым людям или в учреждениях, она всегда делала ударение на своем отчестве: Соломоновна – спокойно смотря при этом в глаза собеседнику, словно намереваясь пригвоздить его словом. Ее прочие братья и сестры отчества стеснялись и втихаря поругивали деда Абрама, назвавшего своего сына, ставшего впоследствии их отцом, библейским именем Соломон. Теперь вот они всю жизнь вынуждены иметь папой Соломона Абрамовича, указывать это во всевозможных анкетах и постоянно доказывать, что они не верблюды, то есть не евреи. Фамилия у папы была тоже так себе – Шнайдер или Шнейдер, как называли ее на русский лад. За прошедшие десятилетия некоторые Шнейдеры сами немного переименовали свое отчество и стали называться Семеновичи, Самсоновичи или даже Юрьевичи, хотя нужно было обладать богатой фантазией или хорошо подмазать писаря паспортного отдела, чтобы из Соломона сделать Юрия.

Абрам

Соломон был восьмым сыном российских немцев-меннонитов Абрама и Марии Шнейдер, всего в семье было пятнадцать детей. Дед Абрам был человек истинный – не пил, не курил, не сквернословил, работал в поле от зари до зари, по воскресеньям ходил в молитвенный дом, где пел в церковном хоре, а чад имел – сколько Бог послал. Детей своих учил грамоте и жизни по Библии, других книг в доме не было: незачем, да и времени нет. Дети сызмальства должны были помогать родителям в работе, а в воскресенье и праздники их воспитанием занимались проповедник и староста общины.

Говорили в семье на своем языке – странной смеси голландского, старонемецкого и фризского диалектов, других языков не знали, хотя уже столетия жили среди русских, поляков и украинцев. Контакт с окружением было мало. Какая от них, безбожников, пьяниц и матерщинников, польза – срам один и неприятности. С Божьей помощью вынесли столько гонений, и дальше на том стоять будем, главное веру свою исконную сохранить. Соломона, как и положено, женили в восемнадцать лет, жену сыскали из своих – работающую да скромную, тоже Марией звали.

Дед Абрам умер в голодомор в начале тридцатых годов, когда всю пшеницу со двора вывезли солдаты со штыками, а корову, которая упиралась и не хотела идти за чужими людьми, как чувствовала скотина, что с дома сводят, пристрелили – от злости, наверное. Что это были за люди, дед Абрам не понял, он всю жизнь

прожил только среди своих, в армии не служил, поэтому в униформах и оружии не разбирался, да и говорили солдаты на незнакомом языке. Соломон же с беременной Марией и тремя детьми – Катерине тогда было четыре года – бежал от греха подальше в Казахстан. Там земли много, власти меньше, каждый день сытым ходить будешь – работой только, кочевые казахи общину не трогают: уважают и выменивают шкуры и мясо на пшеницу. Об этом старым готическим шрифтом писали свои братья-меннониты, уехавшие в Казахстан лет пятнадцать-двадцать назад. Они же приняли семью Соломона в общину, всем миром построили дом и определили на работу.

Соломон

О родителях и прошлой жизни Соломон старался не думать: страшно было. Вспоминал об этом только по ночам, когда от дум и страха мучила бессонница. Тогда, чтобы заснуть, он выходил во двор и глядел на небо и звезды, не такие, как на родной Украине, но тоже ничего, жить можно. Постояв во дворе, Соломон шел обратно в дом и любил жену – грех, конечно, но легче от этого становилось, засыпал потом. Мария же, как и положено, каждый год рожала по ребенку.

Сам глава семьи весь день работал, Мария хлопотала по хозяйству. От постоянных родов и работы у нее ноги пухли и усталость в покорных глазах стояла, как у побитой собаки, но порядок в доме был. За этим приглядывала Катерина. Два старших брата и остальные дети ее слушались: уж больно ловко у нее это получалось, как бы само собой. Говорит все по делу, работу распределит справедливо, по воскресеньям, когда главный молельщик Библию читает, всегда ответ знает и в такт подпевает. Соломон хмурился, конечно, что девчонка поперек старших братьев лезет и даже матери указывает, но молчал. Пусть уж Катерина вместо матери в доме за порядком следит, коли у нее получается. Вроде как и жизнь даже налаживается.

Что война с немцем началась, им сказал проскакавший мимо на верблюде казах. Узнав новость, Соломон крикнул только и сильнее налег на плуг. В самой деревне радио не было: бесовское это изобретение, одни неприятности, целый день на русском языке глаголит, от работы отвлекает. Одно время районные власти пытались в приказном порядке установить радиоточку, но она почему-то все время ломалась, ездить из района чинить было далеко – так и махнули рукой на отдаленную деревню. Отсталые люди, в Бога веруют – чего с них возьмешь.

Через три дня в деревне появился начальник с переводчиком. Всех жителей собрали на общее собрание в молельном доме, где человек в полувоенном френче с портфелем рассказал о вероломном нападении фашистской Германии на мирный Советский Союз, о братском единстве всех народов единственного в мире социалистического государства и о великом вожде всего прогрессивного человечества товарище Сталине. Под его мудрым руководством страна будет бить врага на его территории и освободит изнывающих под фашистским игмом рабочих и крестьян, которые с нетерпением дожидаются прихода доблестной Красной Армии.

Таких слов Соломон никогда не слышал, в Библии о пролетариате, мировом империализме и Договоре о ненападении с Германией ничего не говорилось, но понял, что хорошего ждать не приходится. Переводчик говорил плохо, постоянно путаясь в незнакомых, сложных словах: территория, пролетариат, великий кормчий всех прогрессивных народов, Лига наций, империализм, плутократия, интернационализм. При попытке перевести фразу любившего блеснуть образованностью начальника: «Сталинские соколы и наши доблестные танкисты стремительным марш-броском уничтожат фашистского зверя в его берлоге», – перевод-

чик запутался окончательно и начал говорить об Армагеддоне и огненных колесницах, с которыми он почему-то сравнивал советские танки.

Посланец из района немецкого языка не понимал, но слово Армагеддон уловил, бросил недовольный взгляд на потного от страха и усердия переводчика, после чего заговорил суше и понятней. Армию нужно кормить и одевать. Поэтому крестьяне обязаны сдавать всю сельхозпродукцию, не только с колхозных полей, но и с личных участков тоже. Кто скроет продукты – тот враг народа, и с ним поступят по законам военного времени. Нормативы на трудодень будут увеличены, возможно, в полтора-два раза. Их надо выполнять. Самовольные отлучки с работы запрещены. В деревню придут беженцы и эвакуированные с западных территорий – русские, украинцы, белорусы, поляки, прибалты. Их нужно разместить по домам, обустроить и поставить на работу.

Возможно, что в деревню на парашютах забросят немецких шпионов. Таковых непременно задержать и сообщить в районный НКВД. Сообщать надо и о настроениях прибывающих с запада беженцев: среди них могут быть незрелые элементы и провокаторы. Несообщение карается по законам военного времени. Всем жителям деревни не стоит забывать, что они хоть советские люди и полноправные члены семьи братских народов, но еще и немцы. Поэтому они должны вести себя послушно и не вызывать никаких подозрений. Немецкий язык с этого момента запрещен, и теперь все должны говорить на языке межнационального общения – великом и могучем русском языке. Это касается как жителей деревни, так и вновь прибывших. О тех, кто не хочет говорить по-русски, также нужно сообщать в районный НКВД. Староста деревни и главы семей лично отвечают за сдачу сельхозпродукции. Что еще говорил начальник, Соломон уже не слышал, в голове кружилось от страха, во рту пересохло.

Вернувшись домой, Соломон хотел рассказать семье о собрании, но не мог найти нужных слов, язык стал словно рашпиль и не помещался во рту. Ситуацию спасла Катерина. С не по возрасту серьезным лицом она встала и достала из-за спины учебник русского языка, несколько экземпляров которого хранились в молельном доме. По ним жители писали письма в учреждения, когда надо было. Пока шло собрание, Катерина тайком взяла одну книжку. Голос ее звучал четко: «С этой минуты мы днем и на людях говорим только по-русски. Учить будем каждый день по учебнику. Библию спрячем в сундук и будем читать по ночам, когда никто из чужих не видит. В огороде у нужника, но с наружной стороны, за плетнем, выроем погреб и будем хранить там продукты на голодный день. Лишнего не говорить, дома без толку не сидеть, в поле работать. После возвращения с поля сначала посмотреть, все ли в порядке в доме. Чего подозрительное заметишь – в дом не заходить, пока не прояснится обстановка. С Божьей помощью и эту напасть переживем».

С того дня Катерина, хоть еще девчонка-подросток, стала определять дела семьи, до хрипоты ругалась с приезжавшим из района приемщиком за каждый грамм сдаваемой продукции, вела домашние занятия по русскому языку и тайно читала Библию. К ним в дом поселили одну русскую и одну украинскую семью. Катерина выделила в доме каждой семье по комнате, установила график пользования кухней и другими помещениями, совместные занятия русским языком. У беженцев Катерина выменивала на продукты одежду и обувь для братьев и сестер, и даже кое-что на будущее отложила. Сам Соломон как-то смирился с тем, что бразды правления взяла Катерина, и не перечил ей.

В трудармию Соломона Шнейдера мобилизовали в январе 1942 года, а в марте он погиб на лесоповале, задавленный упавшим деревом. Напарник Василий Штамм, который должен был толкать подпиленный ствол со своей стороны, выронил направляющую рогатину, и дерево упало не в ту сторону. После работы Василия, как положено, избилли остальные трудармейцы. Василий не сопротивлялся. Знал,

что за дело. Без порядка никак нельзя, крепче рогатину держать надо или крикнуть хотя бы, а то что ж – сколько так из-за него народа еще погибнуть может. О гибели отца семье сообщили только в конце того же 1942 года. О смерти мужа Мария Шнейдер так и не узнала, после его ухода у нее стали быстро пухнуть ноги, и однажды она тихо отошла в Царство Божье, о котором столько читала в святых книгах и откуда еще никто не вернулся. Так Катерина осталась в семье за старшую.

Катерина

Всех немцев поставили под комендантский режим и велели каждую неделю отмечаться у назначенного коменданта. Днем Катерина работала учетчицей – поспособствовал проникшийся к ней уважением приемщик из района. Младшие братья и сестры ходили в школу, за счет беженцев село увеличилось в три раза, в нем открыли школу и прислали нескольких молоденьких учительниц из города. Вечером все вместе работали в огороде.

В конце 1945 года село опять увеличилось: в него привезли тех российских немцев, которые в войну побывали в Германии, а после победы были возвращены в СССР и направлены на вечное поселение в отдаленные районы СССР. О том, что это поселение – навечно, а за побег полагается суровое наказание, объявили под расписку каждому поселенцу в 1948 году, для чего вызывали в бюро к коменданту, старшему лейтенанту Левону Оганесяну. Подписала и Катерина – а куда денешься.

Через несколько дней Катерина вновь пошла на прием к коменданту по личным вопросам. Их накопилось много. Нужно было разрешение на ее свадьбу с ссыльно-поселенцем Иваном Клюдтом. Катерина уже почти полгода жила с ним без регистрации и мучилась от этого. Из некогда чисто меннонитского поселения деревня за годы войны превратилась в большое многонациональное село, где от бывшего пуританства остались одни воспоминания. Геенны огненной за жизнь во грехе Катерина уже не боялась, но все же сказывалось меннонитское воспитание.

За прошедшие годы она как-то постепенно оформилась в приятную девушку. Не красавица: невысокого роста, но ладная, с пышной грудью и милым, открытым, немного курносый лицом. Да и возраст подходящий – уж двадцать лет, почитай, и фактически уже семью с Иваном создала. Детишки пойдут – негоже это, если дети у нерасписанных родятся. Младшие братья и сестры хотели учиться дальше. На все требовалось разрешение коменданта.

Старший лейтенант Оганесян

Старший лейтенант Оганесян пребывал в дурном расположении духа. Возраст у него был уже хорошо за тридцать, недавно он заметил морщинки у глаз и первые седые волосы на висках. Для записного сердцеда, которым он всегда считался, это были тревожные признаки. Левону уже давно пора было бы быть майором или хотя бы капитаном, но его почему-то все время задвигали, а должности и звания получали другие, с родственными и земляческими связями. «Так до пенсии и придется караулить фрицев в этой глубинке», – с тоской думал сотрудник ведомства папы Берия. «Капитана дадут перед самой отставкой, чтобы пенсия на сотню больше была, – да и вся любовь».

Жена Левона с сыном за ним не поехали, остались жить в городе. Жена объясняла это необходимостью дать мальчику хорошее образование. Левон, правда, как опытный сотрудник всезнающих органов в это не особо верил. Более того, довели до него слухок, что жена крутит с подполковником из окружного управле-

ния, поэтому и держат Оганесяна в этой дыре – чтобы не мешал любовным утехам влиятельного чина. От этих мыслей горячий уроженец армянских гор помрачнел еще больше и, чтоб отвлечься, решил заняться делом – то есть приемом населения. Первой на прием была записана Катерина.

Когда Катерина зашла в небольшую комнату коменданта, Левон все еще был занят собственными невеселыми раздумьями, потому слушал посетительницу вполуха, подперев рукой голову и уставившись на висящий на противоположной стене портрет шефа своего ведомства. Сквозь известное всему миру пенсне шеф глядел строго и в самое сердце, как будто хотел своим рентгеновским взглядом прямо с портрета насквозь просветить подчиненного в далеком Казахстане.

«Всем им чего-то надо, все обмануть норовят, а бабы хуже всех: обещают, а потом не делают – надеются, что «за так» проскочат», – лениво ворочались в голове старшего лейтенанта профессиональные и личные мысли. Постепенно, однако, посетительница его заинтересовала, вернее даже не она, а ее колышущаяся от разговора и волнения грудь. После осмотра этой самой важной, по мнению Оганесяна, части женского тела, он взглянул на лицо обладательницы этой роскоши. Лицо ему понравилось. До этого он несколько раз мельком видел ее в деревне и на работе, но не обратил на одетую в рабочий халат и закутанную в платок Катерину никакого внимания.

Он любил такой тип женщин – простых, без выкрутасов и интеллигентских штук с головной болью, возникающей в самый неподходящий момент, когда мужчине хочется ласки, страстных, но послушных и домовитых, – которые после занятий любовью суп сварят и любовника накормят, а не пошлют в магазин за цветами или начнут требовать подарков. Вернувшиеся с фронта офицеры рассказывали много интересных историй, где они фигурировали в качестве героев-любовников, доведивших до изнеможения белокурых немецких бестий. Бестию не могли устоять перед советским офицером и за ночь любви с мужественным победителем были готовы на все – рассказывали под водку и селедку бывалые солдаты, смачно заедая рассказ хрумким огурцом. Оганесян завидовал им в такие моменты.

Сам старший лейтенант на фронте не был – ковал победу в тылу. Этому сберегающему здоровью факту способствовал тот же незримый подполковник, тогда не менее влиятельный майор окружного управления. Жене Оганесяна не улыбалось стать гордой вдовой: статус замужней женщины и зарплата мужа ее вполне устраивали, да и сыну нужен отец. Муж – это надежно, офицеры органов не разводятся, а поклонник может враз исчезнуть, как ветром сдует. Ее шепотка разомлевшему от коньяка другу хватило, чтобы Левон был признан незаменимым специалистом и оставлен на тыловой работе по борьбе с внутренним врагом. Покровителю тоже не нужна была свободная женщина, ищущая удачного замужества. Соломенная вдова его вполне устраивала. Вот и помотался Левон по этапам, сопровождая заключенных, подальше от дома – зато живой.

Теперь одна такая белокурая немка сидит в кабинете и чего-то от него хочет. Когда он ознакомился с сутью дела, настроение старшего лейтенанта улучшилось. «Дела для просительницы жизненно важные, их исполнение зависит от меня, за это можно многое потребовать. Родителей у нее нет, сама себе голова, да и в семье за старшую – спрашивать не у кого, ведет себя неробко – эта ломаться не будет», – почти автоматически пронеслось в голове бонвивана. Остальное для бывалого офицера НКВД/МГБ было делом техники: государственно нахмуренный, как бы в тяжких раздумьях, лоб, внимательное ознакомление с прошением, рытье в служебных инструкциях, участливый взгляд доброго, хотящего помочь дяди.

«Дело у вас сложное, спецпоселенка Шнейдер, приходите ко мне вечером после приема, а то сейчас народу много, стресс, понимаете ли», – ввернул новомодное слово предчувствующий приятное приключение старлей. И добавил веско:

«Так, значит, за гражданина Ивана Клюдта замуж собрались? А я его дело уже в спецтрибунал хотел передавать. Не понимает сложную международную обстановку, когда в ООН империалисты против нас заговоры строят», – опять вставил новомодное слово комендант и поправил и без того безукоризненный пробор. Лучше пробора в Оганесяне были только до блеска надраенные сапоги. Он себе решительно нравился и считал неотразимым. «Разговоры ваш Иван ведет неправильные, не соответствующие нынешнему этапу построения коммунизма. С такими нам не по пути. Ничего, на урановых рудниках не до шуток будет», – добавил он уже без отеческих ноток в голосе.

Офицер МГБ врал только наполовину, когда рассказывал Катерине о компромате на Ивана. Он действительно получил из области разнарядку на отправку нескольких молодых мужчин на строительство юной, но такой важной для обороны страны атомной промышленности. Дело оставалось только за пригодным человеческим материалом – здесь старший лейтенант еще не определился с выбором. «Не придет Катька, отправлю Клюдта на рудники. Материалы дела готовы, надо только имена вписать. Вот и поедет Ваня в такие места, откуда нынешнее спецпоселение в Казахстане подмосковным домом отдыха покажется. Пусть тогда своей Кате спасибо скажет». Оганесян довольно закурил папиросу и подумал, что маленькие радости можно иметь и на его должности, да и жизнь не так уж плохо устроена. А седые волосы можно вырвать или незаметно подкрасить черной краской. Надо в следующий раз не забыть купить в городе.

Свидание

Комендант спецпоселка, мужчина, да еще и старший по возрасту, подчеркнуто называл Катерину на «вы», и от этого ей становилось как-то особо не по себе. Это «вы» не предвещало ничего хорошего. Она коротко кивнула и, ничего не сказав, вышла из комнаты. Катерина знала, что за кабинетом начальника была маленькая комнатка для отдыха, с кроватью, застеленной розовым покрывалом с вышитыми слониками, и умывальником. В поселении никто ничего не рассказывал, но все об этом знали. Слухи – они сами рождаются, без папы, мамы и посторонней помощи.

В шесть часов вечера, как и было велено, Катерина стояла у здания комендатуры. Оганесян уже ждал и сразу открыл дверь. Он собирался сначала красиво поухаживать, как и положено галантному мужчине, угостить даму вином и припасенными для такого случая привезенными из города конфетами, но как только он увидел приодевшуюся Катерину, взыграла горячая кавказская кровь. Он сразу повел свою новую пассию в заднюю комнату, на ходу снимая с нее кофточку и юбку и пытаясь одновременно акробатическим жестом стащить с себя сапоги, не попортив глянец.

Когда через три часа Катерина вышла из комендатуры, старший лейтенант Оганесян был в отличном настроении. Все оказалось много лучше, чем он предполагал. Ни крика, ни слез, ни ломаний. Катерина делала все, что он хотел, просила еще, говорила комплименты о его страстности и мужской силе и требовала нового свидания. Бюст у нее и вправду был великолепный, а новое свидание было назначено на следующий день. Жизнь снова поворачивалась к старшему лейтенанту солнечной стороной. В этой бочке меда плавала, правда, одна ложка дегтя.

Через неделю должен был приехать проверяющий из района майор Смурьгин. Оганесян многого ждал от этой проверки. Майор к нему благоволил и намекал на возможность перевода с повышением и присвоение очередного звания. Для этого были основания. Рабочие колонны и бригады Оганесяна постоянно перевыполняли план, причем не на бумаге, как у других, а на деле. За время службы

Оганесяна из спецпоселения никто не сбежал. Обо всем этом заботился бригадир Вальдемар Вагнер, «бугор», как его в глаза и за глаза звали ссыльнопоселенцы.

Двухметрового стодвадцатикилограммового верзилу с низким лбом и пудовыми кулаками боялись все. Умом Вальдемар не блистал, но был с хитринкой и жизненным опытом, знал, как одним едва заметным движением кулачищ заставить людей слушаться себя. Левон плотно держал Валика, как свойски называл его, на хорошем крючке. В войну немец из-под Одессы служил в СС, участвовал в антипартизанских и карательных акциях и был даже за заслуги награжден Железным Крестом II класса, который вручил ему один штурмбаннфюрер или еще какой-то высокий фюрер – в немецких званиях Левон не сильно разбирался, но фотография награждения в деле Вагнера хранилась. Оганесян хода делу не давал, поэтому Валик с подобострастием смотрел в глаза своему благодетелю и выполнял каждое его поручение. Он же регулярно давал отчет о каждом человечке из поселения.

«Странная штука жизнь», – думал старший лейтенант, – на урановые рудники должен был бы отправиться Валик, на это и десятой доли его зверств хватило бы, а вместо него туда чуть Клюдт не загремел, который фашистов в глаза не видел, всю войну работал на победу на трудовом фронте и за свою жизнь мухи не обидел. Хорошо – его баба спасла, понятливая оказалась. Но что тут поделаешь, жизнь такая». Валик был незаменим для управления поселением, а Ваня Клюдт нет.

Оганесяну понравились собственные философские мысли: ну не хуже, чем у Фридриха Маркса и Карла Энгельса, – других философов Левон не знал, а об этих рассказывали на партийных занятиях. Нет, решительно все в нем было хорошо: и пробор, и сапоги, и мысли. Не зря от такого мужчины все женщины без ума. А седина, кстати, украшает мужчину – он выглядит более мудрым, главное, чтобы живота не было, – но с этим у него пока еще все в порядке.

На выходные для майора Смурьгина были подготовлены баня и рыбалка. «Может, ему и Катьку предложить? – размышлял Оганесян. – Майор таких любит». Девка, конечно, ему самому нравилась, но в его жизни будет еще много таких Катек, а карьера одна. Лет ему и так уже немало, оступиться нельзя, а то действительно до конца службы в старлеях проходишь. В том, что Катерина у него плотно сидит на крючке и выполнит любое его приказание, старший лейтенант не сомневался. Посмотрю, как завтра себя поведет, тогда решу, – немного успокоил свою совесть Оганесян. Левон лукавил сам с собой. Он уже все решил: карьера для мужчины важнее, чем какая-то баба. И вообще, он должен думать о сыне.

Игра

Катерина пришла, как и обещала, опять в восемнадцать часов. На это раз она не кинулась в объятия страстного Левона, а спокойно отстранила его и коротко сказала: «Поговорить надо, гражданин старший лейтенант». «О чем там говорить, понимаешь, к делу переходить надо», – недовольно подумал Левон. – «Просить чего-то будет, не могла, дура, на потом отложить», – но почему-то послушался. То, что он услышал, потрясло его закаменевшую от работы в органах душу. Вчера, пока осоветивший после вина и любви Левон дремал под розовым одеялом с приносящими счастье слониками, Катерина пробралась в кабинет, благо дверь была открыта, и выкрала его партбилет и секретные инструкции, которые он оставил на столе после утреннего приема.

От злобы у Оганесяна сдавило горло и возникло острое желание немедленно убить мерзавку. «При попытке к бегству», – молнией пронеслось в голове старшего лейтенанта. Была еще надежда, что девка просто врет, чтобы его попугать. Оганесян кинулся в кабинет: нет, правда – ни партбилета, ни секретных последних ин-

струкций. Не зря большой папа с портрета так жалостливо-предупреждающе смотрел на Левона. Главный смотрящий и держащий страны видел все, даже с фотографии. «Стереть в лагерную пыль», – вспомнил он любимое изречение шефа и подумал о том, сколько сотрудников, считавшихся самыми надежными, ушли в небытие. За утерю документов и партбилета при таких обстоятельствах головы не сносить. Подумать только, какой урон авторитета органов. Комендант с девчонками балуется, а молодая ссыльнопоселенка у него в это время бумаги крадет. Тут и влиятельный подполковник не поможет. «Убью, – еще раз подумал Левон. – Но сначала она должна вернуть документы».

Словно читая его мысли, Катерина спокойно сказала, что документов у нее нет. Спрятаны. В разных местах. А часть инструкций передана через ходоков в другой поселок. Теперь ищи-свищи их. Левон тихо завыл от животной злобы и страха за свою жизнь. Катерина без паузы перешла к сути дела. Комендант Оганесян дает разрешение на свадьбу, Ивана Клюдта не трогает и в качестве поощрения за доблестный труд переводит всю семью в город, где есть школа-десятилетка и медучилище. На этом дело заканчивается, и они больше не встречаются. Партбилет он получит по почте после того, как вся семья будет в райцентре, а секретные ведомственные бумаги будут для надежности лежать у нее. Их все равно никто не хватится. На раздумья она дает Оганесяну одну неделю. Катерина подошла к мрачно молчащему старшему лейтенанту, внезапно прижалась к нему всем телом и сказала, глядя на него глазами с поволокой: «А ты мужчина горячий, комендант. Устроится все – может, опять приду, если захочу», – и без спешки вышла из комендатуры.

Руки и ноги у нее дрожали, но вида она не подавала и не обращала внимания на провожавших ее взглядами соседей, заметивших, сколько времени она провела в комендатуре. Катерина блефовала. Выкраденные документы она действительно спрятала, но помощников у нее не было и бумаг никто за пределы поселка не вывозил. Если Оганесян откажется выполнять ее требования, ей не остается ничего иного, как сдать его начальству. Здесь на полдороге останавливаться нельзя, надо идти до конца, а там будь что будет. Игра была отчаянная, но другого выхода не было. Про разнарядку на какие-то особые шахты, где рабочих убивают специальными лучами из привезенных из самой Америки приборов, эксперимент такой делают, – ей рассказала уборщица комендатуры.

Александр Леонович Клюдт

Свадьбу с Иваном Клюдтом сыграли через месяц после этих событий, а еще через два месяца вся семья была по производственной необходимости переведена в город. Катерина оформляла все бумаги и по надобности часто бывала в комендатуре. Оганесян смотрел на нее странным взглядом, был необычно тих и услужлив. История с кражей документов неожиданно сблизила их, связала общей тайной, сделала даже сообщниками. Эта тайна била в голову, делала ватными ноги, придавала особое значение даже самым простым словам и жестам. Оганесян впервые в жизни получил наслаждение от неслыханного унижения, которое он претерпел от женщины много моложе его, да еще и зависящей от него во всех отношениях. Это только распалало его страсть.

Перед отъездом в город они еще несколько раз встречались в задней комнате. Слоникам на покрывале пришлось очень напрягаться, чтобы выдержать неистовство чувств белокурой немки и черного огнеокого кавказца. Ваня был, конечно, хороший муж – тихий, работающий, непьющий, – но как любовник он страстному Оганесяну в подметки не годился. В последний вечер перед расставанием Левон

почти плакал, рассказывал про стерву-жену и обещал обязательно найти Катерину. Больше она его не видела.

Вскоре после отъезда Катерины старшего лейтенанта Л. Оганесяна повысили в звании и перевели на более ответственную работу. Помог положительный рапорт майора Смурыгина, а главное, перевод в Киев незримого, но очень осязаемого подполковника. В столице Советской Украины теперь уже полковника и заместителя начальника одного из управлений республиканского МГБ ждали новые задачи, новые люди, новая квартира, новые женщины. Он по-своему оказался даже честным человеком. Перед отъездом в Киев «старый друг семьи» «за особые заслуги» похлопотал о продвижении Левона по службе, хотя главную службу несла жена Оганесяна и награждать надо было бы ее, с усмешкой подумал новоиспеченный полковник, любовно разглядывая солидно сверкавшие три массивные звездочки на новеньких полковничьих погонах.

Когда Катерине в роддоме показали ее первенца с густыми черными вьющимися волосами, она сразу поняла, что отец мальчика – не бесцветный Ваня, а старший лейтенант Левон Оганесян. Она это и во время беременности чувствовала, но теперь сомнений быть никаких не могло. В городе о Левоне ничего не знали и ненужных вопросов, откуда у четы немцев сын с орлиным носом и черными волосами, не задавали. Мальчика назвали Александром. Дома Ваня делал вид, что ничего не произошло, и жизнь пока что шла дальше своим правильным, неспешным ходом...

ПАЛАТА № ?..

Рассказ

Больной с некоторых пор начал понимать, что с ним происходит. Он знал, что болен, слышал все, о чем ему говорили врачи и медперсонал, но по-прежнему не мог рассказать о себе и ответить на вопросы. Он выполнял все предписания, добросовестно посещал процедурные кабинеты, пил лекарства и очень хотел как можно скорее выздороветь, начать снова говорить и вернуться к своей семье. Только по вечерам он не торопился принимать медикаменты. Ему особенно нравилось время, когда медсестра, положив на его тумбочку очередную порцию лекарств, уходила в другие палаты. Разноцветные таблетки и капсулы сиротливо лежали нетронутыми, а у него начинался праздник фантазий. Был это бред больного мозга или действительность, он точно не знал. Что-то напоминало ему прошлое, что-то было вымыслом. В его ночном мире не было дежурных улыбок санитаров и врачей, забывалось, что он болен, и все, в том числе он, говорили на одном языке и, самое главное, понимали друг друга.

Вчера он был в детстве. В большом яблонево саду чувствовалось приближение осени. Деревья украсились разноцветьем листьев. Еще висели на ветках краснобокие яблоки апорта и желтовато-зеленые лимонки. Ранетка усыпана мелкими, с голубиное яйцо, плодами, которые все почему-то называли раечками. Время снимать их. Мать наварит варенья, и длинными зимними вечерами оно будет подаваться в глубокой чашке к чаю. Под деревом стояли трое. Мужчина в рубашке с короткими рукавами, в соломенной шляпе, в брюках с отутюженными стрелками и в сандалиях на босу ногу. Рядом женщина в розовом платье с белым отложным воротничком. Ее волосы плотно зачесаны назад и заплетены в косу. Между ними мальчик. Одну его руку сжимает отец, другой он сам держится за большой палец матери. Волосы на голове коротко острижены. Новые брюки, купленные на вырост, подпоясаны ремешком, и складки под ним расходятся от бедер в стороны, делая туловище снизу непропорционально толстым. Рубаха в клетку застегнута на все пуговицы. Тесный воротник врезался в шею, но мальчик на это не обращает внимания. Он счастлив, радостно улыбается. Там, перед ним, священнодействует фокусник с треногой. На треноге стоит деревянный аппарат. Объектив закрыт черной крышкой, и за черного цвета полотном полностью скрылась голова фокусника. Он обещал, что скоро вылетит птичка. Но птичка мальчика не интересует. Вон их сколько прыгает, летает, чирикает в саду. Его занимает само священнодействие человека у треноги, и он испытывает нетерпение: увидеть результат трудов фотографа. Фокусника-фотографа уважают все. Во дворе и у ворот уже толпятся соседи, которые тоже хотят сделать семейные фотографии. Мальчик, помогая нести треногу от фотоаппарата в сад, решил, что, когда вырастет, будет фотографом. Вот из-под черного полотнища высунулась голова, правая рука что-то быстро и незаметно поменяла в ящике, левая рука грациозным движением сняла крышку с объектива, плавно описала замысловатый зигзаг и водрузила ее снова на место. Никто и не заметил, что перед самым моментом, когда открылся объектив, сорвалась раечка с ветки и упала на голову мальчика. Боясь спугнуть прекрасное мгновение рождения фотографии, опасаясь все испортить, мальчик, несмотря на довольно-таки

сильный удар, не пошевелился и не моргнул. Так и осталась навечно фотография, где двое взрослых людей держат за руки маленького мальчика с застывшей на его макушке маленькой хвостатой раечкой. Там, в реальной жизни, мужчина часто возвращался в яблоневый сад, в тот праздничный день. Фотография долго хранилась у него. Она была как талисман. Всегда, когда ему было трудно, он доставал ее из альбома. Вот уже с год, как фотография куда-то исчезла. И весь этот год был бессмысленным, наполненным какой-то ненужной суетой и неудачами.

Больной лежал с открытыми глазами на койке и ждал. Куда уйдет он сегодня? Кто придет к нему? Будет это его прошлое или обыкновенные цветные фантазии? Он не мог управлять своим воображением. Оно было самостоятельным. Сейчас он оказался в аэропорту. С ним родные. За окнами лютует непривычно холодная зима, а здесь, в стеклянном аквариуме, жарко. Будущие пассажиры самолета радостно оживлены. Через узкую дверь еще видны провожающие. Те, кому удастся найти своих в толпе, пытаются перебраться с ними словом. Но ответов не слышат, как, наверное, не слышат сказанного стоящие за дверью. Но главное не слова, главное – увидеть в последний раз своих родных и друзей, с которыми неизвестно еще когда встретишься. Наконец, открылась дверь на улицу, и возбужденная, вспотевшая масса людей ринулась к автобусу занимать места. Одного автобуса не хватает. Оставшиеся пассажиры, не вместившиеся в автобус, не хотят возвращаться в «предбанник» и, несмотря на мороз, терпеливо ждут его возвращения на улице.

От этой картины больного охватывает чувство растерянности. Было ли все действительно так, когда уезжал, он не помнил. От того времени у него остались в памяти большой шумный аэропорт другой страны, долгая езда в комфортабельном автобусе, маленькая комната с двухъярусными койками, вкусно пахнущая столовая и отсутствие привычного хлеба на столах. Лагерь. Воспоминания о нем усиливают тревогу. С чем это связано? Может быть, с тем мрачным кирпичным зданием, куда им надо было ходить и где сидели угрюмые и вечно озабоченные люди и задавали вопросы, на которые следовало отвечать на правильном немецком языке. Эти люди сами не слишком-то заботились о правильности своей речи, но болезненно реагировали, если их не понимали или кто-то начинал говорить на своем диалекте, с вкраплениями в него русских, казахских или украинских слов. Там, в этих кабинетах, он впервые почувствовал немоту. Нет, он говорил как мог, как учили его родители, но чувствовал себя немым. Это чувство всё нарастало. И когда после его корявых фраз кто-то из чиновников начинал криво усмехаться, вдруг забывались слова, язык не мог выговорить простейшее, и ужас немоты заполнял все его существо.

Больному было тяжело вспоминать о первых симптомах болезни. Хорошо бы снова вернуться в детство. Детство – это лучшее, что было у него в ночи. Он сидит за партой. В класс входит молодой мужчина. Дети дружно встают и после того, как мужчина с ними здоровается, садятся. Старая учительница ушла на пенсию, и директору пришлось спешно искать замену. Учитель-новичок выглядел комично. На голове торчат в разные стороны рыжие волосы, нос длинный и горбатый, узкий, как клинок сабли, подбородок закругляется к шее, тыльная сторона ладоней усыпана рыжими пятнами, на блеклых невыразительных глазах сидят нелепые старомодные очки. Он гнусавил, и ученикам трудно было его понять. После первой же сказанной им фразы в классе заулыбались, а через полчаса смеялись уже без зазрения совести, издеваясь над безуспешными попытками донести учебный материал. Оказывается, чтобы в детях навсегда убить желание изучать немецкий язык, не нужно прилагать больших усилий. Надо только взять на работу бесталанного учителя. Через полгода он уволился, после чего немецкий язык вообще вычеркнули из расписания.

«Зачем опять об этом, – подумал больной. Что, сегодня урок немецкого?» Он встал с кровати и вышел в коридор. В окно напротив двери его палаты билась ветка липы. Где-то в щель с тонким свистом проникал ветер с улицы. Над затихшей

на ночь дорогой светились фонари и, покачиваясь на ветру, бросали мимолетные лучи на окна. В свете фонарей четко выделялись белые прямоугольники парковочных мест возле супермаркета, где стояла забытая владельцем одинокая машина. Когда приходила бессонница и большой уставал от нашествия неуправляемых картин прошлого, он выходил в коридор и садился на пластиковый стул у двери в комнату, где в свободное время отдыхали санитары. Если дверь была неплотно прикрыта, можно было слышать доносившийся разговор. Больной понимал все, о чем говорили. Вчера дежурили двое мужчин. Один был высок ростом и жирен. В самом прямом смысле слова. Жировые складки скрывали шею, жир нависал над бедрами, отчего широкая рубаша необыкновенно большого размера вываливалась вместе с жиром из белых рабочих брюк и висела на нем, как на чучеле. Даже его короткие толстые пальцы оставляли на предметах и одежде неприятные жирные отпечатки. Он работал в отделении для буйных. Там его все боялись, и поэтому, несмотря на большой вес и неприятный запах пота, врачи его ценили. В комнате отдыха он часто рассказывал о происшествиях в его отделении. Вчера он поведал своему коллеге, вдвое меньшему и худощеому, как скелет, о новом пациенте, появившемся в отделении. «Он укусил меня за руку. Идиот! У меня же кожа толще, чем у бегемота. Когда врач вышел на пару минут, я ему куском поливного шланга два раза по ребрам съездил и кулаком по зубам. Не так сильно, конечно, а то зубы вылетят. Отвечай потом. Так, слегка. Когда кровь с губ вытирал, сидел уже смиренный».

Сегодня дежурили два студента. Они учились в университете и подрабатывали в свободное время. Больные, кто был более-менее в себе, их любили. Студенты были беззлобны и терпеливы. Не хамили и добросовестно относились к работе. Один из них знал русский язык и, если выходил из комнаты, спрашивал по-русски у сидящего больного: «Как дела, земляк?» – и, заранее зная, что ответа не получит, уходил по своим делам, не заставляя больного возвращаться в палату. Студент, наверное, хорошо понимал психику больного и оставлял его в покое. И действительно: тишина ночи, негромкие голоса из-за двери успокаивали возбужденное воображение, сознание, отдохнув, уходило в другой мир. Часто здесь, у двери, к нему приходило будущее. Конечно же, он это себе только представлял. Как можно увидеть будущее?! Но картины, проплывавшие в его больном мозгу, казались ему будущим. Он идет по широкой дороге, от которой к горизонту перекинута разноцветная радуга. Он входит, как на мост, на эту радугу и его окружает разноцветное сияние. Вокруг летают птицы, ходят звери, ползают насекомые, которых он не видит, но чувствует их и уверен, что они не сделают ему зла. А у горизонта, где радуга упирается в небо, ждет его что-то непонятное, но хорошее. И от предчувствия этой встречи душа наполняется радостью, а сердце начинает взволнованно стучать, как тогда в саду перед фотообъективом.

После того, как исчезла радуга и успокоилось сердце, он просидел еще с полчаса, прислушиваясь к голосам из-за двери. Ему важно было не то, о чем говорили. Важен был сам звук человеческого голоса, возможность узнавать слова, понимать их и проговаривать в себе. Вспомнив, что скоро начнет ночной обход сестра, он ушел в палату. Больной знал, что сестра, обнаружив невыпитые лекарства, будет сердиться, и тогда в палате останется атмосфера озлобленности и недовольства, которая всю оставшуюся ночь будет угнетать его сознание. Поэтому он выпил лекарства, лег в постель, тщательно укрылся и стал ждать их действия. Он погрузился в безразличие. Сознание сворачивалось улиткой. Он проваливался в какую-то спиралеобразную яму и летел без эмоций и без ощущений, ничего не ожидая и ничего не желая.

Всегда, если больной принимал лекарства поздно, он тяжело просыпался утром. Его соседи по палате, давно закончив утренний туалет, до завтрака занимались кто чем, а он все карабкался по спиралям ямы, чтобы наконец выйти наверх к утренней суете: сердитому ворчанию смывного бачка в туалете, холодной воде умывальника, к переложенной колбаской булочке и остывшему кофе в столовой,

к бесконечному и бессмысленному хождению больных по коридору. Пересиливая себя, он сделал все необходимое и после завтрака сидел на своем любимом месте у двери в комнату дежурных санитаров. Студенты, закончив смену, ушли. Две пожилые и уже с утра усталые женщины втягивались в привычный рабочий ритм. Утром было особенно много работы. Кого отвести на процедуры, кому поменять белье, кого помыть под душем. Большинство больных не понимали, что с ними происходит, и послушно давали себя уводить в лечебные кабинеты, подставляли ягодицы для уколов, снимали одежду, если нужно было переодеться, – и с равнодушными лицами возвращались в коридор или в свою палату.

В палате с ним лежали еще трое. Как и он, они не были больны безнадежно. В первые дни после появления больного они пытались его о чем-то спрашивать, но, не получая ответа, прекратили попытки. Только турок, у которого начисто пропала память, продолжал с ним разговаривать. Он говорил на своем родном языке, и никто его не понимал, но все внимательно слушали длинные монологи и иногда, когда считали это уместным, согласно кивали головой или улыбались. Этот крестьянин из пригородного села был сильно чем-то напуган. Укрывшись с головой больничным одеялом, он наблюдал за дорогой, ведущей от железной ограды больничного корпуса, или следил за домами у супермаркета. Пару раз он указывал на слуховое окно одного из домов, откуда торчала забытая кем-то палка, утверждая, что это снайперская винтовка, из которой его должны убить. Третий сосед постоянно смеялся или плакал. Вот уже несколько дней, как он становился все серьезней и задумчивей. Истерический смех или плач слышались все реже. Он стал во время обхода задавать врачам вопросы, и, очевидно было, что его скоро выпишут.

Дни больного походили друг на друга. До обеда приходил врач и задавал вопросы, на которые больной не отвечал. После обеда санитарка увела его на обследование в специальный кабинет, где ему навешали проводов на голову и снова пытались вопросами. Он понимал их, но со временем научился на них не реагировать. Только внутри происходило что-то странное, и мозг вместо ответов выдавал какие-то цветные картины. Если вопрос задавался громким голосом и с нетерпением, внутри все сжималось и перед глазами расплывались черные круги. Он не любил эти процедуры. Только с одной женщиной-врачом ему было хорошо. Она не задавала вопросов, говорила мягким грудным голосом, и в ее интонации не сквозили нотки нетерпения. Ее немецкий язык был ему понятен, доходил до сознания и успокаивал. Перед глазами возникала светлая радуга и в душе возникало праздничное чувство. Похожее чувство появлялось, когда к нему приезжала жена или когда он в ночных блужданиях возвращался в детство.

Дни проходили в особом пространстве. Время он измерял не часами, а этапами настроения. Утром, карабкаясь вверх из своей ямы и умываясь, он ожидал чего-то нового; за завтраком или обедом приходило чувство домашнего уюта; визит врачей оставлял ощущение вроде не до конца решенного кроссворда, когда почти все слова отгаданы, но из-за двух-трех слов он так и остается нерешенным; беседы в процедурных кабинетах оставляли хаос и растерянность – не считая, конечно, встреч с женщиной-врачом. Между этими этапами были паузы, когда нужно было принимать лекарства. После чего он проваливался все в ту же спиралеобразную яму, и сознание отключалось: не было настроения, не было цвета – не было ничего. Пустота. Вакуум.

Поэтому он старался, когда была возможность, откладывать прием лекарств на более позднее время. Днем это не получалось, а вечерами иногда удавалось. Он понимал, что лекарства ему нужны для лечения. Необходимое количество пилюль и капсул, рано или поздно, нужно принять – но все равно с нетерпением ждал вечера, чтобы отдаться во власть воображения. Ночные путешествия помогали ему понять, что с ним происходит. Не оглушенный лекарствами мозг усиленно работал и искал причину болезни. Ему казалось, что именно в это время процесс выздоровления шел наиболее интенсивно.

Снова наступил вечер. Опять сиротливо лежали на прикроватной тумбочке лекарства. Медсестра поправила на больном одеяло и ушла в процедурную. Им опять стало завладевать воображение. В последние дни картины всё более похожие на реальность. Решать, о чем ему вспоминать, где оказываться в ночных полетах, он по-прежнему не мог. Вот и сейчас вдруг замельтешили эпизоды прошлого, которые были ему неприятны. Общежитие. Общая кухня. Женщины готовят обед. Он помогает жене разделять курицу. Все говорят по-русски. Входит чиновник из бюро. «Какие вы немцы?! – грубо, чуть не криком, прерывает он веселую болтовню женщин. – Вы никогда не научитесь говорить по-немецки, если будете продолжать общаться между собой по-русски. Прекратите этот русский базар!» Выходя, уже в дверях, чиновник раздраженно проворчал: «Russe Penner», – и с силой захлопнул дверь. В кухне повисла тишина. Женщины, боясь смотреть друг другу в глаза, ни за что оскорбленные, занимались своими кастрюлями, сковородками, тестом, картошкой, мясом. Он, единственный мужчина на кухне, чувствовал на себе короткие взгляды женщин, и ему делалось стыдно. Как будто это он оскорбил и унизил их. Им снова овладела немота, в горле появился комок, мешавший произносить слова, и даже воздуха стало мало и приходилось учащенно дышать, чтобы заполнить вдруг опавшие легкие.

Когда дыхание успокоилось, он вдруг очутился в посольстве Германии в Алматы. В пришедшем от родственников вызове оказалась ошибка в фамилии, и прежде чем идти в ОВИР, ее необходимо было исправить. На прием к консулу вытянулась длинная очередь. Терпеливо простояв в ней полтора часа, вошел к консулу. Он говорил с консулом так, как будто и всю жизнь говорил по-немецки. Видимо, это было связано с поведением самого консула. Тот говорил на чистом литературном языке, произносил слова внятно и не проявлял нетерпения, когда говорил, пусть с ошибками, его собеседник. Чувство уверенности в себе, которое возникло у него после визита к консулу, вдруг вернулось к больному. Он встал с кровати и вышел в коридор. Было еще не поздно. Вперив отсутствующие взгляды в пространство, бесцельно бродило несколько больных. Он прошел несколько метров к своему любимому месту у двери в комнату персонала. Стул был не занят, он сел, откинул голову назад и закрыл глаза. Увидел себя в большом кабинете. Его спрашивают о чем-то. Он все понимает, но, как всегда в последние дни, не может ответить. Он знает ответ, знает слова, которыми надо отвечать, но они остаются внутри и не выходят. Он немой! Там, за дверями кабинета, ждут родные. Они на него надеются. Из кабинета выходит растерянный мужчина, в его глазах ужас. Родные говорят ему что-то, но он их не слышит и ответить не может. Мало того, он перестал их видеть. Из этого кабинета он вышел окончательно больным. Он не помнил, что происходило дальше, и очнулся только здесь, в психиатрии. В первые дни ему было тяжело осознавать, что он психически болен. Ему хотелось говорить, но голос не слушался, из горла не выходили звуки, и при попытках что-то сказать или ответить на вопросы накатывалось удушье, не хватало воздуха, и ему делалось плохо. Первые недели были особенно тяжелыми, но после месячного лечения стало легче. Он уже так не задыхался, а слушая вопросы и не отвечая на них, оставался спокойным. Днем, после всех процедур и между приемами лекарств, мысленно вел длинные диалоги с самим собой. Чаще всего он вел их по-немецки. И здесь он говорил грамотно, только иногда делал ошибки. Прислушиваясь к говорившим вокруг, он сопоставлял свою внутреннюю речь с речью санитаров, медсестер, врачей или больных и понимал, что мог бы говорить почти так же. Он старался, оставаясь наедине с собой, сказать что-нибудь вслух, но ничего не получалось. Звуки так и не выходили из горла, и только губы шевелились, как в немом кино.

Пришла санитарка. Приостановилась перед больным, заглянула в лицо, улыбнулась. После нее остался приятный запах смешанных с женским потом духов, которым пропитался ее халат за долгий рабочий день. Этот запах напомнил ему о жене. Завтра она должна приехать. Она приезжала в конце каждой недели. От

визитов в памяти оставались обрывки фраз, поцелуи при встрече и расставании и приятное чувство тепла. Больному захотелось вернуться в палату, принять лекарства, быстрее провалиться в яму и проснуться завтра. Предчувствие чего-то хорошего торопило его в палату, к мензурке с таблетками.

Утро оказалось не таким тягостным, как обычно. Он приветливо помахал рукой студенту-земляку, принявшему с утра дежурство. На приеме у врача с пониманием выслушал вопросы и, не сумев ответить ни на один из них, выходя, виновато улыбнулся. Врач сказал вслед только одно слово: «Прекрасно». Осталось хорошее настроение. До обеда было еще время. Больной подошел к окну и стал уже привычно наблюдать суету людей за дорогой у большого супермаркета. Рядом с ним остановился сосед по палате. Тот, что смеялся и плакал. Он искоса глянул на больного и сказал:

– Меня сегодня выпишут. В этот раз быстро вылечили.

Две минуты прошли в молчании.

– Несколько дней наблюдаю за вами, – снова заговорил сосед. – Мне кажется, у вас дело пошло на поправку. Состояние человека, который начинает понимать, что он лечится в психиатрии, я знаю. Уже четвертый раз здесь. Когда в первый раз начал выздоравливать, тоже чувствовал себя идиотом. Казалось, что все пальцем показывают на меня и говорят: «Вот он, псих». А потом понял, что зря себя этими мыслями извожу. Все, кто здесь лечится, больны, и к этому надо относиться так же, как к любой другой болезни. Никто же не издевается над теми, у кого мигрень или печень больная. И ещё вот почему я стал спокойно относиться к своей болезни. Там, за стенами больницы, думаете, ходят здоровые люди? Посмотрите, как они суетятся и торопятся. Для людей деньги стали важнее всего. Они отдают свои лучшие годы, чтобы сделать карьеру. Многие убивают время у телевизора или компьютера. Одни, имея миллион, хотят иметь два и просаживают в рулетку последний цент. Другие ради своей идеи-фикс лишают жизни десятки и сотни тысяч. В одной части света умирают в нищете целые нации, в другой несметные деньги выбрасывают в толпу. И что интересно, эта толпа ради мелких денег, летящих дождем с неба, опускается до скотского состояния. Чуть ли не в каждых новостях речь идёт об убитых или умерших от голода и жажды детях. Убить человека стало так же просто, как убить кошку или собаку. Там, за стенами клиники, психические больные, там большая больничная палата. А мы здесь, в клинике, от них отдыхаем.

Сосед грустно улыбнулся и пошел в палату собирать вещи.

После обеда один из студентов провел больного в специальную комнату, где уже ждала жена. Она, как обычно, поцеловала его. Когда они сели рядом, он взял ее левую руку в и прижал к груди. Она давно не знала таких нежностей, и на глазах ее выступили слезы счастья.

– Тебе уже лучше? – с надеждой спросила она.

Он торопливо закивал головой. Женщина несколько минут сидела молча, наслаждаясь теплом рук мужа. Стараясь не шевелить левой рукой, она правой полезла в сумку и достала фотографию.

– Посмотри, что я нашла в томике Пушкина, – и протянула фотографию мужу.

Он отпустил руку жены и двумя руками схватил фотографию. Это была та фотография, из детства. Она изрядно пожелтела. Но на ней все так же ясно различались женщина в розовом крепдешиновом платье, мужчина в шляпе и отутюженных брюках и мальчик с хвостатой раечкой на голове.

– Мама! – отчетливо и громко сказал больной.

Студент, который привел еще одного больного в комнату, повернулся в их сторону и по-русски сказал:

– Ну, земляк, ты даешь! Говорить начал! Скоро выпишут!

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ (1874 – 1929)

* * *

Тем – клониться к смерти, налегая
В темноте на тягостные весла,
Этим – жить под мачтой, у кормила,
Ведать птиц пути, черты созвездий.

Тем – весь век стенать в изнеможенье
У корней непросветленной жизни,
Этим – уготованы сосуды
Близ цариц-сивилл, провидиц-пифий,
И они там возлежат как дома,
С легким сердцем, с праздными руками.

Всё же темных тех существований
Тень на эти, светлые, ложится;
Легкий мир с тяжелым миром связан
Крепче, чем с землей и небесами.

Оттого не в силах с век стряхнуть я
Всех народов канувших усталость,
Дальних звезд безропотную гибель
От души испуганной упрятать.

Столько чуждых частей моею
В бытии изменчивом играют,
Что она едва ли только тонкий
Пламень или трепетная лира.

(1895)

ГОТФРИД БЕНН (1886 – 1956)

ЙЕНА

«Йена – в прелестной долине Заале», –
мать написала изящной рукой
на обороте открытки, в курзале
купленной (лето, курортный покой);
как же давно растворилось всё это –
пальцы, перо, – утекло как вода, –
годы мечтаний, годы расцвета;
только слова эти здесь навсегда.

Нехороша, неказиста картинка –
больше старания, чем мастерства;
в скверной бумаге змеится ворсинка,
зелено небо, лилова трава;
но от домишек над речкою дивной
веяло негой живой и теплом –
кто бы смутился тут кистью наивной
и копииста смешным ремеслом.

Тайный призыв ли – как будто за нитку
дернули свыше, блаженство ли, блажь?.. –
мать попросила в курзале открытку,
так поразил ее чудный пейзаж;
и, повторяю, исчезло всё это, –
что и с тобой приключится, поверь,
в годы мечтаний и годы расцвета
видящим город в долине теперь.

(1926)

ПЯТЫЙ ВЕК (I)

«И сей лекиф аттический со мною –
на белом фоне Прозерпинин миф,
весь путь теней над стихсовой волною –
оставьте, веткой мирта осенив.

И посадите кипарис у двери,
где прежде роз живой огонь не гас,
тимьяном только белым в знак потери
украшенной теперь в последний раз.

Огонь и пепел. Тризна. Без отрады
потом барвинок герму обовьет,
и плач цевницы огласит Циклады,
но вряд ли он в мой скорбный край дойдет».

(1945)

БЕРЛИН

Если парки, если скверы,
степью попранные, серы,
арки пущены в распыл,
замки веют пустотою
и под вражеской пятою –
прах отеческих могил,

то в одном не усомниться:
это место, словно львица,
возлежит – пускай в персти,
пусть в пустыне, но – в гордыне,

и любой его руине
голос Запада нести.

(1948)

ЭПИЛОГ 1949 (I)

Финиш хмельных приливов –
час стыни в синей воде
у помертвельх рифов
коралловых черт-те где.

Пьяных приливов финиш:
чужой, не твой и не мой,
не тронешь рукой, не сдвинешь
извечный образ немой.

Пыланья, взлеты, паденья –
и вот из пепла ответ:
«Жизнь – мостов наведенье
над руслом, чей канул след».

(1948–1949)

НИКА

Се – жертва Ники; но на дне потира –
вино иль кровь, – что есть Победы плод,
когда она от сладостного пира
любви встает и молча жертву льет?

Печально на аттическом лекифе
склоняет лоб – предчувствуя изъян
мечей и стрел, уже предвидя в мифе
тебя, святой стрельчатый Себастьян?

Повержены и Кронос и Титаны,
она и Зевс царят, свои лучи
пускает Феб в невиданные страны –
кому же дань она струит в ночи?

(1955)

ПАУЛЬ ЦЕЛАН (1920 – 1970)

ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ЧАС С ЦИРКОМ И ЦИТАДЕЛЬЮ

В огненном круге, в Бресте,
где тигры рычали, – там

я слышу твой голос, бренность,
я вижу тебя, Мандельштам.

Чайка висит над рейдом,
портовый кран косолап.
Ущерб поет канонеркой,
зовущейся «Баобаб».

Приветствую флаг трехцветный
глаголом русских земель:
утрата – не есть утрата,
ведь, сердце, ты – цитадель.

(1961)

Перевел Алексей Пурин

ЧЕТЫРЕ ЭССЕ

Уважаемые читатели, это – републикация. Книжка, из которой взяты предлагаемые тексты, вышла ничтожным тиражом (Самуил Лурье. Такой способ понимать. Независимая фирма «Класс», Москва, 2007), и достать её трудно. А между тем книжка эта (автора которой «Зарубежные записки» имеют честь числить и своим постоянным автором) – в русской литературе событие замечательное, особенно по нашим не очень щедрым на изыски временам. Такой красоты, лёгкости, изящества слога, такого тонкого и ненавязчивого чувства юмора – при одновременной глубине, насыщенности (или, как сейчас говорят, информативности) текста – ещё поискать... да и найдёшь ли...

Редакция

Осенний романс

Певчих стрекоз не бывает, дорогая Герцогиня. Дедушка Крылов шутит. Позволяет себе поэтическую вольность – изображает как удобней воображению. Стрекоза вообще-то стрекочет, но не как сорока – скорей, как кузнечик, – короче сказать, в полете крылья у нее трепещут: от каждого – как будто ветер, и каждое – как бы парус, и воздух, растираемый крыльями, гнется и скрипит, – не ее это голос, понимаешь? Но ведь и муравьи не говорят!

На то и басня: вроде как цирк, только наоборот – там дрессировщик заставляет животных – нет! нет! конечно, не заставляет! – конечно же, воспитывает... он их так воспитывает, чтобы они подражали нам, людям, – то есть чтобы выказывали ум: катались на велосипедах, качались на качелях, танцевали, кланялись... Словом, чтобы хорошо себя вели, слушались укротителя.

Кстати! Дедушка Крылов думал, что смиренные даже лучше умных – во всяком случае, нужней: за что, например, крестьянин любит свою лошадку? ведь с нею обмениваться мыслями не интересно, у нее небось все мысли только про еду – вот именно: как у – но это спрашивает Лиса, она ревнует Крестьянина к Лошади, отнюдь не прочь с ним дружить одна – не постигает, отчего ей, толковой, предпочитают существо столь ограниченного интеллекта.

– «Эх, кумушка, не в разуме тут сила!» –

Крестьянин отвечал: «Все это суета;

Цель у меня совсем не та:

Мне нужно, чтоб она меня возила,

Да слушалась кнута».

Вот какой земледелец несентиментальный, не то что некоторые. А кнут – это такой рычаг управления – вообще, мы отвлеклись.

Значит, так: цирковые звери – ученые, то есть послушные настолько, что представляются веселыми и умными – все как один. А звери басенные играют в человеческую глупость – причем обычно в глупость непослушных, от которой, по мнению многих, все несчастья, – и тут у каждого роль своя. Сочинитель басни назначает, кому водить – кто в природе смешней похож на человека, похожего на какой-нибудь изъян человеческого ума. Вот Стрекоза: состоит из одного легкомыслия – почти как мы с тобой. Это плохо – Стрекозу надо проучить – погубить или

хоть пристыдить, а еще лучше – и то и другое. В этом смысл игры, с этой целью дедушка Крылов и заманил Стрекозу (хоть она и не зверь) в басню и покумил с Муравьем.

Нет, настоящая, живая стрекоза – хорошая, обижать ее ни в коем случае нельзя. Вот, смотри, в энциклопедии написано: стрекозы истребляют комаров, мошек и других вредных насекомых, – «*чем приносят пользу*».

Я же говорю – игра. Дедушка Крылов, конечно, знал, что в природе нет ленивых, ни беспечных, и все, например, насекомые отдадут всю жизнь и все силы борьбе за счастье своих потомков.

Другое дело, что одни – вредные, а другие – полезные: по крайней мере, так в энциклопедии. Между прочим, как раз про муравьев там ученые, ты только послушай, что пишут: «*Многие М. относятся к числу вредных насекомых, прежде всего потому, что они охраняют тлей – вредителей культурных растений; кроме того, значительное число видов М. являются вредителями садовых, полевых, технических культур, тепличных растений и пищевых запасов...*»

Видишь? Все дело в пищевых запасах! Муравей, когда ни увидишь его, непременно тащит в челюстях какую-нибудь дрянь – вероятно, съестное – а стрекоза питается своими комарами на лету! Порхает с пустыми крыльями, да еще знай стрекочет – вот и похожа на лентяйку – на какую-нибудь недалёковидную тетеньку; одно слово – попрыгунья: лучшее биографическое время проводит в увлечениях, развлечениях, – нет чтобы консервировать на зиму овощи, копить сбережения на черный день, всю жизнь готовиться к старости, – брала бы пример с Муравья...

(*Чего дедушка Крылов, скорей всего, не знал – а дедушка Лафонтен и подавно, – как и я до сих пор, – это что европейские наши, типичные, дачные муравьи: озабоченные, целеустремленные, явно – крепкие хозяйственники... так вот, они – кто бы мог подумать? – все поголовно тоже как бы тетеньки – «недоразвитые в половом отношении самки», – сказано тут же в энциклопедии. Попроси наша Стрекоза убежища не у такой вот бескрылой рабочей особи, а у полноценного крылатого муравья – вдруг разговор вышел бы другой? Грамматический-то род непоправим, даром что у стрекоз – «вторичный копулятивный аппарат самцов высоко специализирован и не имеет аналогов среди насекомых»...*)

Какие пустяки! не все ли равно? бюджет муравейника не предусматривает затрат на попрошайек, на разных там вынужденных переселенцев, – частной же собственности, как известно, у муравьев нет – –)

Прости, задумался. Итак, Стрекоза не умеет жить – плохо ей придется зимой – так ей и надо – сама виновата – пускай пропадает, – я шучу, шучу!

И дедушка Крылов шутит: он, конечно, спасет Стрекозу – допустим, приютит ее на зиму в Публичной библиотеке – там знаешь сколько мух!

А заправливым, но скаредный, неутомимый, но неумолимый, злорадный Муравей... Не бойся: никто его не обидит, – он же ни при чем, это Баснописец наделил его холодным сердцем, а сам по себе он симпатичный. Наверняка ему начислят достойную пенсию, как ветерану труда и санитару леса, – плюс консервы со склада, и опять же поголовье тлей... Счастливая зима предстоит Муравью!

(Скитаясь по тесным, непроглядным, жарким коридорам, беззвучно приговаривать в такт шагам:

– «Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Выпад – укол! Еще выпад – опять укол! Обманное движение: так поди же... – и последний укол, наповал! Фехтовальная фраза!

Как восхитительно разрисовывал этот мастер чужие мысли, ничьи, из неприкосновенного запаса толпы – в том числе, и с особым наслаждением, главную – что уши выше лба не растут... Впрочем, это у старушки басни наследственный порок – Эзопов комплекс. Ядовитая, стремительная, тяжкоблистающая речь закована в градусник рабской морали.

Твердят наперебой, что Крылов был гораздо умней не только своих покровителей, почитателей, но и собственных басен. Кто его знает; людей он, кажется, презирал буквально до безумия: нарочно им внушал – неряшеством, так скажем, и обжорством – отвращение; даже, говорят, как-то в молодости попробовал нагишом поиграть на скрипке у открытого в Летний сад окна. А жизнь досталась долгая – проигрался, присмирел, притворился. Предпоследний придворный шут: а последним был Тютчев – но уже другого тона: в тунике античной не плясал. Крылову бас-

ни доставили славу и покой. Не сорвать черепахе панцирь, обгаженный столичными голубями – –)

Нет никакой черепахи, сам не знаю, что бормочу. Крылов был очень хороший поэт, Герцогиня. Подрастешь – обследуй непременно свод басен, полюбуйся старинной работой: синтаксис и метр, даже в безнадежно тухлявых, – сплошной восторг. Что Змея практически всегда знаменует иностранца, что вольнодумствующий писатель опасней разбойника – не важно: благонадежность, возведенная в добродетель, равняется маразму, – а мы с Иваном Андреевичем жили в полицейское время... Прелестнейшие вещи, само собой, – в тени: «Мот и Ласточка», «Крестьянин и Смерть», – смотри не пропусти. Обещаешь?

Навеки твой

19 ноября 99

В пустыне, на берегу Тмы

Из цикла «Трактаты для А.»

Начали! Строки Пятая и Шестая:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила...

Один ли я вижу – и не галлюцинация ли: что его породила природа в день гнева степей? В день гнева жаждущих степей – гнева жажды, гнева от жажды. Изнемогая, негодя на судьбу, то есть на свое местоположение – под самым Солнцем, – обезвоженная почва, прежде чем обмякнуть, превратиться в море бесплодного праха, каменеет и раздражается, как проклятием, – исчадием. Извергает, изрыгает, исторгает из последних глубин вещество своей смерти – что-нибудь вроде мертвой воды, вязкой Аш-два-О из антимира – и рисует в раскаленном воздухе огромный восклицательный знак, одетый корой, покрытый листьями, истекающий влагой.

Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии – вроде зеркального шифра – с обращенной симметрией. Помните?

Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Или:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...

По-моему, он так наверстывает опоздание мысли. Когда волнение слишком сильней слов. Ну что это – можно скрыть высокий ум под легким покрывалом безумной шалости? Старомодная, между нами говоря, сентенция, и с иностранным акцентом. Душа, палимая огнем, – вообще скучает по прохладительным напиткам. Вращая строку на вертикальной оси, Пушкин переходит как бы в ультразвук: таких интонаций голосу не взять (проверь, проверь), нас пронзает не текст, а восторг, пробежавший по тексту.

Так, по-моему, и тут: нить фразы сложена вдвое, а концы перекручены.

Это получилось не сразу. Сперва он написал:

Природа Африки моей
Его в день гнева породила...

И. конечно, проговорился о важном, но без пользы для хода темы. Кто же не знает, что африканская природа своенравна? Смотри лицейскую тетрадь по географии. Анчар, стало быть, сотворен в одну из пятниц на неделе, как случайная гримаса первобытного зла: ботаническая

химера. Примерно так, полагаю, и было напечатано в английском журнале: в лесах Малайзии встречается удивительное создание природы; туземцы приписывают Уласу дьявольские свойства, и проч. Журнал – чего-то там «Magazine» – читали в Малинниках барышни. А стихи получались – для детей, вроде того, что Африка ужасна – да, да, да! Не в Корнеи ли податься Чуковские?

«На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу, и думала тихонько от них убраться. – Но Петр. Марк. их взбуроражил, он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманывает – не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин – он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку – дети разревелись; Не хотим черносливу, хотим Пушкина – Нечего делать – их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь – но увидев что я не сахарный а кожаный совсем опешили. Здесь очень много хороших девочек (или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович) я с ними вожусь платонически, и от того толстею и поправляюсь в моем здаровьи – прощай, поцалуй себя в пу-пок если можешь».

Он переменял:

Природа пламенных степей
Его в день гнева породила...

Эпитет оказался бесцветным и неосязаемым. Окружающие слова сквозь него потянулись друг к дружке – и цепочка смыслов (наподобие молекулярной, надо полагать) распалась на природу степей и день гнева.

Это было хорошо, потому что бедняга глагол стушеввался – как Станционный Смотритель (еще не написанный), – окончательно вжался в угол, – авось не оконфузит героиню явным фамильным сходством. (Вовсе бы его убрать, да вот беда – незаменим).

Это было еще потому хорошо, что День Гнева – словосочетание величавое и роскошное. Моцарт в нем гремит (тоже не написанный пока), соборный орган у святой Екатерины на Невском:

Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla
Teste David cum Sibylla.

Тот день, день гнева, развеет земное в золе, клянусь Давидом и Сивиллой. И так далее по тексту Фомы из Челано, тринадцатый век.

Пушкин, однако, латинским гимнам не учился.

Зато читал Ветхий Завет – в частности, пророков, – и у девятого из так называемых малых пророков, у Софонии (ах! нет у меня под рукой Библии на церковно-славянском! Обойдемся синодальным переводом):

Близок великий день Господа, близок – и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!

День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,

День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.

И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помет.

... Ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

Замечу к слову – незаурядная личность был этот Софония (жил и работал при царе Осии, между 642 и 611 до нашей, естественно, эры). Проницательный геополитик: предсказал крушение нескольких держав, – и его пророчества исполнились. А стихи – в манере Иосифа Бродского, меланхолически-отчетливой:

И прострет Он руку Свою на север – и уничтожит Ассуря и обратит Ниневию в развалины, в место сухое как пустыня.

И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.

Вот, чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «я – и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, поவிщит и махнет рукою.

Конфликт Создателя с цивилизацией – а природа, соблюдая строгий нейтралитет, остается в некотором даже выигрыше. Хотя не исключено, что производит мутантов (типа ежа голосистого), и Анчар, подобный атомному грибу, – действительно вечный памятник Дню Гнева. Что же, летим прямо в эпилог человеческой истории – полюбоваться, как потомки случайно уцелевших – вот этих самых вышеозначенных свистунов – одичав, добивают друг друга?

Сомнительно, чтобы Пушкин тратил время в Малинниках, Тверской губернии, Старицкого уезда, на подобные пустяки.

«Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина и стращают мною ребят, как букою. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт [далее густо зачеркнуто – не Пушкиным – два-три слова] – и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока – скажи это нашим дамам; я приеду к ним [здесь тоже несколько слов густо вымарано – не Пушкиным] – – полно. Я что то сегодня с тобою разоврался».

Нет, пророков оставим пока в покое: нас интересует не чем все кончится – но с чего все началось.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».

До центра оранжереи прародители человечества, как мы знаем, не доплелись. Кое-кто позаботился об этом специально: для того и лишил допуска (взамен выдав кожаную одежду и лицензию на разноможение) – якобы за нарушение правил внутреннего распорядка, а на самом деле – дабы вселенная не превратилась в коммуналку. Ужасная приблизилась вдруг перспектива: Творцу препираться с тварью из-за мест общего пользования – причем без малейшей надежды на окончание времен!

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».

Стало быть, игрушка задумана была как заводная – или на батарейках – в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти – то есть, конечно же, самоубийства, – разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей – дерева и змея.

Рай находился в Эдеме, на востоке. Сад Гесперид – на западе, в Ливии. Адам и его самка побрели к экватору.

Но все-таки не Бог сотворил Анчара! Или, во всяком случае, не вместе с прочей растительностью, не во Вторник, не сразу после неба и земли. Анчар проник в программу не ранее третьего дня – когда решалась проблема освещения:

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды...»

... И увидел Бог, что это хорошо».

А впоследствии оказалось, что большее светило нагревает планету неравномерно. Астрофизика прижала биологию. Природа в борьбе с климатом водрузила над пустыней древо яда – как бы из воспламененного солнцем песка...

Не желчью ли рвет собаку, издыхающую от бешенства – от водобоязни?

Пушкин переименовал «пламенных» на «жаждущих»:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила

– и вся фраза перестроилась под тяжестью неустойчивого причастия, точно только и ждала: отозваться на внятное ей содроганье подлежащего.

Тень Апокалипсиса исчезла, связь роковых феноменов установилась – и проступил рисунок инверсии: гнев степей.

Пушкин, без сомнения, заметил – и рассердился, – что стих двоится в глазах. Вымарал бы-ло гнев. Переименовал на зной:

... Его в день зноя породила...

Ведь в сущности-то сочинял про жару. Про жарищу в Африке – точно какой-нибудь в конце века Дядя Ваня.

Кошмар сосны о пальме (Гейне только что написал, да кто же читает по-немецки, – а Лермонтов переведет лет через тринадцать). Кому какая пустыня выпала. На версты и версты кругом – безжизненный прах: рыхлая вода. И пальма – или баобаб? – в общем, древо яда наведено морозом на оконном стекле. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева юная свежа в пыли снегов!

Дом стоял на берегу Тьмы, замерзшей реки: одноэтажный, с колоннами из корабельных сосен. Комнаты глубокие, потолки низкие. Днем превесело: три барышни, да еще мамаша. Но по ночам не до них, знаете ли:

«Тысяча благодарностей, сударыня, за внимание, которым Вы удостоиваете Вашего преданного слугу. Я бы непременно пришел к Вам – но ночь внезапно застала меня среди моих мечтаний. Здоровье мое удовлетворительно, насколько это возможно. Итак, до завтра, сударыня, и благоволите еще раз принять мою нежную благодарность».

На записке дата – 3 ноября. (Год, понятно, 1828). Под «Анчаром» – 9 ноября.

Диктатура якобы пролетариата распорядилась включить эти стихи в детскую диету исключительно ради Двадцать первой строки:

Но человека человек

– ну, и Двадцать второй.

За поразительное сходство с обрывком пропагандистского клише. Это же политическая формула несправедливости: «эксплуатация человека человеком». Знайте, милые крошки, что до 1917 года весь мир жил по этой формуле, на нашем лишь Архипелаге отмененной, – вот и Пушкин подтверждает.

Действительно – на Двадцать первой строке история Смерти переходит в историю Глупости. Но замечаешь это позже – в Двадцать третьей:

И раб послушно в путь потек...

Мы еще не понимаем, что в этой-то самой строке один из двоих и становится рабом (и этот новый статус подчеркнут аллитерацией), – но кого хоть однажды не царапнул вопрос: а чего это он такой послушный? трус или, наоборот, герой? Туда и тигр нейдет, – а он без колебаний – только потому что взглянули как-то особенно; подумаешь, взгляд...

Хотя это, наверное, так только сказано, для эффектной сестры таланта: властным взглядом. Что они, телепаты глухонемые? Наверняка маршрут экспедиции был заранее оговорен. А пресловутый взгляд сработал вроде стартового пистолета.

И «человека человек» – игра слов, риторический оборот, упрощенное уравнение. За спиной у типа, умеющего так убедительно смотреть, всегда маячит кто-нибудь еще. Как в «Сказке о рыбе и рыбке»: на плечах топорики держат. Кремневые, не кремневые, – главное, чисто конкретные. Тут попробуй не потеки.

Но все эти наши предположения рассыпаются в предпоследней строфе:

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Чувствуете ли вы, какую насмешку, донельзя презрительную, подсказывает рифма? Нет? Скажите тогда: что позабыл этот царь или там князь под сводом шалаша? Зашел проведать умирающего раба, как демократ и гуманист? Или такое нетерпение любопытства: недоспал, не позавтракал, прибежал за образцами самолично, не доверяя никому, на властный взгляд больше не полагаясь?

Что ж, допустим. Ну, а путешественник-то наш отважно-послушный – как посмел отнести секретные материалы по месту жительства? Ведь несомненно, что властным взглядом однозначно

было предписано: доставить в собственные руки. Не явился тотчас по прибытии в резиденцию вождя? Это же бунт и преступная халатность, никаким плохим самочувствием не оправдать. Чаадаев за подобное промедление поплатился отставкой.

То есть в задаче спрашивается: чей шалаш – и где дворец?

Ответ: речь идет об одном и том же архитектурном сооружении. Дворец представляет собою хижину.

(В «Капитанской дочке», начатой лет через пять: «Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец» сказал один из мужиков; – сейчас об вас доложим». Он вошел в избу».)

Каменный век, лыковая лачуга.

Такой, представьте, ад в шалаше.

Два несчастных дикаря. Один возомнил себя Робинзоном – и послал добровольного Пятницу за смертью. Став единственным обладателем боевого отравляющего вещества, сделался – на наших глазах, при нас, в этом самом шалаше, в этой самой строке – непобедимым владыкой. На полет стрелы вокруг – никого, а дальше – чуждые пределы. Этот пассионарный дебил – царь или там князь шести соток раскаленного песка на краю света, от Анчара верстах в двадцати: день туда, ночь – обратно.

Владыка – лыка.

Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки: успешно распространял смертоносную инфекцию. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из прутьев Анчара веников не вяжут.

Так что жанр этого стихотворения – басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто – о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.

Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на «нынешнее состоянье моего Благонамеренного, о коем можно сказать то-же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое». Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.

Ну, а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почувляли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возразил:

«... обвинения в применениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов. дерево будут разуметь конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие – – –».

Удивительней другое.

Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд – попробуй теперь узнай.

С тех пор в ход пошли кроманьонцы.

И то сказать: Адам был неудачная модель: лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности – кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.

Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?

И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, – верней, как бы трубный глас?

Черный цветок

– Стану я стрелять в такого дурака! – сказал, как бы секундтанту, Лермонтов звонко, и это были его последние слова.

Дурак не принял подачу – не захотел догадаться, что самое время тоже какую-нибудь фамильярную грубость рывкнуть в ответ, чтобы все рассмеялись, – а там еще пара сердитых реплик – насчет старинных приятелей и кто паяс, а кто не понимает шуток, – и все-таки впредь настоятельно попрошу, – и ужинать, господа, поехали скорей, ведь ливень! Воображая себя Героем Нашего Времени и почему-то братом княжны Мери, дурак подошел поближе с воплем: «Стреляй! Стреляй!» – и спустил курок. Еще несколько минут Лермонтов, пробитый насквозь, молча содрогался в желтой грязи; приемы новейшей беллетристики позволяют допустить, что он успел завоевать европейскую славу и дважды, как Байрон, жениться, – и прочесть напечатанными все свои написанные стихи.

А нам их не вообразить: кажется, что за последние три года он выговорил все, что хотел, – и так, что лучше нельзя.

Детские сюжеты, блеклые рифмы, громкие фразы – байронизм, православие, народность! – но никогда и нигде не звучала по-русски столь неистово и нежно высокопарная музыка обиды и свободы.

Положим, неуклюжий Полежаев тоже умирал от жалости к себе, – но тот рвался из рук палача по имени Рок, и хрипел: за что? – смертный пот последней надежды, жадные жесты деревянного ямба, стучит полковой барабан.

Также и некто Жозеф Делорм, страдая в нищете чахоткой, разводил в самодельных жардиньерках плакучие метафоры одиночества – и самые трогательные Лермонтов сорвал.

«...Нет, невидимая рука отстраняет меня от счастья; у меня словно клеймо на лбу, я не имею права соединять свою душу с другой. Прикажете оторванному от дерева листу, летящему по ветру и плывущему по волнам, пустить в землю корни и стать дубом! Вот я – такой мертвый лист. Еще какое-то время я буду катиться по земле, а потом размокну и сгнию.

Но ведь она-то, она же будет плакать, если ты промолчишь! Став женой другого, она будет всю жизнь сожалеть о тебе, ты сломаешь ее судьбу.

– Да, она с неделю поплачет от грусти и с досады; сначала она будет то краснеть, то бледнеть при упоминании моего имени, даже, наверное, невольно вздохнет, узнав о моей смерти. А следующей ее мыслью будет: „Как хорошо, что я вышла замуж за другого – он-то жив!“»

Это из дневника Делорма, последняя запись: в октябре 1828 молодой человек скончался. Его никогда и не было: его жизнь, смерть, стихи, прозу сочинил парижский студент медицины г-н Сент-Бёв, разыграв на романтическом клавире «заблуждения жалкой молодости, оставленной на произвол страстей», – как выразился в 1830 Пушкин, одобряя, впрочем, «необыкновенный талант, ярко освещенный странным выбором предметов». Сент-Бёв избавился таким способом от меланхолии, заодно и от бедности – а тяжба Делорма с судьбой была, в сущности, денежная (Полежаев, тот требовал от нее дворянского герба, – то есть оба искали покоя): вышел в люди, даже в литературные критики, стал впоследствии академик, сенатор, грузный толстяк, – словно и не отрывался от ветки родимой. Его метафоры оплатил жизнью – другой. Лермонтов предпочел последовать за Печориним.

Умный человек всего умней бывает лет в двадцать семь. Тогда он знает все – и что вечно любить невозможно.

Он только не владеет искусством обращения с дураками – и не желает его изучать, почитая презренным и скучным: *«надоело! Всё люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались».*

Зато изощряет стратегию против дур: *«ах!!! я ухаживаю и вслед за объяснением говорю дерзости; это еще забавляет меня немного, и хотя это не совсем ново, но по крайней мере встречается не часто!.. Вы подумаете, что за это меня гонят прочь... о, нет, совсем напротив... женщины уж так созданы...»*

Умный человек обычно думает о себе, что он очень умный, и что дураки его не любят именно за это (а значит – понимают! Не такие уж, выходит, они дураки!), лестная такая неприязнь его до поры до времени смешит.

А на самом деле дурак об умном полагает, что он просто наглый. В превосходящую силу чужого ума никто не верит, поэтому ненавидят не за нее; но когда спасение справедливости становится делом чести – совесть молчит.

Печорин это как будто понимал. И сумел перешутить Грушницкого. Лермонтову не удалось.

Есть такая реальность, в которой никто из нас не старше двадцати семи, – помните, Чехов в повести «Три года» писал про это? – и каждый умен, и каждый лежит в долине Дагестана, убитый, как дурак, другим каким-нибудь тоже дураком, – с догорающей в мозгу мыслью о ка-

кой-то не совсем дура далеко за горизонтом – это очень важно, видите ли: заплачет она или нет?

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна,
Ты мертвецу, святыней слова,
Обручена.

И другая меланхолическая мечта: от недостойной роли в бессмысленном фарсе отказаться – бросить свой текст злому режиссеру в лицо! – а из театра все-таки не уходить – затаиться в оркестровой яме на всю вечность, любящая декорацией, – существовать не страдая, бесплатно, и чтобы темный дуб склонялся и шумел.

Как смешна эта гордыня в существе, подобном герою «Бедных людей»!

«Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревожении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц, – ну, и остальное все такое же, сему подобное... Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка... А впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стихках и пишет –

Зачем я не птица, не хищная птица!

Ну и т.д. Там и еще есть разные мысли, да Бог с ними!»

...Герб русских Лермонтовых такой: «В щите, имеющем золотое поле, находится черное стропило с тремя на нем золотыми четвероугольниками, а под стропилом черный цветок. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою короною. Намет на щите золотой, подложенный красным; внизу щита девиз: “Sors mea – Jesus”...».

Жребий мой – Иисус... Лермонтов, между прочим, не знал своего герба – ни девиза. Тосковал по земному отцу, а с небесным шутил, как с Мартыновым, – презрительно:

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил!

Мартынов – устроил.

Есть кой-какие основания подозревать, что это сам адресат стихотворения за такую игру слов сослал вроде бы Лермонтова в свиту демона, им воспетого: дескать, не нравилось виолончелью – побудь фаготом! – правда, зачел ему срок предварительного заключения:

«На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

– Почему он так изменился? – спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

– Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, – ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, – его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счета. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл.»

Но лично я не допускаю, что Автор мироздания злопамятен и щекотлив, – и не понимает поэтов и не любит стихов, и не догадывается, какой тяжестью ложится на юное сердце вся эта красота: серебро и лазурь, и ослепительно темная зелень – превращаясь в речь, слишком не похожую на пошлую участь: в коросте подпоручика с казенной подорожной существовать среди звезд ничуть не забавно – соавтору невыносимо пресмыкаться в персонажах – легче умереть от руки дурака.

Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало!

Самоучитель трагической игры

– Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!.. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье!

Достоевский. «Идиот»

Александр Блок почти всю жизнь провел как поэт – как почти никто из поэтов: как гимназист – каникулы. Ни дня без прогулки на свежем воздухе: куда глаза глядят или облюбовав заранее забаву – скажем, в луна-парке американские горы; а то в Стрельну– купаться в осеннем пруду; потом в синема; или вот:

Открыт паноптикум печальный –

это кабинет восковых фигур на Невском, 86 –

Один, другой и третий год.

Дата под стихотворением – 16 декабря 1907.

Толпою пьяной и нахальной
Спешим...

Тут внезапная неясность: то ли есть причина посетить данный очаг культуры немедленно – то ли это, наоборот, обрядный такой обряд установился и соблюдается все эти годы, примерно с Кровавого воскресенья; коротаем, так сказать, войну и революцию в нескончаемой мрачной процессии, в дурной компании...

Тем заметней вызывающая поза глагола – и отталкивающее первое лицо подозрительного множественного числа. Инверсия классическая: толпой угрюмою и скоро позабытой... Но эпитеты невозможные, в лирике неслыханные; оглушительно хлесткая рифма обещает скандал; что-то будет?

(«Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пь я н ы х, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе...» Это шуты, постоянно сопутствующие Рогожину – и Мышкину – в романе «Идиот». Помните, как они являются в квартиру Настасьи Филипповны? *«Великолепное убранство первых двух комнат... редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры – все это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже не страха. Это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с н а х а л ь н ы м любопытством... протесниться за Рогожиным в гостиную...»*)

...В гробу царица ждет.

То есть восковая статуя полуголой молодой женщины; это якобы Клеопатра, последняя царица Египта; изображен момент самоубийства: Клеопатра прижимает к груди змею; змея сделана из резины; приспособлены какие-то чудеса техники, так что грудь как бы дышит, а змея через равные промежутки времени как бы жалит. Короче говоря, зрелище – на любителя. И передано стихами почти наивными, – а магическую игру согласных в шелест и звон – а также глубину и протяженность гласных – легко принять за побочный эффект.

Она лежит в гробу стеклянном
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова,

Она раскинулась лениво –
 Навек забыть, навек уснуть...
 Змея легко, неторопливо
 Ей жалит восковую грудь...

И вдруг, в музейной этой тишине, опять неприличная выходка – ни с того ни с сего:

Я сам, позорный и продажный,
 С кругами синими у глаз, – – –

Ничего подобного никто в русской литературе никогда не произносил. Отвага беспримерная, скоро ее переймут Есенин и другие. Но как навязчиво неуместен здесь этот автопортрет. И к чему эти подробности о подлежащем, если сказуемое столь незначительно:

Пришел взглянуть на профиль важный,
 На воск, открытый напоказ...

Ну, пришел и пришел. Сообщение самое невинное – и торжественный тон просто нелеп. Как если бы моральная неустойчивость абсолютно исключала интерес к подобным зрелищам. Судя по следующей строфе – скорее наоборот. Синтаксис там невнятный, но все же позволяет догадаться, что изображаемый культпоход – отнюдь не первый:

Тебя рассматривает каждый,
 Но если б гроб твой не был пуст,
 Я услышал бы не однажды
 Надменный вздох истлевших уст:

Несмотря ни на что, фонетика волшебная. Ведь это вздор – *вздох уст*, – а строка действительно вздыхает – и за ней строфа:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
 Я в незапамятных веках
 Была царицею в Египте.
 Теперь я – воск. Я тлен. Я прах».

Ария не оригинальная – тотчас видно, что в Петербург так называемого «Серебряного века» царица Египта прибыла из Москвы, где Валерий Брюсов, прочитав роман Райдера Хаггарда «Клеопатра», сочинил ровно восемь лет назад одноименное стихотворение: *«Я – Клеопатра, я была царица, В Египте правила восемнадцать лет. Погиб и вечный Рим, Лагидов нет, Мой прах несчастный не хранит гробница»* – и так далее. Ничего не поделаешь, так проходит земная слава.

Но Блок отвечает монологом в духе А. И. Поприщина:

«Царица! Я пленен тобою!
 Я был в Египте лишь рабом,
 А ныне суждено судьбою
 Мне быть поэтом и царем!

Ты видишь ли теперь из гроба,
 Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
 Что я и Цезарь будем оба
 В веках равны перед судьбой?»

Не пародия ли тут, в самом деле, на стихи Валерия Яковлевича, дорогого мэтра? («Стихи Ваши – всегда со мной», – сказано ему в письме, отправленном несколько дней назад.) Цезарь «Зарубежные записки» №14/2008

ведь – его герой. Конечно, и раб – из его же баллады («Я – раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц...»)¹.

Но тогда стихотворение Блока – просто сатира с оттенком пасквиля. Нет, непохоже: слишком невесело. И потом, эта Русь, пьяная Клеопатрой... У Брюсова тоже безвкусицы хоть отбавляй, однако совсем в другом роде. Но дочитаем:

Замолк. Смотрю. Она не слышит.
Но грудь колышется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:

«Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта – слезы,
У пьяной проститутки – смех».

Стихи небрежные (исторгну жгучей всех – молчи, грамматика!), ну и пусть – зато предчувствие скандала сбывается. Поэт поставлен на одну ступень с проституткой, внезапно появившейся из нахальной толпы. Пьяный плачет – продажная смеется. К этому скоплению взрывных все и шло. Провокационные эпитеты совпали, как сходится пасьянс. Автопортрет с пощечиной, прыжок паяца; пьеса для балаганчика в паноптикуме печальном. Но Клеопатра при чем?

Блока случайно видели там, на Невском, 86. «Меня удивило, – повествует свидетель, – как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы...» Следует рассказ про обступивших механическую куклу веселых похабных картузников. И как рефрен: «Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно...»

Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), *бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей...*

Но эта, восковая, в прозрачном гробу – была буквальная, грубо материализованная цитата из «Стихов о Прекрасной Даме». Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.

Настоящее имя Прекрасной Дамы было – Ты и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.

Неизвестно, что это было – космическое прельщение, литературная галлюцинация... Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участвовавших в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:

«Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи», – присовокупляет злобный Салтыков – и попадает пальцем в небо. По крайней мере Блок был в высшей степени аккуратный человек.

«От мух советую, – писал он Евгению Иванову в 1906 году, – купить пачку бумажек «Tanglefoot» – к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избивению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени».

Не важно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.

Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.

Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.

Ты покоишься в белом гробу,
Ты с улыбкой зовешь: не буди.

¹ Брюсова забудут раньше, чем Блока, – и, чего доброго, какой-нибудь юноша веселый в грядущем скажет: знаем, знаем, кто томился у древних египтян в рабстве... эге-ге! Впрочем, всегда найдется и доцент – вступиться: поклеп! Наш лирик – без изъяна, даже страдал юдофобией, вообще был весь дитя добра и света.

Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.

Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой...

С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур – или годом раньше в привокзальном ресторане... Вы думаете: случайность? Нет – хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет – символизм.

Оставалось: притворно смеясь над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью – то есть моральным падением.

«Л ю б л ю г и б е л ь, любил ее искони и остался при этой любви... Ведь вся история моего внутреннего развития “напророчена” в “Стихах о Прекрасной Даме”».

Иначе говоря: отняли любимую куклу – тем хуже для кукол нелюбимых.

Гибнуть, катаясь на тройках, – словно Настасья Филипповна... Убивать себя пьянством и так называемой страстью – истерикой похоти – любовью без любви.

И стало все равно, какие
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...

И все равно, чей вздох, чей шепот, –
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...

Так – сведены с ума мгновеньем –
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!

При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем, это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: «...протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. “Погоди ты у меня, – говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, – вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!” И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что “от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок”. Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь...»

Я гибну – так тебе и надо! – плачь, низкая действительность, плачь!

И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст...

Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унижительную необходимость отвечать на поцелуй, а заодно и всю “Зарубежные записки” №14/2008

мировую чепуху, – стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет – искуситель, демон, падший ангел!

«Кто я – она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система – превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных – опять торжествует».

«Я опять на прежнем – самом “уютном” месте в мире – ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Ш а б л и»

«Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче (“подтачивающая мысль”) – от моря, от сосен, от заката».

Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злобы, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным...

Если человека несказанно радует известие о катастрофе «Титаника» («есть еще океан!») – через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Что значит сжиться с мыслью о личной гибели! – чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: «...нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно – с о ц и а л и с т и ч е с к о й п с и х о л о г и е й, с о в е р ш е н н о, д и а м е т р а л ь н о д р у г о й), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)...»

Как известно, тогдашний Цезарь вскоре воспроизвел эту мысль поэта – слово в слово (чуть резче: «это не мозг, а –»). И осуществил его предчувствия. Поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.

ЧЕТВЕРТЫЙ ИСТОЧНИК

Считается, что старая добрая неприязнь к евреям в России сегодня уже уступает неприязни к выходцам с Кавказа и Средней Азии. И хочется знать, как эти дела пойдут дальше, что ждет ксенофобию в нашей стране? Суждено ей шириться и крепнуть или, наоборот, угасать? И кому предстоит сделаться главной ее мишенью, а кому посчастливится переместиться на периферию ее опасного внимания? Ответить на этот вопрос невозможно, если верить, что ксенофобия порождается исключительно неприязнью к всему непохожему, «другому»: слышал ли кто-нибудь о вражде между блондинами и брюнетами, между легкоатлетами и боксерами? А несходство женщин с мужчинами просто-таки порождает их влечение друг к другу...

Причина всякой вражды – конкуренция, и только она. Но если придерживаться «материалистического» взгляда на человеческую природу, считать, что люди конкурируют лишь из-за материальных ценностей, то придется признать, что ксенофобия в огромной степени бессмысленна, ибо очень уж часто обращена на самых что ни на есть полезных и добропорядочных членов общества. Однако если понять, что психологические потребности для человека ничуть не менее важны, чем материальные, то сразу обнаруживается, что бессмысленных чувств человек испытывать просто не в состоянии, что все его враждебные эмоции всегда и безошибочно указывают на опасного конкурента в каком-то споре – «кто самый благородный?», «кто самый красивый?», «кто самый красноречивый?», «кто самый мудрый?», «кто самый многострадальный?»...

Этот безмолвный спор десятилетиями и ведут между собою армяне и азербайджанцы, израильтяне и палестинцы, арабы и американцы, русские и евреи... И особенно озлобленной при этом всегда бывает проигрывающая сторона.

Материальная же составляющая вовсе не создает эти конфликты, она лишь обостряет их. Обидно, но это так. Хотя ужасно не хочется понимать истинные мотивы ксенофобов – чтобы не подпасть под юрисдикцию поверхностных афоризмов «все понять – все простить», «что естественно, то не безобразно»... Мы все отлично понимаем ревнивца, однако и не думаем его прощать: за убийство из ревности преспокойно отправляем убийцу в тюрьму. И уж на что естественны физиологические отправления, но никому же не приходит в голову на этом основании справлять нужду публично!

Максима «все понять – всего избежать», разумеется, тоже неверна, однако, понимая конкурента, легче не раздражать его сверх необходимости, без пользы для себя. Зато враждовать становится намного труднее. Насколько проще жилось хотя бы и мне самому, когда я ничуть не сомневался, что антисемиты могут быть только завистливые бездарные подонки! Но годы работы в математике вынудили меня признать – нет, не то что и среди евреев хватает малоодаренных завистливых шустрил, это бы еще полбеды, никто и не говорил, что все евреи гении и святые, – хуже было то, что «русская» партия (пишем «русская» – читаем «антисемитская»), стремившаяся увеличить долю русских и, следовательно, уменьшить долю евреев в советской науке, могла с полным основанием похвастаться наличием в своих рядах и крупнейших ученых, у которых просто не было достойных объектов для зависти, и славных мужиков, несколько не завистливых в своих личных трудах и заботах, – лично для себя они ничего особенного не желали. Хотелось считать их обманутыми, наивными, но, увы, они вовсе не были такими уж простодушными – они были и достаточно неглупыми, и лично не более корыстными, чем я сам.

Это было особенно неприятно.

Ведь всем нам свойственно детское желание видеть в своих недоброжелателях одно лишь бескорыстное стремление к злу, не имеющее никаких иных причин. Или, по крайней мере, имеющее только низкие мотивы, нам самим ничуть не свойственные, – ненависть к Другому, желание зачем-то отыскать врага, и притом непременно слабого... Однако взрослея, с горечью убеждаешь-

ся, что главное преступление твоих противников заключается в том, что они хотят ровно того же, что и ты сам, что они тоже хотят чувствовать себя красивыми, уважаемыми, защищенными...

Иными словами, если тебя ненавидят, то всегда за дело – за то, что ты представляешь угрозу каким-то жизненно важным интересам своих конкурентов. Но если угроза материальным интересам чаще всего вызывает только раздражение, то угроза жизненно важным иллюзиям, то есть святыням, вызывает именно «святую», на поверхностном уровне бескорыстную ненависть. Поскольку ничем иным, кроме ненависти, отторжения и принижения тех, кем они не разделяются, иллюзии защитить невозможно, – однако и прожить без иллюзий тоже невозможно, ибо в мире реальностей каждый человек и каждый народ слишком уж несовершенен и далеко не так, и далеко не столькими любим, как бы ему хотелось..

Страх за национальные химеры, или, более дипломатично выражаясь, страх за национальную культуру – вот главная причина антисемитизма. Ибо при всей общечеловечности «вершков» национальных культур, их «корешки» составляют полубессознательные предрассудки и предания народа, направленные на то, чтобы создать и подтвердить грезы о своей безупречности, избранности, исключительности. И если пришелец или потомок пришельцев не докажет своей преданности не только космополитическим вершинам национальной культуры, но и ее истокам, грезам о какой-то особой роли, особой возвышенности, особой униженности народа-хозяина, он будет ощущаться опасным чужаком. Так как в глубине души хозяин и сам чувствует, что защитить эти грезы невозможно ничем, кроме страстного желания, чтобы это было так, а не иначе.

Но никакие грезы не могут жить вечно – их разрушает научная критика, обновление традиционного образа жизни, приток носителей иных культур, преданных иным химерам, и каждый из этих факторов порождает собственное раздражение и собственную оборонительную реакцию, поскольку главнейшая функция человеческой психики – самооборона, а развитие собственных познаний и понимание чужих интересов осуществляется по остаточному принципу. Страх перед научной критикой жизненно важных химер порождает романтическую ненависть к «бескрылому» рассудку, страх перед разрушительным обновлением порождает политический консерватизм, защищающий «старый добрый» уклад («лад»), страх перед чужаками, не имеющими причин верить и любить то, что лично им не приносит ничего хорошего, а скорее относит их к людям второго сорта, порождает стремление оградить свой дом от равнодушных («циничных») соглядатаев. Но насколько же усиливается ненависть к чужакам, когда в них видят главных представителей еще и двух других разрушительных сил – скепсиса и обновления!

С европейскими евреями случилось именно это: они действительно сыграли видную роль и в обновлении жизненного уклада, и в становлении научной рациональности – интеллигентный еврей оказался един в трех лицах: скептика-рационалиста, модернизатора и чужака. Ошибки антисемитов заключалась только в том, что они воображали, будто без евреев новизна и рациональность просто не пришли бы в их старый добрый мир. Евреи представлялись юдофобам (и представляются сейчас) не просто активными участниками, но **создателями и лидерами** всех угрожающих их психологическому благополучию движений.

Мнимое лидерство – вот формула еврейского проклятия.

Ведь и сегодня в глазах исламского мира Израиль является авангардом Запада на Ближнем Востоке, не будучи им в реальности. Ненависть всегда рождает клевету, и евреям нужно как-то выпутаться из этой опаснейшей роли мнимого авангарда, ибо в роковую минуту истинный авангард скорее всего снова пожертвует ими ради собственных интересов.

Вспомним: в нацистских грезах евреи считались лидерами большевизации, но истинные вожди большевиков (СССР) в решительную минуту от них отвернулись, евреи одновременно считались и лидерами либерализации, но в этот же роковой миг от них отвернулись истинные лидеры либерального Запада с Америкой во главе, установив издевательские квоты, – и так, я думаю, будет всегда. Поэтому задача борцов с антисемитизмом состоит не в разоблачении антисемитских мифов (проигравшие всегда будут клеветать на тех, кто представляется им победителями, и верить этой клевете, иначе их картина мира станет слишком уж невыносимой), но в том, чтобы разрушить легенду о еврейском лидерстве. Тогда и острое исламистской, а также всякой иной консервативной пропаганды перенесется на более безопасные для евреев мишени. И при этом более защищенные. Ибо источником антисемитской химеры, повторяю, является греза о еврейском всемогуществе. Преувеличенная ненависть является следствием преувеличенного страха.

Изображая евреев умными и добропорядочными, мы только пробуждаем ревность. Страх перед евреями, а стало быть, и неприязнь к ним может ослабить только образ еврея доверчивого, беспечного, *своего*... Всем довольного, ничего не ищущего, ничего и никого не презиращего...

Вроде того Абрамушки-дурака, которого с таким успехом играет артист Стругачев.

Ксенофобия – это естественно, хотя и безобразно. И ее будущее в нашей стране, равно как и во всем мире, зависит от полноводности трех ее составных источников, чьи имена Рационалистический Скепсис, Обновление и Культурная Чуждость. Выходцы с Кавказа и Средней Азии едва ли будут ощущаться агентами Скепсиса или Обновления – разве что его следствиями, против них работает скорее Культурная Чуждость. А Обновление, возможно, вообще надолго иссякнет, если мы действительно вступили в эру «стабильности». Поэтому еврейский скепсис начнет раздражать более идеологов, а участие в будничной экономической жизни «чужаков с юга» больше будет раздражать «простого человека».

Иными словами, антисемитизм в России станет уделом аристократов духа.

А вот в консервативной Америке он будет подпитываться, скорее, первым источником – неприязнью к либеральному рационализму, тогда как в либеральной Европе ненависть ксенофобов скорее всего будет сосредотачиваться на южанах. В рационалистическом скепсисе их обвинить, конечно, трудно, но обновление образа жизни они несут хотя бы одним только демографическим напором, соединенным с культурной чуждостью. Ввиду этой очевидной даже рядовому обывателю опасности для сложившегося уклада классический антисемит станет приобретать черты своего рода реакционного романтика, эдакого Дон Кихота, бросающего вызов давно исчезнувшему великанам.

Тем легче гуманным европейцам будет каяться перед истребленными (уже не опасными) евреями и негодовать на живых, ведущих реальную борьбу не на жизнь, а на смерть: как предшественникам современных европейских антисемитов казалось, что если бы не евреи, то схватки между трудом и капиталом удалось бы избежать, так им самим грезится, что если бы не еврейский форпост на Ближнем Востоке, то и конфликт модернизированного и не модернизированного мира удалось бы спустить на тормозах.

И усиленное покаяние перед мертвыми евреями служит отличным прикрытием неприязни к живым.

Я пишу эти слова без всякого негодующего пафоса, ибо почти никто из людей и уж точно ни один народ не способен искренне покаяться, то есть до конца дней жить с чувством совершенного греха. Самое большее, на что все народы бывают способны, это объявить себя жертвами каких-то негодяев, чтобы, отсекая их от своего мгновенно очистившегося тела, снова сделаться навеки безупречными. И вот этому-то сладостному чувству обновленной безгрешности и мешают те, кто цепляется за старые грехи, напоминая и миру, и самому грешнику о неприятном прошлом, о котором, если бы не это дурачье, давно забыли бы. «Неонацисты компрометируют нас всех» – они являют собой неприятнейший намек, что покаяние так до конца и не состоялось. Обрушиваясь на них, либералы защищают вовсе не евреев, а самих себя, свой собственный душевный покой.

И это тоже совершенно естественно – думать прежде всего о собственной шкуре. Я сам таков, и никого не собираюсь обличать. Но вот когда «покаявшихся» немцев начинают приводить в пример «непокаявшимся» русским, ничего, кроме ревности и желания вытащить наружу побольше чужих грехов, из этого произойти не может.

И уж евреям заниматься этими сопоставлениями следует в последнюю очередь – защищать тех, кто в твоей защите не нуждается и думает только о себе, не только опасно, но и крайне наивно.

Понятно, что каждая нация стремится идеализировать себя, но стоит ли евреям идеализировать другой народ только из-за того, чтобы уязвить им третий? И уж совсем стыдно верить в собственную пропаганду – коммунисты и фашисты до такой пошлости никогда не опускались.

Эта новейшая форма мнимого лидерства – лидерства в обличениях – способна к трем классическим источникам юдофобии добавить и четвертый.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИЯ

Если согласиться, что основное отличие тоталитарной системы правления от авторитарной заключается не в степени терроров, практикуемых обеими системами, а в наличии или отсутствии частной собственности, то и при достаточно поверхностном изучении тоталитарных – и даже прототалитарных – систем прошлого становится очевидно: по причине своей экономической несостоятельности они неизменно приводили страну, где существовали, к краху в деле военного строительства.

Все иные показатели были бы второстепенными для государств этого типа, поскольку такие государства обладали или целеустремленно пытались обрести в своих странах ничем не ограниченную власть над всеми сферами жизни общества. Иными словами, добившиеся успеха режимы тоталитарного типа оказывались полностью независимыми от действий своего общества – но не от военной политики иностранных государств.

Вероятно, можно найти много причин, вызвавших в СССР Перестройку в конце прошлого века, но вряд ли большинство из них будут обоснованны, поскольку на протяжении всей мировой истории любое серьезное самоослабление государства неизменно осуществлялось только по одной причине: ради своего спасения – хотя, конечно, адвокаты государственного права это отрицают и продолжают отрицать. Труднооспоримый факт, что не было в СССР общественных сил, способных заставить коммунистическое государство пойти на ослабляющие его реформы, только подтверждают этот тезис.

Ясно, что основные причины могли быть только внешнеполитическими, а среди этих возможных причин была только одна, способная вызвать со стороны всегда консервативной номенклатуры решение провести реформы революционного характера: поражение в “холодной войне”. Эти реформы, как известно, не спасли, а привели СССР и его систему власти к гибели. Мало кто сомневается в том, что крах Перестройки, целью которой было создание конкурентоспособного социалистического рынка, был связан прежде всего с появлением и развитием во многих республиках СССР бюрократического феодализма.

Этот процесс хорошо изучен. Если центр не может заполнить образовавшиеся административные пустоты между собой и периферией – и если на это также не способно общество, – то это делает номенклатура на местах. Сначала для своего обогащения, затем для достижения максимальной автономии или независимости, становящейся необходимой для обеспечения безопасности сановников и их семей, – а также, разумеется, для сохранения и приумножения захваченной собственности.

Национализм, не являющийся на первых порах необходимостью, чаще всего только оформляет действия, но затем он становится частью новой идеологии, поскольку доступен гражданину любого образовательно уровня.

Считать, что революции или создание стран всегда связаны с борьбой за воплощение высших идей, является весьма распространенным заблуждением. Кроме того, весь процесс от начала Перестройки до гибели СССР, затем от Ельцина до Путина развивался в основном внутри государств – сначала советского, затем российского.

До нынешней поры общество не сумело в России политически организовать так, чтобы получить возможность влиять на свою судьбу. Уже очень давно известно, что право граждан вручать свои голоса оппозиции представляет само по себе только одну из многочисленных иллюзий большинства избирателей.

Наконец, вся история человечества свидетельствует, что авторитарная система правления, во всех ее многочисленных проявлениях, является самой распространенной. Ее структуры естественны, просты и тем самым долговечны. А разновидности демократии и тоталитаризма – строения

весьма редкие, так как сложны и громоздки. В Европе – за все века существования на ее территории зафиксированной памяти – тоталитарное государство было построено только один раз: коммунистами в XX веке.

Поэтому сама идея быстрого перехода от тоталитаризма к демократии, от редкого к редкому, далека как от реальных возможностей ее приверженцев, так и от общих исторических закономерностей.

Все же ее следует считать в данном историческом контексте понятной, поскольку возрождение России есть прежде всего возрождение ее культуры, полностью принадлежавшей христианской цивилизации, – а в почти всех остальных странах, принадлежащих этой цивилизации, были созданы или сохранены в XX веке демократические режимы. Это делает, с геополитической и цивилизационной точек зрения, демократию европейского типа в России неизбежной.

К тому же Западу нужны российские потребители, а Китаю российские территории, и это не заинтересованное стремление элит, а естественные результаты кризисов. Кроме того, взаимопонимание между крупными странами, принадлежащими к разным цивилизациям, не может быть глубоким.

Можно добавить, что переход от авторитарного строя к демократии довольно прост, поскольку существование в классических диктатурах заявительной частной собственности всегда создает средний класс, обычно являющийся в городах основным источником перемен. А переход от тоталитаризма к авторитарной системе правления гораздо более сложен, так как связан не только с организационными трудностями в колоссальном деле возрождения частной собственности, но и с преодолением многих других тоталитарных установлений.

Даже очистить государство от авторитарных рудиментов обществу бывает порой очень трудно. Например, во Франции государство в XXI веке еще сохранило там и сям наполеоновские корни.

Поэтому тот факт, что в течение 90-х годов прошлого века средний класс в России начал наращивать костяк – и это несмотря на то, что возрождающаяся частная собственность была по своей сути не заявительной, а разрешительной, – нужно, вероятнее всего, считать выдающимся достижением. Но можно ли считать подавление этого класса после 1998 года временным явлением?

Чтобы попытаться ответить на этот чрезвычайно важный вопрос, необходимо выяснить, кто сегодня в России хозяин.

Ответ «государство» не может считаться удовлетворительным, поскольку государство, в совокупности своих институтов, – лишь громоздкий аппарат управления, а не политическая организация. Только отдельные его институты способны захватить власть, прежде всего армия, так как по чисто профессиональным причинам она чаще других государственных институтов сохраняет в смутные времена внутреннюю связь, способность удерживать дисциплину, разрабатывать планы и их осуществлять. Именно поэтому военные перевороты и военные диктатуры столь многочисленны в истории человечества. Однако в современной России армия явно на вторых ролях.

Многие аналитики, опираясь на общеизвестную информацию, считают сотрудников бывшего КГБ хозяевами современной России. Действительно, они занимают многие ключевые посты, начиная с поста президента страны и заканчивая высшими должностями во многих крупных госпредприятиях. Они также во множестве присутствуют в Государственной Думе. Кроме того, президент Путин как будто не останавливается перед травлей олигархов.

Все это так, однако подобная диктатура бывшего КГБ представляла бы собой уникальный случай в истории.

Во-первых, после создания МБ и затем ФСК основные кадры бывшего КГБ, в том числе и В. В. Путин, разбрелись кто куда в поисках лучшего будущего. Поэтому полагать, что от КГБ сохранялась в течение 90-х годов прошлого столетия некая структура, обладавшая достаточными силами и средствами, чтобы способствовать в 1995 году назначению малоизвестного Путина директором ФСБ, а в 1999 году председателем правительства, было бы несколько наивно. Ведь эта структура должна была быть настолько мощной и состоятельной, чтобы свалить президента Ельцина, обладавшего диктаторскими полномочиями, а затем полностью обеспечить многомиллиардную предвыборную кампанию и избрание – сокрушив все оппозиции – своего выдвиженца президентом страны. Считать, что Ельцин выбрал своего наследника добровольно... – это увело бы нас от реальной политики под прожекторы обычной авторитарной пропаганды.

Кроме того, сама кандидатура подполковника Путина была бы для его бывшего начальства неприемлема, ибо во имя кого и чего продвигать с поста на пост все выше и выше какого-то подполковника, пусть и не лишнего способностей, когда есть куда более заслуженные и не

менее жаждущие власти генералы – как, например, генерал-лейтенант С. Б. Иванов, ставший в 1998 году подчиненным директора ФСБ В. В. Путина, а затем президента России В. В. Путина?

В-третьих, если на протяжении веков даже очень мощный сыск никогда не мог прийти к власти, значит, тому есть серьезные причины. В нашем случае совершенно очевидна следующая: хотя советские органы безопасности, от ЧК до КГБ, были самыми многочисленными во всей истории Европы, они все же были незначительной силой, находившейся между такими гигантами, как гражданская и военная номенклатуры.

Широкий диапазон сысных, разведовательных, палаческих и многих иных обязанностей все не означает наличия структур, способных прийти к власти, тем более – ее удержать. Выполняя задание Секретариата ЦК, КГБ начал Перестройку (введением гласности), во время которой многие его сотрудники создали свои кооперативы, как и было запланировано.

Затем КГБ был отменен вместе со всей советской системой правления и безропотно ушел вместе с ней в прошлое. Военная номенклатура также разбогатела во время Перестройки, однако структуры вооруженных сил, сменив некоторые свои названия, не претерпели значительных изменений. В условиях, когда высшая военная номенклатура осталась многочисленной и стабильной, – так же, как и ГРУ, – совершенно непонятно, каким бы образом гебисты в отставке, даже если предположить, что они полностью подчинили себе МБ-ФСК-ФСБ, сумели захватить власть.

В-четвертых, самодержавные правители, добровольно покидавшие власть, во все эпохи были большой редкостью – по вполне понятным причинам. В XX веке судьба Аугусто Пиночета – вполне достаточный и близкий пример того, чего не следует делать людям, наделенным диктаторскими полномочиями.

А в России первый ее президент официально добровольно вышел из власти, после чего созданный им режим резко углубился в авторитарность, а второй президент также собирается уйти из власти, и также официально добровольно, хотя его власть кажется абсолютной и неколебимой.

Два президента, правящих страной, лишенной не только демократических институтов, но сохранившей тоталитарные традиции, добровольно покидают власть. Тут мы во второй раз встречаемся с уникальным явлением в истории. Не много ли?

Предлагаемая версия: президент Ельцин был свергнут российскими олигархами, ныне правящими Россией.

В России ныне около 50 миллиардеров и более 85000 миллионеров – в долларах, разумеется. Солженицын нам не указ, но, видно, не зря он писал еще в 1996 году об «устойчивой и замкнутой олигархии в 150-200 человек». Эта версия кажется наиболее правдоподобной по многим причинам.

Президент Ельцин был для олигархов уже тем опасен, что он от них не зависел. Кроме того, его продемократические и пролиберальные устремления первых двух лет правления угрожали стабильности еще не окрепшей олигархии. Если учесть, что целью российской олигархии, как и любой другой, было и есть стремление к монополиям – промышленной, сельскохозяйственной, банковской, – но прежде всего на разные виды сырья, чем так богата Россия, то вполне закономерно, что многие реформы периода правления Ельцина могли олигархами восприниматься как враждебные.

После неудачной попытки советской законодательной власти уничтожить российскую исполнительную в 1993 году единовластие Ельцина укрепилось, а с ним, вероятнее всего, беспокойство олигархии.

То обстоятельство, что рыночные реформы проводились хорошими экономистами, но любителями от политики, допустившими такие невероятные ошибки, как, например, честное – то есть полное – обесценивание сбережений 70 миллионов граждан, побудило президента Ельцина заморозить процесс реформ, от некоторых вообще отказаться и повернуть руль в сторону прямого авторитарного правления.

Одно только наделение органов безопасности правом вести следствие и располагать своими местами заключения (образование ФСБ) буквально выбросило Россию из пределов того правового поля, где для нового государства существовала возможность договориться с высокоразвитыми странами планеты и примкнуть к ним. В 2003 году президент Путин дополнительно усилил ФСБ, влив в него ФСНП, ФАПСИ и Пограничную службу, однако не он, а президент Ельцин создал условия для начала заключительного этапа “холодной войны”. Об этом российские демократы, нуждаясь в кумирах, не любят вспоминать.

Постепенное погружение России при Ельцине в авторитаризм было для олигархии полезно, поскольку характер ее частной собственности не нуждается в существовании развитого рынка. Однако политика Ельцина после 1993 года явно диктовалась политической необходимостью, а необходимостью в политике — чаще всего временное явление.

А действиями олигархий обычно руководит трудноликвидируемая нужда в существовании монополий. Поэтому усиленный протекционизм, отказ провести реформу рубля, введение идеологической, политической и экономической цензуры, а также создание вертикали власти и другие мероприятия, сразу уведшие Россию в третий мир, были для олигархии не самоцелью, а вынужденными мерами, средством остаться на плаву.

Если быть лаконичным: усиление авторитаризма в России следовало превратить в труднообратимый процесс, а для этого олигархам нужно было заменить революционера чиновником, то есть избавиться от неуправляемого Ельцина, а затем, выбрав из многих кандидатов того, кого они сочтут наиболее подходящим, поднять его до поста президента.

Причем для олигархов при выборе кандидата незначительное звание, невысокая должность и отсутствие особых талантов были скорее преимуществом, нежели недостатком. А для того чтобы не допустить создания постоянных правительственных структур, наделенных мощной клиентурой, олигархия решила оставить законной конституцию Ельцина 1993 года, проявляя, как любящая диктатура, принципиальность только в том случае, если ей это выгодно.

Именно поэтому Путин вынужден навсегда покинуть высший пост в государстве; его наследнику тоже придется это сделать. Заявления об уважении президента России к конституции столь же правдоподобны, как утверждения, что коммунистическая номенклатура начала Перестройку, руководствуясь желанием дать свободу советскому народу.

Чрезвычайно важно, что для проведения столь крупной операции российским олигархам не нужно было создавать тайные организации: им достаточно было устно договориться между собой, назначить исполнителей и собрать нужную сумму. Кроме того, только олигархи могли — как третья сила, к тому же самая состоятельная, — добиться от высшего офицерского состава армии, а также от ФСБ сначала нейтралитета в ходе операции по устранению Ельцина, затем мирного сосуществования ВС и ФСБ.

Следует отдавать себе полный отчет: если в СССР до начала его развала КГБ контролировал вооруженные силы, а КГБ контролировал Секретариат ЦК — по схеме, внедренной Сталиным, то еще до 1991 года эта «матрешка» перестала функционировать. Высший офицерский состав ВС СССР, а затем РФ сыграл решающую в развитии событий роль своим бездействием в 1991-м и осторожной активностью в октябре 1993-го.

Два обстоятельства подчеркивают особое положение Вооружённых сил РФ: офицеры ВС официально не участвуют в политической жизни; российская власть провела реформы во всех институтах государства, кроме военного, хотя ВС не менее, а, возможно, более иных нуждались (и нуждаются) в проведении капитального ремонта, поскольку с начала 80-х годов перестали быть обороноспособными — разве что по отношению к КНР.

О том, что эти два фактора связаны, догадаться легко.

Выбор в качестве основных действующих лиц на государственно-политической арене бывших сотрудников КГБ логичен потому, что они, в силу профессиональной специфики, были наиболее подходящими для этой роли — и вместе с тем не представляли и не представляют серьезной опасности, пока армейское начальство будет охранять олигархию и тем самым собственные интересы. Как всегда, это «пока» проблематично, так как союз между олигархами и военной кастой редко бывает долговечным.

Разумеется, ФСБ была дополнительно усилена в 2003 году, чтобы всегда возможная подготовка военного переворота не казалась легкой, хотя, конечно, выдержать удар армейских профессионалов даже крайне усиленная ФСБ не может: речь шла не об установлении равновесия сил — только о возможности для олигархии выиграть в случае чего время для переговоров. Армия часто бывает немой, но только до углубления кризисов, в особенности в странах с авторитарной системой правления.

Неправедный суд над олигархом Ходорковским и бегство трех-четырёх других не противоречат олигархической версии, если допустить, что их коллеги, а не Путин, решили с ними расправиться. Причина тому могла быть только одна: олигархия стремилась, укрепляя авторитаризм государства под своим контролем, усилить его финансово.

В среде российских олигархов, полностью состоящей из нуворишей, обычный антисемитизм не может быть быстро вытеснен сословной солидарностью. А так как многие предприятия нефтега-

зовой отрасли оказались в руках российских олигархов-евреев, то есть «чужих», то выход из положения мог показаться простым: выкупить у них по низкой цене предприятия и передать их государству.

Олигархи, отказавшиеся, как Березовский и Гусинский, подчиниться, были вынуждены эмигрировать. Ходорковский, отказавшийся продавать, эмигрировать и оказавший сопротивление, был посажен. А Абрамович, проявивший полное благоразумие, – вознагражден.

Только слияние «Газпрома», «Роснефти», «Юганскнефтегаза» и «Сибнефти» обеспечило государству ведущую роль в нефтегазовой отрасли, следовательно, огромные доходы. К этим предприятиям нужно добавить «Сургутнефтегаз», «Зарубежнефть» и «РуссНефть» миллиардера М. Гучериева, уже также опального. Несмотря на это государственная собственность в 2007 году в нефтегазовой отрасли составила только приблизительно 40% ее общенационального объема. Если решение о регосударствлении зависело бы от воли чиновников, а не олигархов, то трудно сомневаться, что жадность государства была бы если не тотальной, то куда более масштабной.

Конечно, в результате бюрократического правления государственную часть российской нефтегазовой отрасли ждет в ближайшие годы очередное резкое падение доходов – даже в том случае, если цены на нефть и газ останутся высокими. Этого олигархи не могли не понимать, так как, оказавшись в частных руках, добыча нефти в России за пять лет увеличилась на 50%, но, вероятнее всего, цель оправдывала в глазах олигархии будущие финансовые потери государства.

Таким образом, русские олигархи накормили государство за чужой счет, дали чиновникам и сановникам негласное право безопасно расширять пределы обычной коррупции (административная рента), а также, поручив президенту страны создать стабилизационный фонд и стабилизационную вертикаль власти, обезопасили себя от необходимости в будущем часто вмешиваться в управление государством и регулярно вытаскивать из своих карманов миллиарды долларов для спасения режима, устроенного, по их же воле, весьма примитивно.

Политические аппетиты тех или иных олигархов-евреев, в особенности смелого Ходорковского, могут быть приняты в расчет, но нужно выяснить, не были ли они реакцией на решение коллег их ограбить. В сущности, в очень молодой стране России произошла вещь, в прошлом постоянно имевшая место в течение веков во всей Европе: когда элитам были нужны крупные средства, они их забирали у евреев.

Если олигархическая версия соответствует в общих чертах действительности, это означает, что в ходе своего возрождения Россия пока прошла мимо возможных худших вариантов развития событий: полного слияния государственного и частного секторов не произошло, так как олигарх всегда принадлежит прежде всего обществу, а не государству, – даже в том случае, если он является по совместительству сановником: тогда он пользуется государством, а не государство использует его.

Поэтому можно считать, что следующий виток роста и укрепления средних сословий в России все еще возможен – следовательно, для страны существует и реальная возможность вернуться к процессу европейской интеграции.

В случае, если в России в скором будущем произойдет удачный военный переворот, он серьезно замедлит этот процесс, поскольку российский профессиональный военный есть государственный служащий, привыкший к преимущественно распределительной системе: к складу и к бесплатному труду солдат.

А пока ясно: президентские выборы 2008 года ничего в России изменить не могут – они заменят одного полезного олигархии президента другим, на него похожим. А В. В. Путин получит заслуженное вознаграждение: он официально примкнет к русскому клубу миллиардеров. Согласие Путина в декабре 2007 года стать после президентских выборов главой правительства вполне вписывается в эту схему: необходимо получить на президентских выборах дополнительные «путинские» проценты, а заодно успокоить номенклатуру до, во время и после проведения новым президентом небольшой чистки. Затем Путин покинет свой новый пост.

ХАННА И ЕЁ РЕДАКТОР

Читатель этого эссе с горечью обнаружит фамилию автора – Самсона Мадиевского – в траурной рамке. Увы, Самсон Мадиевский покинул мир, о котором так много знал.

Впервые я обратил внимание на это имя лет восемь назад, прочитав его статью в журнале «Гамбургская мозаика». Меня привлекла четкая логика, огромная эрудиция и высочайшая культура автора. Имя запомнилось и, как это бывает, я стал следить за публикациями доктора Мадиевского.

Если память мне не изменяет, тема той давней статьи была как-то связана с Библией, но уже следующие его работы, оказавшиеся в поле моего внимания, были посвящены событиям нашего времени или недавнего прошлого.

Еще через пару лет Самсон Мадиевский передал журналу «Партнер» открытое письмо министру здравоохранения ФРГ г-же Уле Шмидт. Письмо касалось политики ограничения въезда в Германию евреев из бывшего Советского Союза, которую начал проводить тогдашний руководитель германского еврейства Пауль Шпигель. Тогда и произошло наше телефонное знакомство, и я узнал еще об одном качестве Мадиевского: он оказался не только блестящим историком и публицистом, но и человеком огромного политического темперамента.

Последний раз мы тесно общались в процессе подготовки интервью по поводу его блестящего анализа книги немецкого историка Гётса Али «Народное государство Гитлера». Нам не удалось вместить в формат журнальной статьи все аспекты этого анализа, и мы договорились продолжить беседу в одной из мартовских программ интернет-радио «kurs-radio». И тут открылась еще одна грань дарования Мадиевского – умение выступать перед радиослушателями. У него оказалась выразительная речь, запоминающийся голос, он умел держать «мхатовскую» паузу. Беседа вызвала большой интерес, сразу же по ее окончании в студию стали поступать звонки от радиослушателей. Тогда же мы договорились продолжить наши беседы по радио. «Сейчас, – сказал он, – я немного болею, но, думаю, через месяц-другой буду в форме».

Больше нам беседовать не довелось.

Борис Вайнблат, 2007 г.

100-летие со дня рождения Ханны Арендт – одного из самых известных политических мыслителей минувшего века – было отмечено во всём мире. Шире всего – в Германии и США. Мне же в связи с этим вспомнилась одна давняя, хотя и не очень давно – лишь в 2004 году – всплывшая история.

Поскольку с начала 50-х годов Арендт писала по-английски, в Германии её книги выходили в переводах. Выпускало их солидное мюнхенское издательство «Пипер» (она была, пожалуй, самым именитым из его авторов). Наряду с хозяином, Клаусом Пипером, издательством руководил с 1958 г. литературовед-германист доктор Ганс Рёсснер. Он редактировал три книги Арендт – «Венгерская революция и тоталитарный империализм» (1958), «Рахель Фарнхаген: история жизни немецкой еврейки эпохи романтизма» (1959) и «Эйхман в Иерусалиме. Отчёт о банальности зла» (1964).

В каждом из случаев редакционная подготовка рукописей к печати не обошлась без споров. В первом камнем преткновения едва не стало посвящение – «памяти Розы Люксембург». «Как справедливо заметил г-н д-р Рёсснер, – писал Ханне Клаус Пипер, – Ваша брошюра есть страстный призыв к распознаванию сущности и опасности тоталитарного империализма, конкретно говоря, коммунистического насильственного режима. (Арендт противопоставила ему Советы, возникшие в результате «спонтанной революции» 1919 г. в Венгрии. – С. М.). И в то же время брошюра посвящается женщине, которая по общепринятому среди непосвященных представлению принадлежит к числу провозвестников того же коммунизма в Германии. Вследствие этого у чи-

тателя, впервые берущего книгу в руки и ещё не знающего содержания, возникает о ней неверное представление». В качестве выхода из ситуации Пипер и Рёсснер предлагали расширенный текст: «Памяти свободолюбивой социалистки Розы Люксембург, не хотевшей никакого тоталитарного коммунизма». Однако Ханна Арендт, которая – нужно это признать – была нелёгким для издателей автором, отрезала: «Посвящение – не место для пространных разъяснений». И добавила: «Бедная Роза! Скоро 40 лет, как её нет в живых, а она всё ещё оказывается промеж всех стульев».

Здесь, по-видимому, необходимо пояснение. В конце 1917 г. в брошюре «Русская революция», написанной в немецкой тюрьме, Роза Люксембург пророчески предредила судьбу пресловутой «диктатуры пролетариата», ставшей для большевиков альфой и омегой политической мудрости: «Диктатура класса над массой неизбежно превратится в диктатуру партии над классом, в диктатуру клики над партией и диктатуру лидера над кликой». Помимо близости идейной (по крайней мере в этом пункте) имелось и психологическое сродство: Ханна тоже всегда оказывалась «промеж всех стульев». Михаил Хейфец в отличной книге «Ханна Арендт судит XX век» констатирует: человек бесспорно левых взглядов, в высшей степени критичный по отношению к капитализму, она в то же время на дух не принимала «реальный социализм», рассматривая его как разновидность ненавистного ей тоталитаризма. Бесправной эмигранткой во Франции она выступала против правительства Лавалля, а позднее в Штатах – против могущественного тогда сенатора Маккарти. Возглавляя еврейские организации в Париже и Нью-Йорке, вызывала раздражение начальства строптивой независимостью. «Я не подхожу ни к кому», – отвечала она, когда у нее пытались выяснить, к какому лагерю она принадлежит – к правым или левым, либералам или консерваторам. Вот почему её так тронуло, когда однажды на студенческой вечеринке в Беркли она узнала, что между собой её юные слушатели зовут ее «Розой» – она не ожидала такого проникновения в свою духовную суть.

По поводу второй книги – о Рахель Фарнхаген (её немецкая рукопись пролежала почти четверть века) – тоже возникли трения, на сей раз в связи с подзаголовком. В оригинале он звучал: «История одной жизни в начальную эпоху эмансипации немецких евреев». Рёсснер, ознакомившись с текстом, рассыпался в комплиментах: «Глубокоуважаемая милостивая госпожа, если разрешите употребить, пожалуй, несколько затрёпанное выражение, я нахожу эту книгу действительно завораживающей...» Он выражал уверенность, что у неё «будет множество глубоко заинтересованных и благодарных читателей» и сообщил, что издательство «с неподдельным восторгом» приступает к работе над текстом. Но, по мнению Рёсснера, подзаголовок «немного слишком подробен», вследствие чего книга «может показаться широкому читателю слишком уж специальной». Рёсснер и Пипер предлагали укоротить его – написать просто «История одной жизни». «Наши размышления, – заверяли они, – клонятся не к тому, чтобы элиминировать содержание Вашего повествования, а ставят целью вызвать как можно более широкий интерес к нему, в том числе и посредством простого, в известной мере общедоступного названия».

Ханна ответила: да, конечно, ваш вариант подзаголовка короче и проще, но – должно же где-то появиться слово «еврей»! И добавила: «Я не верю, что вследствие этого круг читателей сузится; у лучших людей Германии интерес к еврейскому вопросу сейчас очень живой».

Против слов «но должно же где-то в заголовке появиться слово “еврей”» Рёсснер поставил на поле пометку «нет!?» и передал письмо Пиперу. Тот, со своей стороны, поспешил заверить Арендт, что ему и Рёсснеру одинаково чуждо опасение оттолкнуть этим словом «проникнутых враждебностью» читателей, они такими просто не интересуются.

Удачное решение – приведенный уже окончательный вариант подзаголовка – пришло в голову жене Пипера. Ханна согласилась сразу и с благодарностью: «Это замечательно – здесь есть всё, что нужно читателю... Это и вправду была романтическая жизнь, но притом – именно в еврейской тональности».

Самый серьёзный конфликт возник, однако, при издании «Эйхмана в Иерусалиме». Получив английский оригинал рукописи, Пипер сообщил, что «весьма впечатлён твёрдостью и ясностью изложения», но – в некоторых местах «представляется желательной определённая дифференциация суждений». Вскоре выяснилось, о чем идет речь: в книге отмечалось, что на процессе Эйхмана ряд видных должностных лиц ФРГ были изобличены как «убийцы или соучастники массовых убийств».

Издательство направило текст на юридическую экспертизу, результаты коей Рёсснер переслал Арендт. Эксперт счёл, что ряд мест в книге могут повлечь за собой судебные иски со стороны упомянутых автором лиц. Ханна ответила непосредственно Пиперу, и ответила резко: «Вы должны

решить, чего Вы, собственно, хотите: издать книгу такой, какая она есть ... или отказаться от издания». И добавила: «Самое замечательное здесь – поистине трогательная забота этого господина (эксперта. – С. М.) о нацистских преступниках, в том числе осуждённых немецкими судами, и их «чести». Я с удовольствием опубликую здесь это заключение – оно лучше обрисует обстановку в Германии, нежели множество статей».

Встревоженный Пипер поспешил телеграфировать: «Пожалуйста, не беспокойтесь... Всё идет наилучшим образом. Письмом подробно». В письме он сожалел, что отзыв юриста был переслан Ханне, но просил «войти в положение» – учесть, что «немецкое издание выходит в совершенно иной психолого-политической ситуации» и что в Германии можно вчинить иск за оскорбление, даже если срок исковой давности по американскому изданию истёк. Ханна в конечном счете пошла на уступку, ограничившись термином «соучастники массовых убийств». Разоблачение их на процессе Эйхмана, заключила она, «дает представление о масштабах общественного бедствия в послевоенной Германии».

Помимо деловой переписки сохранилось несколько писем Рёсснера, так сказать, личного характера. По поводу речи Арендт при вручении ей премии Лессинга (Гамбург, 1959) он, например, писал: «Это было для меня поистине захватывающим чтением. То, что во второй и третьей частях Вашей речи сказано о человечности и истине, принадлежит, на мой взгляд, к главному, что было когда-либо высказано на сей счёт. Как жаль, что нет возможности лично и подробно поговорить с Вами об этом». В другой раз он сообщал о реакции на её телевизионное интервью: «Дорогая милостивая госпожа, совершенно незабываемо впечатление от Вашей личности и, если позволите так сказать, от этой убедительной, совершенно естественной и вместе с тем выдающейся “человечности в мрачные времена”...» Утешительно и ободряюще для нас то, что Вы есть, и то, что Вы такая, как Вы есть».

На все эти излияния Ханна отвечала вежливо, но коротко, сухо, подчас саркастично. Она умерла в 1975 г., так и не узнав, кто был её почтительный, а временами и восторженный корреспондент.

* * *

Ганс Рёсснер, родившийся в 1910 г. в семье школьного учителя, закончил Лейпцигский университет по специальностям «германистика» и «история». В 1933 г. он вступил в СА, в 1934г. – в СС и СД. В 1936 г. занял ассистентскую должность у своего университетского учителя профессора Карла Юстуса Обенауэра, который получил кафедру в Боннском университете. Обенауэр, член НСДАП с 1933 г. и тоже сотрудник СД, относил его к «нашей заслуживающей наибольшего поощрения смене».

Вместе они провели операцию по лишению Томаса Манна титула почётного доктора Боннского университета, после чего взялись за известного немецкого поэта Стефана Георге. В своей докторской диссертации Рёсснер, не задевая творчества самого Георге, обрушился на его «духовно иудаизированный» круг: вследствие «притупления расово-биологического и духовно-расового инстинкта» окружение поэта было, по его определению, движимо «тем эстетско-гуманистическим наследием, которое, став общеевропейским достоянием, всё более отрывалось от национальных жизненных основ». Несовместимое с задачами литературы, проникнутой «национально-расовым» духом, такое мироощущение, заключал Рёсснер, должно быть бескомпромиссно выкорчевано.

В 1938 г. Рёсснер подал начальству в СД докладную записку о «положении и задачах в области германистики и немецкого литературоведения». Наряду с прочими сведениями она содержала и список немецких германистов и литературоведов, разделённых на категории – «противников» (масонов, евреев, католиков и т. д., всего 50 человек) и «позитивно настроенных» («по своим научным, мировоззренческим и политическим позициям не вызывающих возражений», всего 18 человек). Докладная обращала, далее, внимание на «нетерпимое положение», при котором кафедры немецкой литературы и редакции немецкоязычных журналов за рубежом «оккупированы эмигрантами и евреями», вследствие чего эти «важные в культурно-политическом отношении позиции» потеряны для рейха. В заключение в записке выдвигалась идея «культурно-политического четырёхлетнего плана», который, посредством финансирования полезных проектов, призван был обеспечить национал-социалистическому государству растущее влияние в сфере культуры.

В 1939 г., в связи с началом войны, Рёсснер был призван в армию, но СД быстро добилась его возвращения к прежнему месту службы. С тех пор и до конца рейха он занимал пост референта по делам национальной культуры и искусства в Управлении внутренней безопасности РСХА. В

1944 г. ему было присвоено звание оберштурмбаннфюрера (подполковника). Подписывая представление, рейхсфюрер СС Гиммлер высказал пожелание, чтобы Рёсснер «принял участие в охранно-полицейских акциях на Востоке». Однако эта «почётная командировка», которая впоследствии привела ряд его коллег по РСХА на виселицу, по каким-то причинам не состоялась.

Работа же Ганса Рёсснера в Управлении удостоилась самых лестных оценок. Начальство характеризовало его как «одного из способнейших» сотрудников, «творческого человека», который смог «столь чётко и ясно выработать для своего отдела основные национал-социалистические установки, что ряд решений в области культурной работы во время войны был принят на основе его предложений». В характеристиках отмечалось, что «способности и глубокая проникнутость национал-социалистическим мировоззрением» делают Рёсснера, среди прочего, «особо востребованным оратором на партийных мероприятиях».

Одним из его ораторских триумфов стал доклад на тему «Гуманизм и гуманность» на заседании Общества германистов в Ганновере в мае 1943 г. Третий рейх, вещал Рёсснер, снова ведёт «судьбоносную борьбу» против Запада с его «англо-американской гуманистической идеологией» и Востока с его «крайней большевистской формой той же идеологии». Решается вопрос, «удастся ли возникшие на германской основе начала внедрить в духовную структуру Европы, или универсалистские идеи европейской культурной традиции вновь приведут к фиктивному общеевропейскому сознанию...»

В апреле 1945 г. Рёсснер вместе с начальником Управления Олендорфом и рядом других сотрудников бежит во Фленсбург, где обосновалось т. н. правительство Дёница (на всякий случай у каждого — ампула с цианистым калием во рту). Там в мае 1945 г. его арестовывают американцы. До 1948 г. Рёсснер пребывает в заключении. В 1946 г. его и Олендорфа допрашивают на Нюрнбергском процессе в качестве свидетелей защиты — оба пытаются доказывать, что СД было чем-то вроде службы изучения общественного мнения, объективно и критично информировавшей руководство рейха о настроении населения. Эти потуги, однако, успеха не возымели — суд признал СД, так же как и СС и гестапо, преступными организациями. За членство в первых двух Рёсснер был приговорен в 1948 г. к штрафу в размере 2000 марок (тогда, сразу после денежной реформы, это была значительная сумма). Но, поскольку закон давал возможность заменить штраф тюремным заключением и засчитывал пробытый под стражей срок, прямо из зала суда он вышел на свободу.

Рёсснер устроился редактором в издательстве «Шталлинг», где в тёплой компании еще двух бывших коллег по РСХА трудился над выпуском книг, которые во многом проповедывали прежние взгляды. Впрочем, в послевоенной Германии это не было редкостью. «В демократов эти преступники отнюдь не превратились, — замечает историк Михаэль Вильдт, — но смекнули, что “новый шанс” для них состоит не в активной политической деятельности, а скорее в уходе от уголовного преследования и тихом, незаметном вращении в нарождающееся общество потребления». И действительно, бывшие подчиненные Гейдриха и Кальтенбруннера преуспевали в издательствах, прессе, в высших учебных заведениях, в консалтинге, маркетинге, рекламе.

Из «Шталлинга» Рёсснер перешел в издательство «Инзель», а оттуда — в «Пипер», уже на должность главного редактора. Хозяину издательства он сказал, что был членом НСДАП, но тот не счёл это препятствием — ведь преступной организацией в Нюрнберге была объявлена не партия в целом, а лишь её руководство; рядовые члены, при отсутствии персональных обвинений, квалифицировались как попутчики.

* * *

Упомянутый уже Михаэль Вильдт, автор фундаментального труда о руководящем персонале РСХА «Поколение безотказных» и статьи «Переписка с неизвестным», откуда почерпнута большая часть сведений о Рёсснере и его отношениях с Арендт, считает, что применить в данном случае максимуму «Einmal Nazi, immer Nazi» («Кто был нацистом, им и останется»), пожалуй, нельзя. Ведь в этих сношениях Рёсснер не выступал уже как активный нацист, продолжающий старую борьбу с «мировым еврейством». (Ещё бы! Он ведь из ума не выжил. — С. М.). Но, недоумевает Вильдт, как он мог вообще заниматься этим — читать её тексты, оценивать, что-то предлагать, обсуждать (в частности, какой термин — Judenfrage или jüdische Frage — правильнее), наконец, лично контактировать с ней? Как он мог писать: «утешительно и ободряюще ... то, что Вы есть», — зная, что попади она в своё время в руки его коллег, дорога ей была бы одна — в газовую камеру. Почему ему не пришло в голову отстраниться хотя бы от работы над «Эйхманом в Иерусалиме»,

предоставив сношения с ней Пиперу. (Это, на мой взгляд, тоже понятно – ведь устранение пришлось бы мотивировать.) Ответ Вильдта гласит: в «тупоумной навязчивости», с которой Рёсснер старался сблизиться с Ханной, отразилась «душевная глухота множества немцев по отношению к их прошлым деяниям».

Удивляет, однако, другое его утверждение – что Рёсснер искренне восхищался Арендт («он чтит ее как политического мыслителя, оратора, как видного интеллектуала – по его прежней терминологии, как «духовную величину»). Мешало ему лишь её еврейство, и именно его он хотел «элиминировать». Такой подход, считает Вильдт, был тоже характерен для многих в послевоенной Германии – чтобы преступники освободились от своего прошлого, выжившие жертвы должны были перестать быть евреями («желание, которое лишний раз показывает, сколь тотальным было стремление уничтожить еврейство»).

Насколько, однако, это объясняет поведение Рёсснера? Могла ли у него быть хоть малейшая надежда «очистить» облик Ханной от еврейства – пусть лишь для своего «внутреннего употребления»? Любому, кто знает жизнь и книги Арендт, ответ очевиден. Нерелигиозная, чуждая всякого национализма, ассимилированная в немецкой культуре, она оставалась еврейкой по всей своей «сути и стати». М. Хейфец правильно подметил: место, которое раздел «Антисемитизм» занимает в ее главном труде (треть объёма!), нельзя объяснить, исходя из объективных критериев, т. е. из роли этого явления в исследуемых ею мировых процессах. Треть – «потому, что автор – еврейка, и тема волновала её ... как первостепенная личная драма».

Юной девушкой она сказала своему руководителю Ясперсу: «Я пытаюсь осмыслить историю, понять то, что в ней говорят, исходя из того, что уже знаю на собственном опыте». И поступала так всегда. Не видеть ее *Jüdischsein*, не ощущать его нельзя было, и нельзя было это изменить. В самом деле, что – книга о Рахели стала бы иной, если из подзаголовка исчезло бы слово «еврей»? Или, в другом случае, изменилось бы содержание «Эйхмана в Иерусалиме» от того, что бывшие нацисты были названы не убийцами, а «соучастниками убийств»?

Более того – разве только еврейство не устраивало Рёсснера в Ханне? Ведь и в других вопросах – о национальном и универсальном, о свободе, о гуманизме – они тоже на деле остались антиподами. Так что дифирамбы его «воплощению человечности в мрачные времена» были ложью, мимикрией от начала до конца.

Прав Вильдт в другом: «У таких, как Рёсснер, и через двадцать лет после совершенного на-чисто отсутствовало понимание того, что они причинили другим людям». Тот же диагноз поставила Арендт Эйхману: «Он был не в состоянии представить себе что-либо с точки зрения иного человека».

Когда и где утратили они эту способность? Вероятно, у каждого было это по-разному. Но всегда – необратимо.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Борис ВАЙЛЬ

ПОПУТЧИКИ СОЮЗНИКОВ

Я.В. Леонтьев. «Скифы» русской революции: Партия левых эсеров и ее литературные попутчики. Москва: АИРО-XXI, 2007. 328 с.

Когда говорят, что в октябре 1917 г. победили большевики, то это не вся правда. Правда заключается в том, что эта революция была в равной степени и победой левых эсеров (ПЛСР) и анархистов. Анархисты, правда, в силу своих анархистских идей, в правительство не входили, а вот ПЛСР получило во втором составе ленинского Совнаркома ряд важных портфелей – в частности, наркомат юстиции. Левые эсеры считали, что это они в наибольшей степени выражают дух Октябрьской революции, что это не они союзники большевиков, а, наоборот, большевики – их союзники, и притом, до поры – до времени.

Признанный лидер ПЛСР Мария Спиридонова говорила с трибуны учредительного съезда этой партии (ноябрь 1917 г.): «За большевиками идут массы, но это временное явление. А временное потому, что там нет воодушевления, религиозного энтузиазма. Там все дышит ненавистью, озлоблением. Эти чувства [...] хороши во время ожесточенной борьбы и баррикад. Но во второй стадии борьбы, когда нужна органическая работа, [...] тогда большевики и обанкротятся». Вообще, надо отметить, что левым эсерам была присуща некая экзальтация и даже истеричность. Как и большевики, они призывали к мировой революции.

Один из немногих молодых историков, занимающихся ПЛСР, Ярослав Леонтьев определил однажды эту партию как «партию революционной эсхатологии».

Понемногу воссоздается история этой партии, и разыскания историка-архивиста по профессии Я. Леонтьева являются центральными в этой работе (см. Партия левых социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1917-1925. В 3 томах. М.:РОССПЭН, 2000; где он является составителем, автором комментариев и одним из редакторов. Вышел пока только первый том). Нынешняя книга Я. Леонтьева – как это видно из ее названия – посвящена в равной мере как истории партии, так и «эстетическому» окружению левых эсеров – их попутчикам.

«Скифы» – так называлось литературное объединение, выпустившее в 1917-1918 гг. два сборника под одноименным названием. Свообразным поэтическим манифестом «скифской» группы можно считать хрестоматийное стихотворение А. Блока. Идеологом «скифов» был Р. В. Иванов-Разумник. Кроме Блока, к «скифам» можно отнести Ольгу Форш, Сергея Есенина, Н. Клюева, П. Орешина, Андрея Белого, К. Эрберга; из художников – Петрова-Водкина. К «скифам» были близки О. Мандельштам и Б. Пастернак, Е. Замятин и М. Пришвин.

Как пишет Я. Леонтьев, «четкое определение “скифства” еще не устоялось». Бердяев, например, писал: «Скифская идеология народилась у нас во время революции. Она явилась формой одержимости революционной стихией людей, способных к поэтизированию и мистифицированию этой стихии... Современные скифы поют гимны не сверхкультурному, а докультурному состоянию... В России скифская идеология есть своего рода языческий национализм».

«Скифов» можно считать предшественниками «евразийцев», и в этой связи Я. Леонтьев упоминает также и современного последователя «евразийства» А. Дугина.

Кроме сборников, «скифы» были движущей силой в создании «Вольфилов» («Вольной философской ассоциации»).

Я. Леонтьев обработал колоссальный материал не только опубликованных источников, но и архивных, в том числе и местных архивов, и архивов ФСБ. В данной книге сотни и сотни имен,

а личные связи левых эсеров с писателями, поэтами и издателями прослежены иногда документально буквально по дням (напр., в главе «Записные книжки Блока 1918-1919 гг. как источник по истории “скифства”»). В книге приведена телеграмма Центрального Оргбюро ПЛСР, оглашенная на вечере памяти Блока 28 августа 1921 года: «Партия гордится, что поэт-революционер навсегда связал свою бессмертную судьбу с исканиями и страданиями левого народничества за освобождение человеческого духа».

Ни один исследователь той эпохи не пройдет мимо этой книги.

Однако, в ней, как кажется, недостает концептуального анализа «скифства» и идеологии ПЛСР в общем контексте идей Серебряного века.

Правда, во введении к книге Я. Леонтьев касается – но лишь касается – этой проблематики.

Там, например, говорится о «голгофском христианстве» (термин С. Гордона): «Революция для них – Голгофа: сквозь муки и страдания они провидят светлый образ Спасителя. Революцию они переживают мистически...».

Для «скифов» – и шире: для людей Серебряного века – революция была не только политическим или социальным событием. Еще до 1917 года они мистически предугадывали ее как некое духовное преображение человечества: как «новую землю и новое небо».

Пожалуй, некое преображение и произошло, но совсем не такое, о каком мечтали эти утописты...

СПРАВОЧНИКИ ПО ШПИОНАМ

А. Колпакиди, Д. Прохоров. Внешняя разведка России. СПб: Изд. дом «Нева»; М. Олма-Пресс, 2001 (серия: «Досье»). 512 с.

Вадим Абрамов. Евреи в КГБ. М.: Издатель Быстров, 2006 (серия: «Без грифа МИФЫ»). 507 с.

Олег Капчинский. Госбезопасность изнутри: национальный и социальный состав. М.: Яуза, Эксмо, 2005 (серия: «Лубянка: открытые архивы»). 383 с.

Изучая материалы, связанные с советско-датскими отношениями, в фондах Госархива Дании, я наткнулся на интересное дело.

В мае 1936 года в Швейцарии, в Женеве, где была штаб-квартира Лиги Наций, в полицию обратился кто-то из украинских эмигрантов. Он обнаружил, что за ним следят, притом что следила за ним не полиция, а некий иностранец. По швейцарским законам иностранцы не имеют права вести в стране частный сыск. Полиция стала следить за тем, кто следил за украинцем. Выяснилось, что тот по паспорту датчанин. Когда же полиция подослала к нему человека, говорящего по-датски, то оказалось, что «датчанин» по-датски вовсе и не говорит. Еще до этого швейцарская полиция запросила датскую насчет проверки паспортных данных этого «датчанина». Датская полиция запросила полицию городка, где тот, согласно его паспортным данным, родился. Но человек с таким именем и фамилией в данном городке никогда не рождался. Однако паспорт его не был полностью фальшивым: он был официально выдан датским консульством в Риме. Запросили римскую полицию, нашли человека, выдавшего датский паспорт уже арестованному в Швейцарии «лжедатчанину». Человек, выдавший паспорт в датском консульстве в Риме, датчанин, работал в нем недолго и в данный момент там уже не служил. На вопрос, почему он выдал фальшивый паспорт, тот ответил, что, мол, к нему обратился некий бизнесмен-иностранец, попросил датский паспорт, «я ему и выдал таковой, но за это денег я не взял, т. к. просто думал, что этот бизнесмен мне поможет в моем бизнесе». «И вы его после этого видели? Он вам помог в Вашем бизнесе?» – спросила полиция. «Нет, не видел». (Как говорят по-русски: «на дурака рассказ»). Бывший консульский работник не понес никакого наказания.

Арестованный в Женеве никаких показаний не давал – просто молчал. И его истинную национальность полиция так и не установила, хотя имелись весьма серьезные основания полагать, что он был советским шпионом. Это было связано с тем, что в Швейцарии вообще-то опасались, что украинские националисты готовят покушение на наркоминдела М.М. Литвинова, приезжавшего

в Женеву на заседания Лиги Наций. Кто же, кроме швейцарской полиции, мог наблюдать за украинцами и их лидером Е. Коновальцем? Естественно, советские агенты.

Итак, неизвестного до суда выпустили из тюрьмы под залог в 10 тысяч франков, и он, разумеется, исчез. Его судили заочно и приговорили к 18 месяцев тюрьмы с последующей высылкой из страны. И в Дании, и в Швейцарии его подлинная фамилия так и осталась неизвестной. И вот теперь, когда издается много книг о советской разведке за рубежом, я и подумал, а не обнаружу ли я его среди советских «рыцарей плаща и кинжала»?

В книге «Внешняя разведка России» несколько сот биографий советских шпионов, но нет – как это бывает в некоторых других изданиях – географического указателя стран, где они действовали (если бы такой указатель был, то чего проще: найти Швейцарию, или Женеву, и все дела). Пришлось просматривать подряд всю книгу с самого начала, и на стр.246 я обнаружил биографию майора ГБ Ивана Николаевича Каминского (1896-1944?), в частности, такой пассаж: «В мае 1936 г. по поддельным документам прибыл в Швейцарию для разработки находящегося там лидера ОУН Е. Коновальца, 23 мая был арестован швейцарской полицией по обвинению в шпионаже, однако за недоказанностью 4 июля того же года выпущен на свободу. После возвращения в Москву назначен начальником 1-го отдела ИНО [ГУГБ НКВД]». Странно, конечно: агент задания не выполнил, провалился, возвращается назад и становится начальником отдела. Но, наверное, там не хватало людей...

(Замечу в скобках, что украинцы не убили Литвинова, зато через два года Е. Коновалец был убит чекистами в Роттердаме. Другой лидер ОУН – С. Бандера – был убит советскими агентами в 1959 г. в Мюнхене).

Данная книга – равно как и книга «Евреи в КГБ» – при всех своих недостатках – полезный справочник. Справочники невозможно читать как детектив «от корки до корки». Но если кого-то искать...

Существенная разница между книгами Колпакиди и Прохорова, с одной стороны, и Вадима Абрамова, с другой, в том, что в первом справочнике совершенно игнорируются агенты-перебежчики и невозвращенцы (тогда как в книге Абрамова они представлены). Колпакиди и Прохоров – в лучших советских традициях – видимо, считая эту категорию «предателями», предпочитают о них не упоминать (как это было с Троцким в Большой Советской Энциклопедии). Но ведь их книга называется «Внешняя разведка России», а не «Наши славные разведчики», и издана уже спустя 10 лет после падения коммунизма. И она претендует на объективный жанр справочника! Впрочем, исключение сделано лишь для одного чекиста-перебежчика – Орлова А. М. (настоящая фамилия – Фельдбин Л. Л.), видимо, потому, что он не выдал советскую заграничную агентуру. А вот Агабекова, Беседовского, Вальтера Кривицкого и многих-многих других в данном справочнике вы не найдете. То же касается и современных агентов. В справочнике «Внешняя разведка России» есть, например, Крючков и Примаков, но нет ни О. Гордиевского, ни О. Калугина. И совершенно необъяснимо отсутствие В. Путина – разве его кегебешное прошлое является для кого-нибудь секретом?

Общим недостатком обоих справочников является то, что в них совершенно не разъясняются некоторые специфические термины. Например, как (выше) с Каминским: «разработка лидера ОУН». Для непосвященных непонятны и такие слова из чекистского жаргона, как «*наводчик, устанавщик и групповод*» (В. Абрамов, С.161), «*оператор*» (Колпакиди и Прохоров, С.164).

Книгу О. Копчинского «Госбезопасность изнутри: национальный и социальный состав» тоже можно отнести к разряду справочников. Однако это справочник особый: на основании архивных данных автор подсчитывает процент русских и не-русских в ЧК. Процент выходцев из рабочих, крестьян, интеллигенции... Это серьезная и основательная работа. Правда, содержание книги уже ее названия: речь идет исключительно о периоде 1918-1922 гг. Зато здесь по годам скрупулезно расписано, как менялся национальный состав и верхушки чекистского аппарата – и среднего звена, и низшего персонала. Впервые публикуется жалоба чекистов-латышей на Дзержинского, адресованная Ленину. Обложка книги может ввести в заблуждение: написано название серии «ЛУБЯНКА – открытые архивы». На самом деле О. Копчинского в лубянские архивы не пустили: он пользовался материалами других, более доступных, архивов.

Егор РАДОВ

ЖАЖДА СВЕТА

Алексей Макушинский. Свет за деревьями. Спб., «АЛЕТЕЙЯ», 2007

Русский верлибр, несмотря на всё его, почти официальное, неприятие, тем не менее существует. Было даже (может, есть и сейчас) некое «общество верлибристов», однажды оно выпустило огромный увесистый том своих виршей. Однако их совершенно справедливо критиковали за то, что они чисто механически переложили западный свободный стих на русский язык, а русской поэзии, мол, это совершенно чуждо. Это действительно было чуждо, при этом, правда, никто не вспоминал о собственно «русском верлибре», достаточно самобытном и своеобразном. Это – не совсем верлибр, иногда он сбивается на белый стих, иногда даже имеет рифму, но всегда – некий внутренний ритм. Таким стихом писали футуристы – Хлебников, Елена Гуро, Алексей Кручёных, Игорь Терентьев, и обэриуты – прежде всего, А. Введенский.

Традиция, как выяснилось, не прервалась. Недавно издательство «Алетейя» выпустило сборник стихов Алексея Макушинского «Свет за деревьями». Однако верлибр А. Макушинского близок к перечисленным лишь повсюду присущему внутреннему, достаточно очевидному, ритму. По форме он скорее близок к стихам Геннадия Айги, да и по настроению, в общем, тоже.

Это – такое состояние созерцания, некой «остановки мира», когда спокойно, никуда не торопясь, можно рассмотреть каждую деталь, обдумать её и разные ассоциации, ею рождаемые.

Надо сказать, что при некоторой схожести с Г. Айги, А. Макушинский выгодно от него отличается тем, что русский язык для него – родной, а для Айги – нет (он – чуваш), что у Айги порой чувствуется. Макушинский же, в отличие от него, не допускает очевидных сбоев, он слышит все возможные оттенки русского слова.

Хотя надо признать, что Г. Айги был раньше.

«Свет за деревьями» – название кажется банальным, но только на первый взгляд. Если вдуматься, можно представить, что деревья, как и прочий мир, застилают взгляд на свет, который есть где-то там, за ними. И этот мир, который прекрасен каждой своей деталью, в принципе прекрасен только как отражение этого света за ним. И в нём, в этом свете, отражается всё чудесное нашего мира, без него ничего бы не было – существовала бы сплошная ровная, не разделяемая на предметы и существа, однородная тьма.

Об этом и пишет сам автор в программном стихотворении, в конце:

...любить
так просто, и листья в лужах, и станции, и слова,
и свет, и свет, конечно же свет за деревьями.

А. Макушинский буквально воделеет этот свет, рождающий наш, такой многообразный, мир. В нашем мире этот свет «за деревьями» существует, он очевиден, и мы все устремлены к свету, так или иначе.

Что ещё, несомненно, удаётся автору – это так называемые «концы», «финалы», последние строчки стихов. Стихотворение может быть посвящено чему-то совершенно конкретному, описывать всякие реалии, а потом, в самом конце, буквально взрывается какой-то «общей», не имеющей прямого отношения к описанному, фразой, типа «Так не хочется умирать», или «... девочка через площадь бежит вприпрыжку навстречу всей своей жизни».

Это, собственно, и делает эти созерцательные, грустные, «свободные» строки искусством. Автор как будто гипнотизирует читателя медитативным описанием того или другого, а потом вдруг – раз! Словно удар палкой дзэнского патриарха по лбу любопытствующего.

А. Макушинский не даёт забыть, что как бы ни были красивы деревья, их узоры и весь этот мир, главное – это то, что за ними, – свет.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Владимир БЕРЯЗЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С БРЕВНА

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ С БРЕВНА

Чтой-то часто я стал падать в воду...
К худу ли, к добру?
Вот и копчик ноет на погоду.
Может, не помру.

Что ли, киселя из авокадо
К вечеру сварить?
Вот обсохну – что-то делать надо,
Может, закурить?

Выпить, может? Или же не стоит?
Лучше подожду.
Выпить – это самое простое,
Это – по-пу-сту...

Что же? Как же? Господи, помилуй,
Отчего тоска?
Дом без крыши, лодка без кормила,
Луг без пастуха.

А носок дырявый – на заборе,
А в душе – мандраж.
Рак опять свистит на косогоре
Очень старый марш.

ПРО ВОВОЧКУ И МУМУ

Знамо дело – телевизор
И трансляция «Муму»,
Знамо дело – Вова Мизер,
Мы поверили ему.

Раз, два, три, четыре, восемь
И ещё раз, и ещё!
И подбросим, и попросим,
И посадим на плечо.

Что нам вороги-варяги!
Что нашествие хазар!
Есть у нас свои парняги,
Свой Егуда бен Лазар.

Велика ведь и обильна,
Мухи дохнут от тоски,
И валюта не стабильна,
И болота глубоки.

Террористы ходят-бродят,
Наркотрафик шелестит,
НАТО в поле хороводит,
На горе дракон свистит.

Хорошо, что мы немые,
Служим родине своей,
А иначе – мама мия,
Доннэр вэтэр, зохэн вей!

Не жaley Муму, Герасим,
Заверни в российский флаг,
Мир жесток, но и прекрасен,
Потому запомни, как,

Помянув Отца и Сына,
И пропащую страну,
Разговорчивая псина,
Всех простив, пошла ко дну...

Много лаяла собака,
Много ела колбасы,
Милый мой, не надо плакать,
Сечь себя хвостом лозы.

Ничего, что утонула,
Будет тише на селе...
От Москвы до Барнаула,
От Камчатки до Кабула –
Весь народ навеселе.

СИБИРСКИЙ ЭКСПОРТ

Ради самообороны
Мы поставили в Иран
Бронебойные патроны
И реакторный уран.

У Персидского залива
Наша родина в чести –
Будет мирная олива
Краше прежнего цвести.

Веселитесь, мусульмане:
Есть у русского туза
В оттопыренном кармане
Вот такие чудеса!

Больше нефти, больше жизни,
Выше – славу Хомейни!
Это вам не при фашизме,
Дядя Черчилль, извини...

СТРАШИЛКА

«...из цирка «Шапито» во время представления на берегу Азовского моря сбежал нильский крокодил».

По сообщениям информагентств

Вот вам – ни автографа, ни росчерка,
Лишь песок – и начинай с азов:
Крокодил от Васи-дрессировщика
Улизнул бессовестно в Азов.

Как увидел рядом море синее
И нудистский с девушками пляж,
Сразу захотелось в Абиссинию –
Ностальгия, знаете ли, блажь.

Потому поплыл, поплыл от берега,
Как торпеда на железный зов.
Этакая вышла эзотерика:
Ящер оккупировал Азов.

Оставайся, лето кавалерное,
Влагою мне взора не тумань!
Мимо – белый парус,
Мимо – Лермонтов
И патриархальная Тамань.

Где ты, моя родина свободная,
Царский Нил и ложе тростника?
Где ты Нефертити земноводная
На припёке возле родника?

Уплывает милое чудовище
Между катеров сторожевых.
Ускользает древнее сокровище,
Заклиная мёртвых и живых.

Над геомагнитно-тектонической
Трещиной жизни и судьбы –
До сурово апокалиптической
И трезвящей ангельской трубы...

Всё – в зубастой, до неба распахнутой
Пасти, вплоть до солнца и луны...

.....
Вася, Вася – чудик прибабахнутый,
Разве в этом нет твоей вины?..

НОВЫЙ СПОСОБ КОПКИ КАРТОШКИ

Без участия алкоголя
Оставляю дом ваш пуст.
Два шиша засунул Коля
Под картофельный под куст.

Раздразнил чертей матёрых,
Распугал мышей-кротов,
И из недр некоторых
Клубни вынуть был готов.

Он нашарил, как в штанине,
Под землёю два ядра,
На россейской на равнине
Их явив — гип-гип, ура!

* * *

*На одном из ледников Алтая обнаружена мумифицированная
нижняя конечность человекоподобного существа полностью по-
крытая густой рыжеватой шерстью...*

По сообщениям телеграфных агентств, осень 2003

Не учи родная йогу,
Сидя на диете!
Ампутировали ногу
Молодому йети.

И пока ты дышишь носом,
Открывая чакры,
Одноного под откосом
Бедный йети чахнет.

Никакой на свете лотос,
Дхарма никакая
Не ответят на вопросы:
Где в горах Алтая

Бродит йети одиноко?
С костылём, поди-кось?
Верно, плачет, ищет ногу?
Мол, какая дикость...

Пусть она худа и густо
Шерстью крыта рыжей!..
Жизнь – она ценней искусства
И к природе ближе.

* * *

Зачем на фейесе президента
Орёл двуглавый не горит?
Зачем не учит он иврит,
Не пьёт горилки и абсента?

Зачем он умников своих
Не посылает на три буквы?
Зачем развесистые клюквы
Не гонит ввысь державный стих?

Зачем последний олигарх
Не удавился на осине?
Зачем в молитвенной пустыне
Не проклял Папу Патриарх?

Затем ли, что уже ничто
Не может возратить утраты,
Что все мы вкуче виноваты,
Народ, как говорил Бато,
Поизмельчал, другого нету?
Но, может, миссия его
В самопожертвованье о-
плодотворяющем планету.

Коротко об авторах

Ника Батхен Поэт, прозаик, журналист. Родилась в 1974 году в Ленинграде. Училась в Литературном институте им. Горького. Автор книги стихов «Снебападение», множества рассказов и цикла биографических статей о зарубежных фантастах. Лауреат премии журнала «Новый мир» за 2001 год и конкурса «Гумилёвский трамвай-2005», обладатель гран-при Шестого израильского фестиваля молодых литераторов. Публикуется в российской и зарубежной периодике. Живёт в Москве.

Владимир Берязев Поэт, прозаик, эссеист. Родился в г. Прокопьевск в Кузбассе в 1959 году. Закончил Новосибирский институт народного хозяйства и Литературный институт им. Горького в Москве. Сопредседатель Ассоциации писателей Сибири, главный редактор журнала «Сибирские огни». Автор шести книг и множества поэтических и прозаических журнальных публикаций. Живёт в Новосибирске.

Борис Вайль Писатель, известный правозащитник, участник марксистских организаций 1950-х годов и правозащитного движения 1960-70-х годов. Родился в 1939 в г. Курске. В 1957 г., будучи студентом Ленинградского библиотечного института, был осуждён на шесть лет лишения свободы за «антисоветскую деятельность», в лагере ему добавили ещё два с половиной года. В 1970 г. арестован второй раз за хранение и распространение самиздата. Был приговорён к пяти годам ссылки, которую отбывал в Западной Сибири. Эмигрировал в 1977 г. в Данию, работал (1978-2001) в Королевской библиотеке. Автор ряда рассказов и эссе, опубликованных в России и за рубежом, а также автобиографической книги «Особо опасный» (Харьков, 2005). Широко печатается в русской и зарубежной периодике. Живёт в Копенгагене.

Нина Горланова Прозаик, поэт, художник. Родилась в деревне Юг Пермской области в крестьянской семье. В 1970 г. закончила филологический факультет Пермского университета. Автор множества книг и публикаций в российских и зарубежных литературных журналах. Лауреат нескольких престижных премий, в том числе международных (первая премия на Международном конкурсе женской прозы, 1992, Специальная премия американских университетов, 1992). Произведения переведены на английский, французский, немецкий, испанский, польский языки. Замужем за писателем В.Букуром, с которым часто пишет в соавторстве. Живёт в Перми.

Александр Иличевский Прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1970 в г. Сумгаит, Азербайджан. Окончил Московский физико-технический институт, занимался научной работой в Израиле и Калифорнии. Автор нескольких прозаических и поэтических книг и множества публикаций в российской и зарубежной периодике. Первое место в номинации «Поэзия» литературного конкурса «Дварим» (2005), лауреат премий журнала «Новый мир» (2005), имени Юрия Казакова за лучший рассказ (2005 г.) и IV Международного литературного Волошинского конкурса, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2005 г.) и Бунинской премии 2006 г. — Серебряная медаль за книгу «Бутылка Клейна». Живёт в Москве.

Александр Кушнер Поэт, эссеист, переводчик. Родился в 1936 г. в Ленинграде. В 1959 г. окончил филологический факультет Государственного педагогического института им. Герцена и десять лет преподавал русский язык и литературу в школе. Автор более двадцати книг — поэзия, критика, эссеистика. Широко печатается в России и за рубежом, переведен на множество иностранных языков. Лауреат нескольких престижных российских и зарубежных премий, в том числе Государственной премии РФ (1996) и двух Пушкинских — российской и германской. Главный редактор «Библиотеки поэта». Живёт в Санкт-Петербурге.

Самуил Лурье Прозаик, эссеист, литературовед, критик. Родился в 1942 г. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. Почти всю жизнь проработал в отделе прозы журнала «Нева». Автор нескольких книг и множества журнальных публикаций. Лауреат нескольких престижных литературных премий (в том числе — имени П.А. Вяземского, 1997). Действительный член Академии русской современной словесности (Москва). Живёт в Санкт-Петербурге.

Валдемар Люфт Прозаик. Родился в 1952 году в Джамбульской области Казахстана. По образованию экономист, закончил в 1987 г. Высшую школу профсоюзного движения в Москве. Работал монтажником, прорабом, главным диспетчером стройуправления. В Германии с 1994 года. Член «Литературного общества немцев из России», публикуется в германской периодике. Живёт в г.Биберахе (Германия).

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россось Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Наталья Петрова Прозаик, поэт, эссеист. Родилась в Москве в 1968 году. Выпускница механико-математического факультета МГУ, защитила диссертацию по медиаобразованию, стажировалась в Израиле, Великобритании и Венгрии. Лауреат премии Academia Euroeraea 1998. Работала журналистом-аналитиком и бизнес-тренером, в настоящее время – главный редактор сайта www.careerist.ru. Автор более 200 статей и 5 книг. Лауреат литературного конкурса «Заветному звуку внимая» Большого симфонического оркестра РФ (2005) и Мордовского творческого конкурса «Рождественская звезда-2007 в номинации «Поэзия». Публикуется в отечественных и зарубежных литературных журналах. Живёт в Москве.

Егор Радов Прозаик, поэт. Родился в 1962 г. в Москве, окончил Литературный институт им. Горького. Один из ярких представителей постмодернизма, приобрёл репутацию «нового Берроуза» и «литературного беспредельщика». Автор восьми книг прозы, широко публикуется в российской и зарубежной периодике. Живёт в Москве.

Михаил Рушанов Прозаик, журналист, переводчик. По профессии – врач, учился в Ивановском и Московском медицинских институтах, работал в лечебных и научных медицинских учреждениях, автор пяти книг и множества статей по медицинской проблематике. В 1991 году эмигрировал в Германию. Как журналист и прозаик широко печатается в Германии и русскоязычной периодике России, Украины и США. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

Владимир Салимон Поэт, литературный критик. Родился в Москве в 1952 г. Окончил географо-биологический ф-т МГПИ. Работал учителем в школе, в Московском лесничестве, в обществе охраны природы, в ж-ле «Юность». Гл. редактор ж-ла «Золотой век» (1991-2001), зам. гл. редактора ж-ла «Вестник Европы» (с 2001). Автор множества поэтических книг и публикаций в ведущих отечественных и зарубежных литературных изданиях. Лауреат премий ж-лов «Золотой век» (1994), «Октябрь» (2001), Европейской премии Римской академии им. Антоньетты Драга за лучшую поэтическую книгу года (1995). Стихи переведены на английский, венгерский, итальянский, немецкий, французский, шведский и украинский языки. Живёт в Москве.

Владимир Сечински Прозаик, журналист. Родился в 1947 г. в г. Алес (Франция). В 1956 г. с семьей переехал на постоянное место жительства в СССР. Был рабочим, военнослужащим. В 1972 году эмигрировал во Францию. Работал журналистом в газете «Русская Мысль», в журнале «Посев» и в московской газете «За Россию». Под псевдонимом Владимир Рыбаков опубликовал несколько романов. Последний, «Тайна Чингисхана», вышел в 2007 г. в московском издательстве «ЭКМО» под фамилией автора. В настоящее время живёт в Софии (Болгария).

Борис Хазанов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1928 г. в Ленинграде. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник Самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 15.05.2008

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в пятнадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Марины Палей (Нидерланды),
Владимира Порудоминского (Кёльн),
Алексея Алёхина (Москва),
Бориса Вайнבלата (Дортмунд),
Леонида Левинзона (Иерусалим),
Георгия Нипана (Москва),
окончание романа Бориса Хазанова (Мюнхен) «Вчерашняя вечность»

Стихи

Александра Радашкевича (Париж),
Олега Блажко (Киев),
Вадима Бомаса (Москва)

Эссе

Михаила Кураева (Санкт-Петербург)

и другие интересные материалы

